

Воспоминания террориста

автор **Борис Викторович Савинков**



Экспортировано из Викитеки 10 ноября 2024 г.

Поиск по содержанию

Часть первая

[Глава первая. Убийство Плеве](#)

[Глава вторая. Убийство великого князя Сергея](#)

[Глава третья. Боевая организация](#)

Часть вторая

[Глава первая. Покушение на Дубасова и Дурново](#)

[Глава вторая. Арест и бегство](#)

[Глава третья. Разоблачение предательства Азефа](#)

Глава I. Убийство Плеве

I

В начале 1902 года я был административным порядком сослан в г. Вологду по делу с. — петербургских социал-демократических групп «Социалист» и «Рабочее знамя». Социал-демократическая программа меня давно уже не удовлетворяла. Мне казалось, что она не отвечает условиям русской жизни: оставляет аграрный вопрос открытым. Кроме того, в вопросе террористической борьбы я склонялся к традициям «Народной воли».

В Вологду дважды — осенью 1902 года и весной 1903 года — приезжала Е. К. Брешковская. После свиданий с нею я примкнул к партии социалистов-революционеров, а после ареста Г. А. Гершуни (май 1903 года) решил принять участие в терроре. К этому же решению одновременно со мною пришли двое моих товарищей, а также близкий мне с детства Иван Платонович Каляев, отбывавший тогда полицейский надзор в Ярославле.

В июне 1903 года я бежал за границу. Я приехал в Архангельск и, оставив свой чемодан на вокзале, явился по данному мне в Вологде адресу. Я надеялся получить подробные указания, как и на каком пароходе можно уехать в Норвегию. Из разговора выяснилось, что в тот же день через час отходит из Архангельска в норвежский порт Вардэ мурманский пароход «Император Николай I». У меня не было времени возвращаться на вокзал за вещами, и я, как был, без паспорта и вещей, незаметно прошел в каюту второго класса.

На пятые сутки пароход входил в Варангер-фиорд. Я подошел к младшему штурману.

— Я еду в Печеньгу (последнее перед норвежской границей русское становище), но мне хотелось бы побывать в Вардэ. Можно это устроить?

Штурман внимательно посмотрел на меня.

— Вы что же, по рыбной части?

— По рыбной.

— Что же, конечно, можно. Почему же нельзя?

— У меня паспорта заграничного нет.

— Зачем вам паспорт? Сойдите на берег, переночуйте у нас, и на рассвете обратным рейсом в Печеньгу. Только билет купите.

На следующий день показались маяки Вардэ. На пароход поднялись чиновники норвежской таможни. Я

сошел в шлюпку и через четверть часа был уже на территории Норвегии. Из Вардэ, через Тронтгейм, Христианию и Антверпен я приехал в Женеву.

В Женеве я познакомился с Михаилом Рафаиловичем Гоцем. Невысокого роста, худощавый, с черной вьющейся бородой и бледным лицом, он останавливал на себе внимание своими юношескими, горячими и живыми глазами. Увидев меня, он сказал:

— Вы хотите принять участие в терроре?

— Да.

— Только в терроре?

— Да.

— Почему же не в общей работе?

Я сказал, что террору придаю решающее значение, но что я в полном распоряжении центрального комитета и готов работать в любом из партийных предприятий.

Гоц внимательно слушал. Наконец он сказал:

— Я еще не могу дать вам ответ. Подождите — поживите в Женеве.

Тогда же я познакомился с Николаем Ивановичем Блиновым^[1] и Алексеем Дмитриевичем Покотиловым. Я знал, что оба они — бывшие студенты Киевского университета и близкие товарищи С. В. Балмашева, но я не знал, что они члены Боевой организации. Покотилова я встречал еще в Петербурге в январе 1901 года. Он приехал в Петербург независимо от

П. В. Карповича и даже не подозревая о приезде последнего, но с той же целью — убить Боголепова. В Петербурге он обратился за помощью в комитет групп «Социалист» и «Рабочее знамя». Мы отнеслись к его просьбе с недоверием и в помощи отказали. Убийство министра народного просвещения казалось тогда нам ненужным и едва ли возможным. Покотилов после отказа не уехал из Петербурга. Он решил своими силами и на свой страх совершить покушение. Случайно Карпович предупредил его.

В августе в Женеву приехал один из товарищей. Он сообщил мне, что Каляев отбывает приговор (месяц тюремного заключения) в Ярославле и поэтому только поздней осенью выезжает за границу. Товарищ поселился со мною. Чтобы не обратить на себя внимание полиции, мы жили уединенно, в стороне от русской колонии. Изредка посещала нас Брешковская.

Однажды днем, когда товарища не было дома, к нам в комнату вошел человек лет тридцати трех, очень полный, с широким, равнодушным, точно налитым камнем лицом и большими карими глазами. Это был Евгений Филиппович Азеф.

Он протянул мне руку, сел и сказал, лениво роняя слова:

— Мне сказали, вы хотите работать в терроре? Почему именно в терроре?

Я повторил ему то, что сказал раньше Гоцу. Я сказал также, что считаю убийство Плеве важнейшей задачей момента. Мой собеседник слушал все так же лениво и не отвечал. Наконец он спросил:

— У вас есть товарищи?

Я назвал Каляева и еще двоих. Я сообщил их подробные биографии и дал характеристику каждого. Азеф выслушал молча и стал прощаться.

Он приходил к нам несколько раз, говорил мало и внимательно слушал. Однажды он сказал:

— Пора ехать в Россию. Уезжайте с товарищем куда-нибудь из Женевы, поживите где-нибудь в маленьком городке и проверьте, не следят ли за вами.

На следующий день мы уехали в Баден, во Фрейбург. Через две недели нас посетил Азеф и на этот раз впервые сообщил план покушения, не упоминая ни словом о личном составе организации. План состоял в следующем: было известно, что Плеве живет в здании департамента полиции (Фонтанка, 16) и еженедельно ездит с докладом к царю, в Зимний дворец, в Царское Село или в Петергоф, смотря по времени года и по местопребыванию царя. Так как убить Плеве у него на дому, очевидно, было много труднее, чем на улице, то было решено учредить за ним постоянное наблюдение. Наблюдение это имело целью выяснить в точности день и час, маршрут и внешний вид выездов Плеве. По установлении этих данных предполагалось взорвать его

карету на улице бомбой. При строгой охране министра для наблюдения необходимы были люди, по роду своих занятий целый день находящиеся на улице, например газетчики, извозчики, торговцы вразнос и т. п. Было решено поэтому, что один товарищ купит пролетку и лошадь и устроится в Петербурге легковым извозчиком, а другой возьмет патент на продажу вразнос табачных изделий и, продавая на улице папиросы, будет следить за Плеве. Я должен был комбинировать собираемые ими сведения и, по возможности, наблюдая сам, руководить наблюдением.

План этот принадлежал целиком Азефу и был чрезвычайно прост. Но именно своей простотой он давал нам преимущество перед полицией. Уличное наблюдение никогда не применялось революционерами не только в период Гершуни, но и во времена «Народной воли», если не считать приготовлений к первому марта 1881 года. Полиция едва ли могла предположить, что члены Боевой организации ездят по Петербургу извозчиками или торгуют вразнос. Между тем систематическое наблюдение неизбежно приводило к убийству Плеве на улице. Кончая со мной разговор, Азеф сказал с убеждением:

— Если не будет провокации, Плеве будет убит.

Из Фрейбурга один из товарищей, взяв с собой гремучую ртуть, через Александрово уехал в Россию. У меня не было паспорта, и я должен был получить его в Кракове. Я поехал в Краков через Берлин, и в Берлине

встретился снова с Азефом и только что приехавшим из России Каляевым.

Мы сидели втроем на Leipzigerstrasse в одном из больших берлинских кафе. Каляев горячо говорил о терроре, о своем непременном желании участвовать в деле Плеве, о психической невозможности для себя мирной работы. Азеф лениво слушал. Когда Каляев умолк, он равнодушно сказал:

— Нам не нужны сейчас люди. Поезжайте в Женеву. Может быть, мы потом и вызовем вас.

Огорченный Каляев ушел. Я спросил Азефа:

— Он не понравился вам?

Азеф подумал с минуту.

— Нет. Но он странный какой-то... Вы его знаете хорошо?

На улице, сердясь и волнуясь, меня ждал Каляев. Я взял его под руку.

— Что ты, Янек?.. Он не понравился тебе? Да?

Как и Азеф, Каляев ответил не сразу:

— Нет... Но знаешь... Я не понял его, может быть, не пойму никогда.

В начале ноября я был в Петербурге, не зная ни состава организации, ни партийных паролей, ни явок. Я ждал Азефа: он обещал приехать непосредственно вслед за мной.

II

В Петербурге я остановился в «Северной» гостинице. В тот же день вечером я пошел на явку к раньше уехавшему товарищу. Он должен был ждать меня ежедневно на Садовой, от Невского до Гороховой. Я шел по Садовой, отыскивая в пестрой толпе разносчиков знакомое мне лицо. Чем дальше я шел, тем все менее оставалось надежды на встречу. Я думал уже, что товарища нет в Петербурге, что он либо арестован на границе, либо не сумел устроиться торговцем. Вдруг чей-то голос окликнул меня:

— Барин, купите «Голубку», пять копеек десятков.

Я оглянулся. В белом фартуке, в полушубке и картузе, небритый, осунувшийся и побледневший, предо мной стоял тот, кого я искал. На плечах у него висел лоток с папиросами, спичками, кошельками и разной мелочью. Я подошел к нему и, выбирая товар, успел шепотом назначить свидание в трактире.

Часа через два мы сидели с ним в грязном трактире, недалеко от Сенной. Он оставил дома лоток, но был в том же полушубке и картузе. Разговаривая с ним, я долго не мог привыкнуть к этой новой для меня его одежде.

Он рассказал мне, что другой товарищ уже извозчик, что они оба следят за домом министра и что однажды им удалось увидеть его карету. Он тут же описал мне внешний вид выезда Плеве: вороные кони, кучер с

медалями на груди, ливрейный лакей на козлах и сзади — охрана: двое сыщиков на вороном рысаке. Товарищ был доволен удачей, но жаловался на трудности своего положения.

— Стою я у Цепного моста, — рассказывал он мне, — жду. Вижу, городской тарашит глаза. Я шапку снял, поклонился низко и говорю: «Ваше, — говорю, — благородие, дозволейте спросить, кто в этих хоромах живет, уж не сам ли, — говорю, — царь, очень уж много начальства всякого при дверях?» Посмотрел на меня городской сверху, усмехнулся. «Дурак, — говорит, — деревня... Что ты можешь, — говорит, — понимать? Это министр тут живет». — «Министр? — говорю, — это, значит, который генерал главный?» — «Дурак, министр и значит министр... Понял?» — «Так точно, — говорю, — понял. Что же, — говорю, — очень богатый, значит, министр? Тысяч, чай, сотню в год получает?» Опять улыбнулся городской, говорит: «Дурак... эка сказал: сто тысяч... подымай выше, — миллион...» А тут гляжу, как раз зашевелились шпики, подают карету к подъезду, значит, Плеве поедет. Городской говорит: «Ну-ну, проваливай, — говорит, — сукин сын, нечего здесь болтаться...» Я за мост зашел, стою, будто бы лоток поправляю, а между тем смотрю: Плеве едет... А то еще случай был: конный городской как-то меня заметил. «Ты, — говорит, — что тут делаешь, сукин сын?.. Пошел вон, — говорит». — «Простите, — говорю, — ваше благородие, так что здесь очень весело

торговля идет...» Ка-ак он закричит: «Разговаривать!.. Дворник!.. В участок его веди!..» Подскочил тут дворник с поста. «Идем», — говорит... Пошли. За угол завернулись, я вынул целковый и говорю: «Возьмите, будьте добры, господин дворник, в знак уважения, и отпустите меня, Христа ради, я человек, — говорю, — маленький, долго ль меня обидеть?..» Дворник глянул на рубль, потом на меня. Рубль взял и говорит: «Ну, иди, сукин сын, да смотри: будешь еще в участке...»

Он рассказал мне еще, что положение табачника затрудняется не только преследованием полиции, но и конкуренцией других торговцев. Места на улице все откуплены, и приходится спорить с теми, кто издавна занимает их. Кроме того, торговец вразнос не имеет права останавливаться на мостовой: по полицейским правилам он обязан непрерывно находиться в движении. Он говорил, что наблюдать извозчику удобнее и легче. Он ссылаясь на пример другого товарища, который почти не встречал препятствий в своей езде по городу. Я повидался с последним и убедился, что у извозчика есть зато другая существенная помеха: у него была больная лошадь, и из трех дней два он не мог выезжать. Кроме того, ему постоянно приходилось возить седоков. Его наблюдение поэтому не давало почти никаких результатов.

Наступил декабрь, а от Азефа не было никаких известий. Впоследствии выяснилось, что его задержали за границей дела по динамитной технике, письма же его

ко мне не доходили по неточности адреса. Один товарищ продолжал следить как табачник, другой — как извозчик. Я бродил по Фонтанке и набережной Невы, надеясь встретить случайно Плеве. Наше общее наблюдение отметило только внешний вид его выезда и однажды маршрут: он ехал по Фонтанке и набережной Невы, по направлению к Дворцовому мосту, но в Зимний дворец или Мариинский — выяснить не могли.

Причины отсутствия и молчания Азефа были нам неизвестны. Я решил поэтому навести справку. Я вспомнил, что Азеф указал мне в Петербурге известного журналиста Х. Мацеевского. К нему я должен был в крайнем случае обратиться за помощью. Мацеевский выслушал меня с удивлением.

— Я давно ничего не знаю об Азефе, — сказал он, — и помочь вам ничем не могу.

Я вернулся домой в нерешительности. Я колебался, продолжать ли мне наблюдение с помощью двух товарищей, сил которых было, очевидно, для него недостаточно, или поехать за границу и посоветоваться о положении дел с Гоцем. Я съездил в Вильно по порученным мне Азефом общепартийным делам и, вернувшись в первой половине декабря в Петербург, остановился в меблированных комнатах «Россия», на Мойке. Хотя известий от Азефа все еще не было никаких, я все-таки решил ожидать его в Петербурге. Неожиданный случай изменил это мое решение.

Однажды утром дверь моего номера слегка приоткрылась, в щель просунулась голова, затем голова исчезла, и уж после этого ко мне постучались.

— Войдите.

Вошел еврей лет сорока, в потертом сюртуке, грязный, с бегающими глазами. Он протянул мне руку и сказал:

— Здравствуйте, г-н Семашко.

Я с удивлением смотрел на него. Помолчав, он сказал:

— Я виленец; тоже приехал из Вильно.

Я понял, что он мог знать о моем, именно из Вильно, приезде, либо наблюдая за мной по дороге, либо увидев мой паспорт с виленской свежей явкой. Но паспорт мой был в конторе, и показать его швейцар мог только полиции. Я был убежден поэтому, что предо мной шпион.

— Садитесь. Что вам угодно?

Он сел за стол, спиной к окну. Мне оставалось сесть лицом к свету. Он положил голову на руку и, улыбаясь, пристально разглядывал меня. Я повторил свой вопрос.

— Что вам угодно?

В ответ он сказал, что его фамилия Гашкес, что он редактор-издатель торговой, промышленной и финансовой газеты, и что он просит меня сотрудничать у него.

Тогда я резко сказал:

— Я не писатель. Я представитель торговой фирмы.

— Что значит — вы не писатель? Что значит — представитель торговой фирмы? Ну какой фирмы вы представитель?

Я встал.

— Извините меня, господин Гашкес, я ничем полезен вам быть не могу.

Он вышел; вслед за ним вышел и я.

На улице, у витрины ювелирного магазина, стоял Гашкес и рассматривал со вниманием ювелирный товар. Поодаль два молодца в высоких сапогах и каракулевых шапках также внимательно разглядывали в окне дамские платья.

Я повернул направо, на Гашкеса. Он отделился от магазина и, улыбаясь, пошел за мной. Я взял извозчика. Он немедленно сел на другого. Я понял, что меня арестуют.

Более трех часов я бродил по Петербургу, с извозчика на извозчика, с конки на конку.

Под вечер я очутился далеко за Невской заставой среди огородов и пустырей. Кругом не было ни души. Я решил сообщить товарищам о происшедшем и не возвращаться более к себе в номера. Я решил также не ожидать больше Азефа: паспорт Семашки был, очевидно, известен полиции, другого у меня не было,

жить же без паспорта неопределенное время было трудно. Я пошел на Садовую и на ходу сказал товарищу, что за мной следят. С вечерним поездом я выехал в Киев.

Я поехал в Киев, потому что только в Киеве надеялся найти партийных людей и получить возможность выехать за границу. Через одного личного приятеля я разыскал в Киеве представителя ЦК. Тот устроил меня на той же конспиративной квартире, на которой ночевал и сам. В первый же вечер туда пришел один рабочий, нелегальный. По целым дням он молчал, не принимая никакого участия ни в каких разговорах. Позднее, и не от него, я узнал, что он участвовал в одном крупном провинциальном террористическом акте, был ранен и, обливаясь кровью, успел дотащиться до своей квартиры. Он тоже ехал теперь за границу. Мы решили с ним ехать вместе.

В начале января мы выехали из Киева в Сувалки. В Сувалках у нашего нового товарища была знакомая еврейка, с помощью которой можно было без паспорта перейти границу. Увидев нас, она немедленно привела фактора, и мы, заплатив ему каждый по 13 рублей, в тот же вечер тряслись на еврейской балагуле по направлению к немецкой границе. Переночевав на указанной фактором мельнице, мы на следующую ночь в сопровождении солдата пограничной стражи уже переправлялись в Германию. Партия эмигрантов, кроме нас двоих, состояла сплошь из евреев, уезжавших

вместе с женами и детьми в Америку. Была морозная лунная ночь, под ногами хрустел снег. Наш проводник, солдат, ушел вперед, приказав нам ждать его условного свиста. С четверть часа мы сидели в снегу. Направо и налево мерцали огни кордонов. Наконец вдаль раздался слабый протяжный свист. Евреи вскочили и, как потревоженное стадо, толкая друг друга и падая в снег, побежали по залитой лунным светом дороге. На утро мы ехали в немецких санях по немецкой земле, а через несколько дней были уже в Женеве.

В Женеве я явился к Чернову.

Я сказал ему, что меня удивляет отсутствие Азефа в Петербурге, что, предоставленные собственным силам, мы, очевидно, не можем подготовить покушение на Плеве, что я предпочел бы работать самостоятельно, хотя бы и в менее крупном деле, например в деле киевского генерал-губернатора Клейгельса. Чернов сказал мне, что Азеф уже выехал в Россию и что он не может дать мне ответа, а советует обратиться к Гоцу, который находится теперь в Ницце. В тот же вечер я выехал в Ниццу. Гоц, хотя и очень больной, был еще на ногах. Он со вниманием выслушал меня и, когда я кончил, сказал:

— Валентин Кузьмич (партийный псевдоним Азефа) не мог выехать раньше, потому что его задержали работы по динамитной технике. Письма до вас не дошли отчасти по вашей вине: вы дали неточный адрес.

Я вам советую: поезжайте сейчас же обратно и найдите его.

Я сказал, что не могу ехать на тех же условиях, на каких ехал раньше, что со мной связаны два работавших в Петербурге товарища, из которых один никого, кроме меня, из партийных людей не знает, что я могу опять не встретиться с Азефом, и тогда мое положение без денег, паролей и явок будет не лучше того, в каком я оказался в Петербурге.

Гоц выслушал меня не прерывая. Потом сказал:

— Я вам дам адреса, пароли и явки. Если вы не встретите Азефа, вы будете все-таки в силах продолжать начатое дело. Но поезжайте сейчас же, сегодня же обратно в Россию.

Я узнал тогда впервые от Гоца, что Блинов не поехал в Россию и что кроме меня и двух моих товарищей Боевая организация состоит еще из Покотилова и бывших студентов Московского университета Максимилиана Ильича Швейцера и Егора Сергеевича Сазонова. Швейцер, по партийной кличке «Павел», впоследствии «Леопольд», и Покотилев («Алексей») с динамитом и гремучей ртутью ожидали приезда Азефа, один в Риге, другой — в Москве. Сазонов («Авель») жил в Твери, изучая извозное ремесло: он должен был стать в Петербурге извозчиком. Ни Швейцера, ни Сазонова я лично не знал, но мне и тогда уже было ясно, что с такими небольшими силами невозможно выследить и убить Плеве, тем более что Швейцер и

Покотилов не предназначались для наблюдения. Я сказал об этом Гоцу и предложил взять с собой в Россию Каляева и приехавшего со мной рабочего. Гоц подумал минуту.

— Каляева я знаю, — сказал он, — он будет хороший работник. Пусть едет с вами... Другой нам неизвестен: пусть подождет. Мы присмотримся в Женеве к нему, а вы вызовете его, если будет нужно.

Вернувшись в Женеву, я сказал Каляеву, что он едет со мной. Каляев обрадовался чрезвычайно. Он немедленно стал собираться в дорогу, и в тот же день мы выехали в Берлин. У Каляева был русский (еврейский) паспорт, у меня — английский. В Берлине нужно было визировать его у русского консула.

Всю дорогу до Берлина Каляев был радостно оживлен. Не расспрашивая меня о положении дел, он подробно говорил о своих планах, о том, как, по его мнению, удобнее и легче убить Плеве. Я сказал ему в разговоре, что ему, вероятно, придется торговать на улице вразнос. Он рассмеялся:

— Что ж ты думаешь, из меня выйдет плохой табачник?

Я посмотрел на его бледное интеллигентное лицо с тонкими чертами, на его скорбные, большие глаза, на худые, нерабочие руки и промолчал. Я не мог знать тогда, что ему не будет соперников в трудной роли уличного торговца.

В Берлине я распрощался с ним. Он поехал через Эйдкунен; я — на Александрово. Мы встретились с ним в Москве.

III

В Москве несколько дней прошло в ожидании Азефа. Каляев и я жили в разных гостиницах и встречались изредка и только по вечерам.

В конце января в Москву приехал Азеф. Увидев меня, он сказал:

— Как вы смели уехать из Петербурга?

Я отвечал, что уехал потому, что не было от него известий, и еще потому, что мой паспорт был установлен полицией.

Он нахмурился и сказал:

— Вы все-таки не имели права уехать.

— А вы имели право, сказав, что приедете через три дня, оставаться за границей месяц и больше?

Он молчал.

— Я был занят за границей делами.

— Мне все равно чем, но вы нас бросили в Петербурге.

Он помолчал еще.

— Ваша обязанность была ждать меня и следить за Плеве. Вы следили?

Я рассказал ему то, что мы узнали о Плеве.

— Это очень немного. Извольте ехать назад, в Петербург.

Я ответил, что для этого только я из-за границы и приехал.

Я сказал также, что вместе со мной приехал Каляев и что еще один товарищ, рабочий, ожидает в Женеве.

Было решено, что Каляев разыщет двух товарищей, прежде работавших со мной в Петербурге, и оба они станут там извозчиками. Мне Азеф поручил увидеться с Покотиловым, который жил тоже в Москве, и со Швейцером, ожидавшим распоряжений в Риге. Решено было также вызвать нового товарища из Женевы, по условию с ним, в Нижний Новгород. После свидания со мной Азеф уехал по общепартийным делам, а я остался в Москве.

Покотиллов жил в гостинице «Париж», на Тверской. Я вызвал его письмом, с просьбой вечером приехать в загородный ресторан «Яр». В «Яру» я с трудом узнал его. Вместо типичного женевского эмигранта, я увидел богатого русского барина с бледным лицом и длинной кудрявой золотистой бородой. Даже экземы, которою он страдал, не было видно. В этот вечер он рассказал мне свою биографию.

— Знаете, я хотел убить Боголепова, Карпович предупредил меня... Потом — Балмашев... Я сказал, что я больше ждать не могу, что первое покушение —

мне. Приезжал в Полтаву Гершуни. Было решено: Оболенского я убью. Я и готовился к этому... Вдруг узнаю, что не я, а Качура... Качура — рабочий, ему отдали предпочтение. Он стрелял, а не я... Вот теперь Плеве. Я не уступлю никому. Первая бомба — мне. Я ждал слишком долго. Я имею на это право.

Он волновался, и на лбу у него от волнения выступали мелкие капли крови: экзема. Он пил вино, но не пьянел и волновался все больше:

— Я совершенно верю в успех. Вы ведь знаете Валентина Кузьмича? Плеве будет бит. Только трудно ждать. Сколько времени я уже в Москве, храню динамит. Невозможно так жить, в ожидании. Я не могу.

В ответ на это я передал ему приказание Азефа ехать с динамитом в прибалтийский курорт Зегевольд и там ждать дальнейших распоряжений.

На другой день он уехал. Уехал и я — в Ригу, отыскивать Швейцера. В Ригу должен был приехать и Каляев — сообщить о результатах своей поездки. Швейцера в Риге уже не было. Каляев же рассказал, что оба товарища им разысканы и согласны, но что, по его мнению, только один Иосиф Мацеевский действительно хочет работать. Игнатий Мацеевский колеблется и согласился только под влиянием Иосифа. Его наблюдение было верно: Игнатий Мацеевский не принял участия в деле Плеве, Иосиф Мацеевский же немедленно после свидания с Каляевым приехал в Петербург и устроился извозчиком.

В начале февраля я вернулся в Петербург. Азеф сообщил мне, что Швейцер и Сазонов находятся тоже в Петербурге, что товарищ Мацеевский уже знаком с последним и что на днях и я познакомлюсь с товарищами.

Он предложил мне для этой цели прийти ночью на маскарад Купеческого клуба.

Азеф назначил мне свидание именно на маскараде, как он говорил, из конспиративных соображений. Он требовал всегда точнейшего исполнения всех правил боевой конспирации. Он требовал, чтобы свидания бывали возможно реже и не на частных квартирах, а на улице или в публичных местах: в трактирах, в банях, в театре; чтобы при свиданиях этих принимались все меры предосторожности; чтобы у членов организации не было переписки и сношений с их семьями и друзьями; чтобы образ жизни их и одежда не возбуждали ни в ком подозрения. Очень смелый в своих планах, он был чрезвычайно осторожен в их выполнении.

В назначенный день я был на маскараде. Я видел, как Азеф вошел в зал и поздоровался с невысоким, крепким, изящно одетым молодым человеком, лет двадцати пяти. У молодого человека были сбриты усы, и по внешнему виду он напоминал иностранца. Это был Швейцер, живший по английскому паспорту.

Швейцер сразу, с первых же слов, производил впечатление спокойной и уравновешенной силы. В нем

не чувствовалось того восторженного подъема, который был так ярко замечен в Покотилове и Каляеве, но он своей манерой говорить и молчать, неторопливостью своих мнений и своим медлительным спокойствием невольно внушал к себе доверие. В эту первую мою с ним встречу он говорил очень мало и только по делу.

Через несколько дней я впервые увидел Сазонова. Было условлено, что Иосиф Мацеевский и Сазонов, оба извозчики, будут ждать меня на углу Большого проспекта и 6-й линии Васильевского острова, причем, для того чтобы я мог узнать Сазонова, последний станет непосредственно за пролеткой Иосифа Мацеевского. Еще издали я увидел на козлах Иосифа. У него была щегольская пролетка, сытая лошадь, новая упряжь. Сам он, с завитыми усами и с шапкой набекрень, был очень похож на петербургского щеголя-лихача. Сзади него стоял обыкновенный, захудалый Ванька. У этого Ваньки было румяное, веселое лицо и карие, живые и смелые глаза. Его посадка на козлах, грязноватый синий халат и рваная шапка были настолько обычны, что я колебался, не вышло ли случайной ошибки и действительно ли этот крестьянин — тот «Авель», о котором я слышал от Азефа. Но Иосиф едва заметно улыбнулся мне и кивнул головой. Румяный извозчик смотрел на меня во все глаза и тоже слегка улыбался. Я подошел к нему и сказал условный пароль:

— Извозчик, на Знаменку.

— Такой улицы, барин, нет. Эта улица, барин, в Москве, — ответил Сазонов, смеясь одними глазами.

Мы поехали в Галерную гавань. Лошаденка еле плелась, Сазонов постоянно оборачивался с козел ко мне и весело и легко рассказывал о своей жизни извозчика. От его молодого лица и веселых спокойных слов становилось спокойно и весело на душе. Когда я расстался с ним и за углом скрылась его пролетка, мне захотелось снова увидеть эти смеющиеся глаза и услышать этот уверенный и веселый голос.

Азеф вскоре уехал по своим, как он говорил, общепартийным делам. Покотилов жил в Зегевольде, Каляев ждал в Нижнем товарища, который должен был приехать из Женевы, — Давида Боришанского («Абрам»). Швейцер хранил динамит в Либаве. В Петербурге остались Сазонов, Мацеевский и я. Этих сил для наблюдения было мало, так же мало, как в ноябре, когда мы ждали Азефа в Петербурге. Тем не менее в феврале или в начале марта Мацеевскому и Сазонову еще несколько раз удалось видеть Плеве, а главное, удалось установить, что он действительно еженедельно к 12 часам дня ездит с докладом к царю, жившему тогда в Зимнем дворце. Мне казалось, что наблюдение с такими небольшими силами и не может дать в будущем результатов сколько-нибудь значительных. Поэтому, когда Азеф приехал в Петербург, я настойчиво стал предлагать ему немедленно приступить к покушению. Азеф возражал

мне, что сведений собрано слишком мало, что маршрут Плеве в точности неизвестен и что поэтому легко ошибиться. Я настаивал, указывая на возможность устроить покушение на Фонтанке, у самого дома Плеве, чем устранялись и риск ошибки, и необходимость выяснения маршрута. Но Азеф не соглашался со мною — ему казалось такое выступление опасным: у дома Плеве была наиболее многочисленная охрана. А при неудаче дело, в лучшем случае, откладывалось на долгое время.

Тогда я предложил Азефу узнать мнение Сазонова и Мацевского. На двух извозчиках: я в пролетке Мацевского и Азеф в пролетке Сазонова — мы поехали далеко за город и в поле устроили совещание. Мацевский настаивал на немедленном покушении. Он говорил, что раз выезд известен, то нечего больше ждать, либо никогда мы не узнаем более того, что нам известно теперь. Выяснение же маршрута необязательно, раз возможно устроить покушение у самых ворот дома Плеве.

Сазонов высказывался гораздо осторожнее. Он говорил, что не знает Плеве в лицо, что может ошибиться каретой. Он дал свое согласие только тогда, когда Мацевский предложил быть сигнальщиком и указать ему карету Плеве.

Азеф, по обыкновению, слушал молча. Когда мы кончили говорить, он медленно и, как всегда, как будто бы нехотя, стал возражать. Он приглашал к терпению и

осторожности и опять указывал, что неудача может погубить дело. В ответ на его слова я настаивал еще резче. Меня поддержал на этот раз, кроме Мацеевского, еще и Сазонов. Наконец Азеф, подумав, сказал:

— Хорошо, если вы этого так хотите, попробуем счастья.

Азеф снова уехал из Петербурга. Я съездил в Либаву к Швейцеру и в Нижний к Каляеву. К 18 марта все, в том числе приехавший из Женевы Д. Боришанский, собрались в Петербурге. Только Азеф оставался по партийным делам в провинции.

IV

План покушения состоял в следующем. Около 12 часов дня по четвергам Плеве выезжал из своего дома и ехал по набережной Фонтанки к Неве и по набережной Невы к Зимнему дворцу.

Возвращался он или той же дорогой, или по Пантелеймоновской мимо вторых ворот департамента полиции, к главному подъезду, что на Фонтанке. Предполагалось ждать его на пути. Покотилов с двумя бомбами должен был сделать первое нападение. Он должен был встретить Плеве на набережной Фонтанки около дома Штиглица. Боришанский, тоже с двумя бомбами, занимал место ближе к Неве, у Рыбного переулкa. Сазонов с бомбой под фартуком пролетки становился у подъезда департамента полиции лицом к

Неве. Также лицом к Неве, с другой стороны подъезда, ближе к Пантелеймоновской, стоял Мацеевский. Он должен был снять шапку при приближении кареты Плеве и этим подать знак Сазонову. Наконец, на Цепном мосту, имея в поле зрения всю Пантелеймоновскую, находился Каляев, на виду как Покотилова, так и Сазонова. Его обязанность была дать им знак в случае, если Плеве вернется через Литейный проспект.

Диспозиция была неудачна. Помимо того, что действие происходило у самых ворот дома Плеве, где, кроме конных и пеших городских, было везде — на улице, на углах, на Цепном мосту — много агентов охраны, внимание Покотилова разбивалось между ожидаемой каретой Плеве и Каляевым, Сазонова — между Плеве, Каляевым и Мацеевским. Кроме того, в действие вводилось, а следовательно, и подвергалось риску, двое безоружных, непосредственно для покушения ненужных людей — Каляев и Мацеевский. Недостатки диспозиции необходимо вытекали из недостаточности наблюдения. Незнание маршрута — возможность проезда Плеве по Литейному и Пантелеймоновской — заставило поставить на Цепном мосту Каляева, недостаточное же знакомство Сазонова с каретой министра заставило ввести в дело Мацеевского. Именно эти неудобства и предвидел Азеф, не соглашаясь на преждевременное, по его мнению, покушение.

16-го я имел свидание для последних переговоров с Покотиловым и Швейцером. Свидание состоялось на кладбище Александро-Невской лавры, у могилы Чайковского. Швейцер холодно и спокойно обсуждал мельчайшие детали нашего плана. Ему предстояла трудная задача — за ночь он должен был приготовить пять бомб и на утро раздать их метальщикам. Покотиллов, как всегда, волновался. Он горячо говорил, что уверен в удаче, как уверен и в том, что именно ему, а не Боришанскому и Сазонову, выпадет честь убить Плеве. Он настаивал также, чтобы Боришанский в случае, если ему придется бросать первую бомбу, бежал не в переулок, а на него, Покотилова. Он говорил, что своими бомбами он сумеет защитить и его, и себя. Во время нашего разговора, на кладбище, на соседней дорожке неожиданно появился пристав с нарядом городских. Между могильных крестов замелькали погоны и сабли. В ту же минуту Покотиллов вынул револьвер и быстро, большими шагами пошел навстречу полиции. Швейцер спокойно ждал у могилы, засунув руку в карман, где лежал его револьвер. Я с трудом догнал Покотилова. Он обернулся ко мне и шепнул:

— Уходите с Павлом, я удержу их на несколько минут.

Городовые приближались по боковой аллее. Я схватил Покотилова за руку.

— Что вы делаете? Спрячьте револьвер.

Он хотел мне что-то ответить, но в это время полицейские повернули на другую дорожку и стали скрываться из виду. Очевидно, тревога была не для нас.

Ночь с 17 на 18 марта я провел с Покотиловым. Мы сидели с ним в театре «Варьете» до рассвета и на рассвете пошли гулять на острова, в парк. Он шел, волнуясь, с каплями крови на лбу, бледный, с лихорадочно расширенными зрачками. Он говорил:

— Я верю в террор. Для меня вся революция в терроре. Нас мало сейчас. Вы увидите: будет много. Вот завтра, может быть, не будет меня. Я счастлив этим, я горд: завтра Плеве будет убит.

Утром, в 8 часов, я простился с ним, чтобы через два часа встретиться снова. В 10 часов на 16-й линии Васильевского острова Швейцер должен был передать снаряды метальщикам. Он должен был подъехать к условленному заранее дому в пролетке и ехать до Тучкова моста, где, взяв свою бомбу, выйти и уступить место ожидавшему на Тучковом мосту Боришанскому; тот, взяв свою бомбу, должен был выйти вместе со Швейцером, который оставлял в пролетке последний снаряд — для Сазонова. Боришанский, невозмутимый, как всегда, не выражал ни одобрения, ни осуждения нашему плану. Он молча выслушал все подробности диспозиции и аккуратно в назначенный час явился на Тучков мост.

Я видел, как Швейцер подъехал к Покотилу и как Покотил сел в пролетку Сазонова. Я пошел

отыскивать Каляева. Каляев был огорчен.

— Мне не досталось снаряда. Почему Боришанский, а не я?

Я успокаивал его, говоря, что троих метальщиков довольно, что Боришанский с таким же правом мог бы сказать те же слова, если бы не у него, а у Каляева была в руках бомба.

— Я не хочу рисковать меньше других, — сказал Каляев.

Я сказал ему в ответ, что риск всегда одинаков и что в случае ареста он будет судиться вместе со всеми и по той же статье закона. Он промолчал.

В двенадцатом часу, я, по условию, прошел в Летний сад и, сев на скамью на дорожке, параллельной Фонтанке, стал ждать. Сазонов, Покотилов, Боришанский, Иосиф Мацеевский и Каляев каждый занял свое место. Так прошло полчаса в ожидании.

Вдруг раздался удар, будто взорвалось что-то. Я невольно поднялся.

На другой стороне Фонтанки было по-прежнему все тихо. Стреляла полуденная пушка в Петропавловской крепости.

В ту же минуту в воротах сада я увидел Покотилова. Он был бледен и быстро направлялся ко мне. В карманах его шубы ясно обозначались бомбы. Он подошел к моей скамье и тяжело опустился на нее.

— Ничего не вышло: Боришанский убежал.

— Кто убежал?

— Боришанский.

— Не может этого быть.

— Я видел сам: убежал.

Мы вышли с Покотиловым из Летнего сада. На Цепном мосту, прислонившись к перилам, высоко подняв голову и не спуская глаз с Пантелеймоновской улицы, стоял Каляев. Он удивленно посмотрел на Покотилова и на меня, но не двинулся с места.

Я и до сих пор ничем иным не могу объяснить благополучного исхода этого первого нашего покушения, как случайной удачей. Каляев настолько бросался в глаза, настолько напряженная его поза и упорная сосредоточенность всей фигуры выделялась из массы, что для меня непонятно, как агенты охраны, которыми был усеян мост и набережная Фонтанки, не обратили на него внимания. Впоследствии он сам говорил, что стоял в полной уверенности, что его арестуют, что не могут не арестовать человека, в течение часа стоящего против дома Плеве и наблюдающего за его подъездом. Но и думая так, он последний ушел со своего поста, когда Сазонов и Боришанский уже отъехали от подъезда.

Только что мы минули с Покотиловым мост, как засуетились городовые и филеры и от Невы по Фонтанке крупной рысью мимо нас промчалась карета,

запряженная вороными конями, с ливрейным лакеем на козлах. В окне кареты мелькнуло спокойное лицо Плеве. Покотиллов схватился за бомбу, но карета была уже далеко и приближалась к Сазонову. Мы замерли, ожидая взрыва. Но на наших глазах карета, обогнув Сазонова, повернула в раскрытые ворота и скрылась. Я вернулся к Каляеву и сказал ему, чтобы он шел на место условленного заранее свидания. Покотиллов подошел к Сазонову и стал его нанимать. Я видел, как Сазонов отрицательно качнул головой. Тогда я подошел к Сазонову:

— Извозчик!

— Занят.

— Извозчик!

— Занят.

Я остановился и посмотрел в лицо Сазонова. Он был очень бледен. Я прошептал:

— Уезжайте скорее.

Но он опять отрицательно качнул головой. Я прошел мимо него и позвал Мацеевского и опять услышал то же самое.

— Занят.

Я обернулся к Цепному мосту: Каляев все еще стоял на мосту. Так ожидали они, уже без всякой надежды, еще полчаса. Неудача Сазонова произошла благодаря одной из тех случайностей, которых нельзя ни

предусмотреть, ни устранить. Как и было условлено, Сазонов стал в двенадцатом часу на свое место, лицом к Неве, так, чтобы видеть Мацеевского и набережную Фонтанки и заранее подготовиться к взрыву. Тяжелый, семифунтовый снаряд лежал у него под фартуком, на коленях. Чтобы бросить снаряд, нужно было отстегнуть фартук и поднять бомбу. Это требовало несколько секунд времени. Но, стоя у подъезда Плеве и отказывая нанимавшим его седокам, Сазонов возбудил насмешки других извозчиков. Из их длинного ряда он выделялся тем, что стоял лицом к Неве, тогда как все они стояли лицом в противоположную сторону, к цирку. Эти насмешки, т. е. боязнь обратить на себя внимание, заставили его повернуть лошадь мордой от Невы и стать спиной к Мацеевскому. Таким образом, Плеве, возвращаясь, был невидим ему и промелькнул мимо него неожиданно быстро. Сазонов схватился за бомбу, но было уже поздно.

Эта первая неудача научила нас многому. Мы поняли, что семь раз примерь и один раз отрежь.

V

Мы условились собраться после покушения на Садовую, в ресторане «Северный полюс». Я встретил еще на улице Боришанского. Я спросил его:

— Послушайте, Абрам, вы убежали?

Он поднял на меня свои большие, светлые глаза и промолчал. Я повторил свой вопрос. Он ответил:

— Да, я убежал.

— Какое право вы имели бежать?

Боришанский в ответ ничего не сказал. Я долго смотрел на его спокойное, точно каменное лицо. Наконец я его спросил:

— Почему же вы убежали?

— Странно... Если за вами следят, что вы будете делать?

— За вами следили?

— Если бы не следили, я бы не убежал.

— Слушайте, — сказал я, — товарищи могут подумать, что вы трус.

Он долго медлил ответом:

— Я не трус. Я должен был убежать. Каждый убежал бы на моем месте... И разве нужно было, чтобы меня без пользы арестовали?

В это время вошел в ресторан Каляев. По его лицу было видно, что он очень взволнован. Иногда он мельком взглядывал на Боришанского. Наконец он не выдержал:

— Почему вы убежали, Боришанский?

Боришанский посмотрел на него:

— Что бы вы сделали, если бы шпионы вас окружили?

Каляев ничего не ответил. Не могло быть сомнения, что Боришанский говорит правду. Оставаться же с бомбою на глазах у филеров значило губить и себя, и товарищей, и самое дело.

Покушение не удалось. Жить всем членам организации в Петербурге не было цели. Швейцер в тот же день уехал с динамитом обратно в Либаву, Боришанский — в Бердичев, Каляев — в Киев, Покотиллов — в Двинск, где должен был ждать известий от нас Азеф. Я остался еще на день в Петербурге и вечером встретился с Сазоновым.

Мы поехали с ним на острова. У взморья я наконец решился заговорить:

— Слушайте, почему вы не хотели отъехать от дома Плеве?

Сазонов обернулся с козел ко мне:

— Почему?.. Я надеялся: может быть, он опять поедет.

— Но вы ведь знали, что этого не будет?

— Эх... Ну конечно...

Он опустил голову. Через несколько минут он снова заговорил:

— Стою я, бомбу на коленях держу... Жду... Знаете, ничего... Только ноги похолодели...

Он махнул рукой. Потом вдруг быстро обернулся ко мне:

— Это я виноват.

— В чем?

— Да вот... в неудаче.

Конечно, Сазонов был виноват менее всех, и я с гораздо большим правом, чем он, могу приписать неудачу 18 марта себе.

В Двинске Азефа не было. На почте не было условных от него телеграмм до востребования. На вокзале меня встретил Покотиллов. Его первые слова были:

— Валентин арестован.

— Как — арестован?

— Его нет. Телеграмм тоже нет. Что делать?

Азеф только впоследствии объяснил, что в Двинске заметил за собой наблюдение и, скрывая следы, три недели ездил по России. Тогда его отсутствие в такой важный момент мы могли объяснить только его арестом.

Покотиллов, волнуясь, с мелкими каплями крови на лбу, говорил:

— Валентин арестован. Покушение не удалось. Но Плеве будет убит... Плеве непременно будет убит... Неправда ли, Веньямин?

Я молчал. Мне думалось: потеря в решительную минуту Азефа лишала организацию единственного опытного террориста — более того: лишала ее руководителя. Руководительство переходило ко мне, а я не чувствовал себя подготовленным к нему. Я попросил Покотилова съездить к Швейцеру и привезти его в Киев, куда должен был приехать и Боришанский. Я хотел посоветоваться с товарищами.

Я считал, что сил организации, с потерей Азефа, было недостаточно, чтобы убить Плеве. Мне казалось поэтому разумным попытаться сперва убить Клейгельса и, убив его, уже потом перейти к покушению на Плеве. Приготовления к убийству Клейгельса должны были дать недостающий нам опыт и помочь ориентироваться в почти незнакомой технике боевого дела. Я сообщил мое мнение товарищам. Каляев и Швейцер согласились со мной. Покотилов стал возражать:

— Мы взялись за дело Плеве и не можем оставить его. Мы обязаны убить Плеве. Сил довольно. В крайнем случае мы взорвем весь департамент полиции. Я все беру на себя.

Боришанский молчал.

— А ваше мнение? — спросил я его.

— Я поеду с Покотиловым, — отвечал он.

Было решено наихудшее: был принят компромисс. Швейцер, Каляев и я остались в Киеве для покушения на Клейгельса, Боришанский и Покотилов уехали в

Петербург, чтобы вместе с Сазоновым и Иосифом Мацеевским попытаться убить Плеве.

Их план состоял в следующем: в четверг, 25 марта, и в четверг, 1 апреля, — день, когда Плеве ездил к царю, — они должны были утром, в 11.30, выйти с бомбами навстречу министру, от Зимнего дворца по набережным Невы и Фонтанки к зданию департамента полиции. Так как маршрут Плеве и время его выезда были известны лишь приблизительно, надежды на удачное покушение было мало. Бомбы должен был приготовить Покотилов. Сазонов и Мацеевский в покушении принимали только косвенное участие.

Наш план был прост: Клейгельс не скрываясь ездил по городу. Каляев и я знали его в лицо. Генерал-губернаторский дом был на Институтской улице, и куда бы Клейгельс ни ездил, он не мог миновать Крещатик. Бомбы должен был приготовить Швейцер, честь же первого нападения принадлежала Каляеву.

Такое разделение ослабляло организацию, оно уменьшало надежду на успех как того, так и другого покушения. Я не имел настолько авторитета, чтобы настоять на своем плане, но я не мог признать плана Покотилова разумным. Организация разделилась на две почти равные части.

24 марта Покотилов приготовил две бомбы и 25-го он и Боришанский вышли от Зимнего навстречу Плеве, но Плеве не встретили. Покотилов вынул из бомб запалы и уехал из Петербурга в Двинск. 29 марта он опять

отправился в Петербург и по дороге в вагоне опять случайно встретился с Азефом. Азеф выслушал его доклад о положении организации и остался недоволен. Он пробовал отговаривать Покотилова от его плана, но Покотиллов стоял на своем. Тогда Азеф, простившись с ним, поехал в Киев отыскивать нас.

31 марта, ночью, в «Северной» гостинице, приготавливая во второй раз снаряды, Покотиллов погиб от взрыва. Наши бомбы имели химический запал: они были снабжены двумя крестообразно помещенными трубками с зажигательными и детонаторными приборами. Первые состояли из наполненных серной кислотой стеклянных трубок с баллонами и надетыми на них свинцовыми грузами. Эти грузы при падении снаряда в любом положении ломали стеклянные трубки; серная кислота, выливаясь, воспламеняла смесь бертолетовой соли с сахаром. Воспламенение же этого состава производило сперва взрыв гремучей ртути, а потом и динамита, наполнявшего снаряд. Неустраняемая опасность при зарядении заключалась в том, что стекло трубки могло легко сломаться в руках.

VI

О смерти Покотилова мы узнали в Киеве из газет. Для нас эта смерть явилась еще более тяжелой неожиданностью, чем неудача 18 марта.

Из нашего запаса динамита после смерти Покотилова осталась едва одна четверть. Она хранилась у Швейцера, и из нее можно было приготовить всего одну бомбу. Одной бомбы, по нашему мнению, было достаточно для убийства Клейгельса, но нам казалось невозможным убить Плеве с помощью всего одного метальщика. Я посоветовался со Швейцером и Каляевым, и мы решили ликвидировать дело Плеве и предложить Мацевевскому, Боришанскому и Сазонову уехать за границу. Мы втроем должны были остаться в Киеве для покушения на Клейгельса.

Швейцер передал оставшийся динамит Каляеву и уехал в Петербург, чтобы сообщить Мацевевскому и Сазонову о таком нашем решении; Боришанский после 31 марта, по собственной инициативе, приехал в Киев. Почти одновременно с ним неожиданно приехал в Киев и Азеф. Встретив меня в квартире ***, он сказал:

— Что вы затеяли? К чему это покушение на Клейгельса? И почему вы не в Петербурге? Какое право имеете вы своей властью изменять решения центрального комитета?

Я ответил Азефу, что мы были уверены в его аресте, ибо только арестом могли объяснить отсутствие его после неудачи 18 марта в Двинске; что без его руководства мне казалось невозможным убить Плеве; что, ввиду этой невозможности, я решил убить Клейгельса; что я был против поездки Покотилова в Петербург и считал его план покушения на Плеве

несостоятельным и, наконец, — и это самое главное, — что динамита у нас осталось всего на одну бомбу. Я хотел прибавить также, что неудача 18 марта и смерть Покотилова породили в нас неуверенность в своих силах и что в таком состоянии недоверия к себе едва ли было возможно довести до конца общеимперское дело. Но, посмотрев на Азефа, я не сказал ему этого.

Азеф слушал, по своему обыкновению, молча. По его лицу я видел, что он очень недоволен и нашим решением, и моими объяснениями. Наконец он сказал:

— За мной следили. Я должен был уходить от шпионов. Вы могли понять это и не торопиться с предположениями о моем аресте. Кроме того, если бы я и был арестован, вы не имели права ликвидировать покушение на Плеве.

Я ответил ему на это, что ни у кого из нас нет террористического опыта; что впредь мы, вероятно, сумеем быть хладнокровнее и не придавать решающего значения неудачам, но что нет ничего удивительного, если покушение 18 марта, предполагаемый его арест и смерть Покотилова заставили нас изменить первоначально принятый план.

Азеф нахмурился еще больше и сказал:

— Люди учатся на делах. Ни у кого не бывает сразу нужного опыта. Из этого, однако, не следует, что нужно делать только то, что легко. Какой смысл в покушении на Клейгельса?

Я сказал, что Боевая организация молчит со времени уфимского дела, т. е. уже около года, что с арестом Гершуни правительство считает ее разбитой и что если в партии нет сил для центрального террора, то необходимо делать по крайней мере террор местный, как его делал Гершуни в Харькове и Уфе.

— Что вы мне говорите? Как нет сил для убийства Плеве? Смерть Покотилова? Но вы должны быть готовы ко всяким несчастьям. Вы должны быть готовы к гибели всей организации до последнего человека. Что вас смущает? Если нет людей, их нужно найти. Если нет динамита, его необходимо сделать. Но бросать дело нельзя никогда. Плеве во всяком случае будет убит. Если мы его не убьем, его не убьет никто. Пусть «Поэт» (Каляев) едет в Петербург и велит Мацеевскому и «Авелю» (Сазонову) оставаться на прежних местах. «Павел» (Швейцер) изготовит динамит, а вы с Боришанским поедете в Петербург на работу. Кроме того, мы найдем еще людей.

В тот же день из Петербурга вернулся Швейцер. Он сообщил, что Мацеевский и Сазонов уже продали лошадей и пролетки и что первый уехал к себе на родину, а второй через Сувалки направляется за границу. Каляев немедленно поехал в Сувалки, чтобы остановить Сазонова на дороге и предложить ему ехать не за границу, а в Харьков, где должны были собраться для совещания почти все члены организации. Швейцер получил от Азефа адрес партийного инженера. С

помощью этого инженера он должен был в земской лаборатории изготовить пуд динамита. Задача ему предстояла трудная. Необходимо было незаметно приобрести нужные материалы; необходимо было соблюдать строжайшую конспирацию; наконец, необходимо было мириться с неустранимыми недостатками неприспособленной к изготовлению динамита лаборатории. Швейцер справился со всеми затруднениями. По подложному открытому листу на имя уполномоченного земства он закупил материал, и один, скорее с ведома, чем при помощи вышеупомянутого инженера, приготовил необходимое нам количество динамита. На этой работе он едва не погиб и спасся только благодаря своему хладнокровию. Размешивая желатин, приготовленный из русских не чистых химически материалов, он заметил в нем признаки разложения, т. е. признаки моментального и неизбежного взрыва. Он схватил стоявший рядом кувшин с водой и второпях стал лить прямо с руки, с высоты нескольких вершков от желатина. Струя воды разбрызгала взрывчатую массу, желатинные брызги попали ему на всю правую сторону тела и взорвались на нем. Он получил несколько тяжких ожогов, но дела не бросил и, лишь изготовив нужное количество динамита, уехал в Москву. Там он пролежал несколько дней в больнице. Динамит он привез в Петербург в июне.

Тогда же в Киеве я познакомился с Дорой Бриллиант. Дора Владимировна Бриллиант была рекомендована

для боевой работы Покотиловым, который близко знал ее еще по Полтаве.

Дору Бриллиант я отыскал на Жилианской улице, в студенческой комнате. Она с головой ушла в местные комитетские дела, и комната ее была полна ежеминутно приходившими и уходившими по конспиративным делам товарищами. Маленького роста, с черными волосами и громадными, тоже черными, глазами, Дора Бриллиант с первой же встречи показалась мне человеком, фанатически преданным революции. Она давно мечтала переменить род своей деятельности и с комитетской работы перейти на боевую. Все ее поведение, сквозившее в каждом слове желание работать в терроре убедили меня, что в ее лице организация приобретает ценного и преданного работника.

Переговорив с Бриллиант, я уехал в Харьков. Туда же приехали Азеф, Сазонов и Каляев. В Харькове я увидел впервые Сазонова не на козлах и не в извозничьем халате. Он был выше среднего роста, с румяным, открытым и веселым лицом. Узнав от Швейцера, что решено ликвидировать дело и что ему предложено ехать за границу, он чрезвычайно огорчился: такое предложение равнялось в его глазах приказанию оставить поле сражения. Тем не менее, подчиняясь дисциплине организации, он продал лошадь и пролетку и поехал в Сувалки. В поезде между Сувалками и Вильно его встретил Каляев. К своей радости, Сазонов

узнал от него, что вместо Женева ему предложено ехать в Харьков. Здесь, в Харькове, он близко сошелся с Каляевым, хотя и ему Каляев на первый взгляд показался странным.

Каляев любил революцию так глубоко и нежно, как любят ее только те, кто отдает за нее жизнь. Но, прирожденный поэт, он любил искусство. Когда не было революционных совещаний и не решались практические дела, он подолгу и с увлечением говорил о литературе. Говорил он с легким польским акцентом, но образно и ярко. Имена Брюсова, Бальмонта, Блока, чуждые тогда революционерам, были для него родными. Он не мог понять ни равнодушия к их литературным исканиям, ни тем менее отрицательного к ним отношения: для него они были революционерами в искусстве. Он горячо спорил в защиту «новой» поэзии и возражал еще горячее, когда при нем указывалось на ее якобы реакционный характер. Для людей, знавших его очень близко, его любовь к искусству и революции освещалась одним и тем же огнем — несознательным, робким, но глубоким и сильным религиозным чувством. К террору он пришел своим, особенным, оригинальным путем и видел в нем *не только наилучшую форму политической борьбы, но и моральную, быть может религиозную, жертву.*

Сазонов был социалист-революционер, человек, прошедший школу Михайловского и Лаврова, истый сын народовольцев, фанатик революции, ничего не

видевший и не признававший, кроме нее. В этой страстной вере в народ и в глубокой к нему любви и была его сила. Неудивительно поэтому, что вдохновенные слова Каляева об искусстве, его любовь к слову, религиозное его отношение к террору показались Сазонову при первых встречах странными и чужими, не гармонирующими с образом террориста и революционера. Но Сазонов был чуток. Он почувствовал за широтою Каляева силу, за его вдохновенными словами — горячую веру, за его любовью к жизни — готовность пожертвовать этой жизнью в любую минуту, более того — страстное желание такой жертвы. И все-таки в первый из наших харьковских дней Сазонов, встретив меня в Университетском саду, подошел ко мне с такими словами:

— Вы хорошо знаете «Поэта»? Какой он странный.

— Чем же странный?

— Да он действительно скорее поэт, чем революционер.

Сазонов смутился. Может быть, ему показалось, что в его словах было косвенное осуждение Каляеву. Я же ни до, ни после никогда не слышал, чтобы он осуждал кого-либо.

— Знаете, раньше я думал, что террор нужен, но что он не самое главное... А теперь вижу: нужна «Народная

воля», нужно все силы напярчь на террор, тогда победим. Вот и «Поэт» думает так.

Каляев действительно думал так. Он *не отрицал, конечно, значения мирной работы* и с интересом следил за ее развитием, но террор он ставил во главу угла революции. Он психически не мог, не ломая себя, заниматься пропагандой и агитацией, хотя *любил и понимал рабочую массу*. Он мечтал о терроре будущего, о его решающем влиянии на революцию.

— Знаешь, — говорил он мне в Харькове, — я бы хотел дожить, чтобы видеть: вот, смотри — Македония. Там террор массовый, там каждый революционер — террорист. А у нас? Пять, шесть человек и обчелся... Остальные в мирной работе. Но разве социалист-революционер может работать мирно? Ведь *социалист-революционер без бомбы уже не социалист-революционер*. И разве можно говорить о терроре, не участвуя в нем?.. О, я знаю: по всей России разгорится пожар. Будет и у нас своя Македония. Крестьянин возьмется за бомбы. И тогда — революция...

В Университетском саду происходили все наши совещания. Азеф предложил следующий план. Мацеевский, Каляев и убивший в 1903 году уфимского губернатора Богдановича Егор Олимпиаевич Дулебов, нам тогда еще незнакомый, должны были наблюдать за Плеве на улице: Каляев и один вновь принятый товарищ — как папиросники. Дулебов и Иосиф Мацеевский — в качестве извозчиков. Я должен был

нанять богатую квартиру в Петербурге с женой — Дорой Бриллиант и прислугой: лакеем — Сазоновым и кухаркой — одной старой революционеркой, П. С. Ивановской. Цель этой квартиры была двоякая. Во-первых, предполагалось, что Сазонов-лакей и Ивановская-кухарка могут быть полезны для наблюдения, и, во-вторых, я должен был приобрести автомобиль, необходимый, по мнению Азефа, для нападения на Плеве. Учиться искусству шофера должен был Боришанский.

Я усиленно возражал Азефу против покупки автомобиля. Я признавал значение конспиративной квартиры и для наблюдения, и для хранения снарядов, но я не видел цели в приобретении автомобиля. Мне казалось, что пешее нападение на Плеве, при многих метальщиках, гарантирует полный успех и что, наоборот, автомобиль может скорее обратить на себя внимание полиции. Азеф не очень настаивал на своем плане, но все-таки предложил мне нанять квартиру и устроиться в Петербурге.

Сил организации было больше, чем когда бы то ни было. Потеря Покотилова возмещалась новыми членами. Кроме того, прошедшие неудачи, не устраняя, конечно, возможности новых, обеспечивали от повторения грубых ошибок. Настойчивость Азефа, его спокойствие и уверенность подняли дух организации, и мне было странно, как мог я решиться ликвидировать дело Плеве и предпринять провинциальное, не

имеющее политического значения, покушение на Клейгельса. Не преувеличивая, можно сказать, что Азеф возродил организацию, мы приступили к делу с верой и решимостью во что бы то ни стало убить Плеве.

Когда план был обсужден нами и принят и люди распределены, Азеф уехал за Дулебовым, а также по делам организовавшегося тогда под его руководством Центрального комитета. Сазонов и Каляев уехали в Петербург. Я остался в Харькове ожидать Бриллиант.

Из Харькова я с Дорой Бриллиант отправился в Москву. В Москве я должен был встретиться с Азефом и Дулебовым. Увидев меня, Азеф сказал:

— Петр (Дулебов) уже здесь. У него с собою шесть небольших бомб македонского образца. Возьмите их у него и отдайте на хранение в несгораемый ящик в какой-нибудь банк. Петр живет на Маросейке, в номерах, зайдите завтра к нему.

Я зашел к Дулебову и увидел перед собою небольшого роста крепкого рабочего, с открытым лицом и задумчивыми глазами. Он передал мне коробку с бомбами и показал мне способ их заряжения.

В тот же день я нанял на имя Адольфа Томашевича несгораемый ящик в банкирском доме бр. Джамгаровых и отвез туда бомбы. Впоследствии квитанция от этого ящика была найдена при аресте Татьяны Леонтьевой, и полиция тщетно отыскивала нанимателя. Бомбы эти были конфискованы в мае 1905 года. Через несколько

дней мы все уехали из Москвы: Азеф по общепартийным делам на Волгу, Бриллиант, Дулебов и я — в Петербург.

Дулебов купил пролетку и лошадь и стал извозчиком, а я остановился вместе с Бриллиант в гостинице «Франция» на Морской и прежде всего пошел отыскивать Ивановскую.

Ивановская жила на пятом этаже, в громадном доме на Обводном канале. Она снимала угол в рабочем семействе под именем, если не ошибаюсь, Дарьи Кирилловой. Подымаясь по лестнице к ней, я встретил какую-то старуху в платке. Старуха была так похожа на угловую жилицу, так все, от головного платка до сапог, было типично, что мне и в голову не пришло, что это могла быть сама Ивановская. Я остановил старуху и спросил:

— А где, тетка, здесь живет Дарья Кириллова?

— Да это я и есть, батюшка, — отвечала она.

Я все еще не верил. Выговор и слова были чисто народные. Я думал, что случайно встретил однофамилицу или сам забыл имя. Ивановская, видя мое замешательство, улыбнулась:

— Я и есть... Она самая... Давайте скорее поговорим...

Мы тут же на лестнице условились, как нам впоследствии отыскать друг друга. В тот же день я, по

объявлению из «Нового времени», нашел меблированную квартиру.

VII

Я снял квартиру на улице Жуковского, д. № 31, кв. 1, у хозяйки немки. Я играл роль богатого англичанина, Дора Бриллиант — бывшей певицы из «Буффа». На вопрос о моих занятиях я сказал, что я представитель большой английской велосипедной фирмы. Впоследствии поверившая вполне нам хозяйка не раз приходила в мое отсутствие к Доре и начинала ее убеждать уйти от меня на другое место, которое хозяйка ей уже подыскала. Она жалела Дору, спрашивала ее, сколько денег я положил на ее имя в банк, и удивлялась, что не видит на ней драгоценностей. Дора отвечала, что она живет со мною не из-за денег, а по любви. Такие визиты были довольно часты.

Живя в этой квартире, я близко сошелся с Бриллиант, Ивановской и Сазоновым и узнал их. Молчаливая, скромная и застенчивая Дора жила только одним — своей верой в террор. Любя революцию, мучаясь ее неудачами, признавая необходимость убийства Плеве, она вместе с тем боялась этого убийства. Она не могла примириться с кровью, ей было легче умереть, чем убить. И все-таки ее неизменная просьба была — дать ей бомбу и позволить быть одним из метальщиков. Ключ к этой загадке, по моему мнению, заключается в том, что она, во-первых, не могла отделить себя от

товарищей, взять на свою долю, как ей казалось, наиболее легкое, оставляя им наиболее трудное, и, во-вторых, в том, что она считала своим долгом переступить тот порог, где начинается непосредственное участие в деле: *террор для неё, как и для Каляева, окрашивался прежде всего той жертвой, которую приносит террорист.* Эта дисгармония между сознанием и чувством глубоко женственной чертой ложилась на ее характер. *Вопросы программы её не интересовали. Быть может, из своей комитетской деятельности она вышла с известной степенью разочарования.* Её дни проходили в молчании, в молчаливом и сосредоточенном переживании той внутренней муки, которой она была полна. Она редко смеялась, и даже при смехе глаза ее оставались строгими и печальными. *Террор для нее олицетворял революцию, и весь мир был замкнут в Боевой организации.* Быть может, смерть Покотилова, ее товарища и друга, положила свою печать на ее и без того опечаленную душу.

Сазонов был молод, здоров и силен. От его искрящихся глаз и румяных щек веяло силой молодой жизни. Вспыльчивый и сердечный, с кротким, любящим сердцем, он своей жизнерадостностью только еще больше оттенял тихую грусть Доры Бриллиант. Он верил в победу и ждал ее. *Для него террор тоже прежде всего был личной жертвой, подвигом.* Но он шел на этот подвиг радостно и спокойно, точно не

думая о нем, как он не думал о Плеве. Революционер старого, народовольческого, крепкого закала, он не имел ни сомнений, ни колебаний. Смерть Плеве была необходима для России, для революции, для торжества социализма. Перед этой необходимостью бледнели все моральные вопросы на тему о «не убий».

Ивановская прожила свою тяжелую жизнь в тюрьмах и ссылке. На ее бледном, старческом, морщинистом лице светились ясные, добрые материнские глаза. Все члены организации были как бы ее родными детьми. Она любила всех одинаково, ровной и тихой, теплой любовью. Она не говорила ласковых слов, не утешала, не ободряла, не загадывала об успехе или неудаче, но каждый, кто был около нее, чувствовал этот неиссякаемый свет большой и нежной любви. Тихо и незаметно делала она свое конспиративное дело, и делала артистически, несмотря на старость своих лет и на свои болезни. Сазонов и Дора Бриллиант были ей одинаково родными и близкими.

Конспиративная сторона нашей жизни была, по настоянию Азефа, разработана во всех ее мельчайших подробностях. Ивановская в качестве кухарки завела дружбу с дворничихой, и по утрам старший дворник пил у нас кофе на кухне. Сазонов был своим человеком в швейцарской. Он невольно знал все сплетни и все разговоры, которые ходили по дому. Я имел вид делового человека, Дора — певицы.

Каждый день я получал через швейцара почту — большею частью каталоги разных машин, которые я выписывал, как «представитель торговой фирмы», из Англии, Франции и Германии. Затем я уходил на «службу» — бродил по городу с надеждой встретить Плеве, и действительно часто встречал его. Днем «барыня» Дора, с громадным пером на шляпе, в сопровождении «лакея» Сазонова шла в город за покупками. Вечером я и Дора часто уезжали из дому, и прислуга, освободившись, тоже уходила гулять, — следить за Плеве.

Регулярный образ жизни и хорошие «на чай» создали нам в доме репутацию «первых жильцов». Мы были осведомлены о всех слухах через Сазонова. Непьющий и грамотный, на хорошем жалованьи, он был хорошим женихом для горничных всех квартир, был другом швейцара и на лучшем счету у старшего дворника. Таким образом, мы жили, не возбуждая ни в ком подозрений, хотя часто виделись с Мацеевским, Каляевым и Дулебовым.

В конце мая в Петербург приехал Азеф. Я встретился с ним в театре «Аквариум». Первый вопрос его был:

— Купили автомобиль?

— Нет.

— Почему?

Я опять повторил ему свои соображения. Я доказывал, что не стоит тратить несколько тысяч рублей

на то, без чего мы можем легко обойтись. Он помолчал.

— А все-таки вы должны были купить.

Оказалось, что Боришанский, живший в *** с целью изучить ремесло шофера, не научился ничему. Таким образом, идея автомобиля сама собой отпадала.

Азеф вечером, незаметно от дворника и швейцара, прошел к нам в квартиру и оставался у нас, не появляясь на улице, дней десять.

Во время его пребывания у нас случился следующий эпизод.

Уже несколько дней мы замечали, что на улице Жуковского, около нашего дома, ходят филеры. Мы решили, что их привел за собой Азеф. Если бы это было так, то квартира наша была накануне ареста. Между тем в поведении дворника и швейцара не было заметно ничего подозрительного.

Мы терялись в догадках, тем более что наблюдение на улице было открытое: из наших окон мы не раз видели несколько наблюдающих за воротами нашего дома филеров. Наконец это наблюдение разъяснилось само собой.

Однажды вечером Сазонов стоял в воротах вместе с дворником и швейцаром и, по обыкновению, слушал их сплетни о жильцах. В разговоре дворник обратился к нему.

— А твой барин чем занимается?

— Да кто его знает. Все у него на столе книжки с машинами. Инженер, что ли?

— Каталоги, значит. Ну, значит, от фирмы какой.

В это время к воротам подъехал извозчик. С извозчика сошел адвокат В. В. Беренштам. Он прошел во двор, и вслед за ним в ворота юркнул филер. К нему подбежали швейцар и дворник. Сазонов тоже хотел подойти, но швейцар замахал на него руками.

Не было сомнения, Беренштам привел за собой филеров. Но это еще не значило, что предшествовавшее наблюдение было не за нашей квартирой. Вскоре, однако, выяснилась его причина: на одной лестнице с нами, дверь в дверь по черному ходу, жил адвокат Трандафилов. К нему и ходил Беренштам. Прислуга Трандафилова рассказала Сазонову, что у барина «книжки» и ходят к нему «студенты». Очевидно, следили не за нами, а за Трандафиловым. Об этом мы дали знать петербургскому комитету, но был ли предупрежден Трандафилов — мне неизвестно.

Между тем наше наблюдение шло своим путем. Мацеевский, Дулебов и Каляев постоянно встречали на улице Плеве. Они до тонкости изучили внешний вид его выездов и могли отличить его карету за сто шагов. Особенно много сведений было у Каляева. Он жил в углу, на краю города, в комнате, где кроме него ютилось еще пять человек, и вел образ жизни, до тонкости совпадающий с образом жизни таких же, как и он, торговцев вразнос. Он не позволял себе ни малейших

отклонений: вставал в шесть часов и был на улице с восьми утра до поздней ночи. У хозяев он скоро приобрел репутацию набожного, трезвого и деловитого человека. Им, конечно, и в голову не приходило заподозрить в нем революционера. Плеве жил тогда на даче, на Аптекарском острове, и по четвергам выезжал с утренним поездом к царю, в Царское Село. Главное внимание при наблюдении и было сосредоточено на этой его поездке и еще на поездке в Мариинский дворец, на заседания комитета министров, куда Плеве ездил по вторникам. Все члены организации, т. е. Мацеевский, Каляев, Дулебов, вновь приехавший Боришанский и очень часто кто-либо из нас — Дора, Ивановская, Сазонов или я, — наблюдали в эти дни. Но Каляев не ограничивался только этим совместным и планомерным наблюдением: у него была своя теория выездов Плеве, и ежедневно, выходя торговать на улицу, он ставил себе задачу встретить карету министра. По мельчайшим признакам на улице: по количеству охраны, по внешнему виду наружной полиции — приставов и околоточных надзирателей, — по тому напряженному ожиданию, которое чувствовалось при приближении министерской кареты, Каляев безошибочно заключал, проехал ли Плеве по этой улице или еще проедет. С лотком за плечами, на котором часто менялся товар — папиросы, яблоки, почтовая бумага, карандаши, — Каляев бродил по всем улицам, где, по его мнению, мог ездить Плеве. Редкий день проходил без того, чтобы он не встретил его карету. Описывая ее,

он давал не только самое точное описание масти и примет лошадей, наружности кучера и чинов охраны, но и деталей самой кареты. В его устах детали эти принимали характер выпуклых признаков. Он знал не только высоту и ширину кареты, ее цвет и цвет ее колес, но и подробно описывал подножку, ручку дверец, вожжи, фонари, козлы, оси, оконные стекла. Когда царь переехал в Петергоф и Плеве стал ездить вместо Царскосельского вокзала на Балтийский, Каляев первый установил его маршрут и отклонения от этого маршрута. Кроме того, он знал в лицо министерских филеров и безошибочно отличал их в уличной толпе.

Дулэбов и Мацеевский, как извозчики, не могли давать таких подробных сведений. Они не могли всегда отказывать седокам, и им часто приходилось отъезжать с поста наблюдения или по требованию полиции, или по желанию седоков. Но они оба дополнили, проверили и развили наблюдения Каляева, так что те сведения, которые могли случайно прибавить остальные члены организации, т. е. Сазонов, Ивановская, Бриллиант, Боришанский и я, имели только второстепенное значение. В общем, систематическое наблюдение привело нас к уверенности, что легче всего убить Плеве в четверг, по дороге с Аптекарского острова на Царскосельский вокзал.

Был июнь во второй половине. Азеф, убедившись, что работа у нас идет хорошо, уехал из Петербурга. Царь переехал в Петергоф, и Плеве стал ездить по

четвергам уже не на Царскосельский вокзал, а на Балтийский. Наблюдение назрело окончательно, и было ясно, что мы должны скоро приступить к покушению. Сазонову нужно было съездить на родину, и мы «разочли» его. Для расчета был придуман следующий способ.

Я случайно разбил у себя зеркало. Сазонов пошел в швейцарскую и стал громко жаловаться на свою судьбу.

— Вот, только устроился... шабаш... прогоняют... места лишился.

— За что?

— Зеркало разбил.

Швейцар удивился.

— Неужто за зеркало? Ну?

Сазонов закрыл руками лицо:

— Да что... Разбил я это зеркало, комнату прибирал... Барыня услышала, как крикнет: ты, говорит, сукин сын, зеркало разбил, дрянь...

— Ну а ты что же?

— Я-то? Я ей говорю: от такой же, говорю, слышу.

Швейцар всплеснул руками:

— Ах ты!.. Барыне так и сказал? От такой же, сказал, слышу?.. Ловко... Как же ты осмелел?.. Ну а дальше что было?

— А дальше барыня ну визжать... Прибежал барин, ни слова не говоря, хватить и в дверь выкинул...

— Ни слова не говоря, говоришь?

— Ни слова не говоря...

Швейцар задумался.

— Ну, плохо твое дело... Однако все-таки иди — прощения проси. Авось простят.

— Не простят: барыня злющая.

— А ты все-таки иди, попробуй.

Мы, конечно, не простили Сазонова, и он в тот же день выехал со двора. Вслед за ним уехал и я в Москву. На квартире остались Дора Бриллиант и Ивановская. В Москву же должны были приехать Каляев и Швейцар. Там предполагалось обсудить в подробностях план покушения.

К этому времени все члены организации не только близко перезнакомились между собою, но многие и интимно сошлись. Была крепкая спайка прошлого — неудача 18 марта и смерть Покотилова. Эта спайка связала и новых членов организации, и уже давно стерлась грань между старшими и младшими, рабочими и интеллигентами. Было одно братство, жившее одной и той же мыслью, одним и тем же желанием. Сазонов был прав, определяя впоследствии, в одном из писем ко мне с каторги, нашу организацию такими словами: «Наша Запорожская Сечь, наше рыцарство было проникнуто

таким духом, что слово „брат“ еще недостаточно ярко выражает сущность наших отношений».

Эта братская связь чувствовалась нами всеми и вселяла уверенность в неизбежной победе.

VIII

Швейцер опоздал в Москву, и московские совещания прошли без него. Происходили они обыкновенно в Сокольничьем парке, и на них присутствовали: с решающим голосом — Азеф; и кроме того, Каляев, Сазонов и я. Обсуждался подробный план покушения.

Наученные опытом 18 марта, мы склонны были преувеличивать трудности убийства Плеве. Мы решили принять все меры, чтобы он, попав однажды в наше кольцо, не мог из него выйти. Всех метальщиков было четверо. Первый, встретив министра, должен был пропустить его мимо себя, заградив ему дорогу обратно на дачу. Второй должен был сыграть наиболее видную роль: ему принадлежала честь первого нападения. Третий должен был бросить свою бомбу только в случае неудачи второго — если бы Плеве был ранен или бомба второго не разорвалась. Четвертый, резервный, метальщик должен был действовать в крайнем случае: если бы Плеве, прорвавшись через бомбы второго и третьего, все-таки проехал бы вперед, по направлению к вокзалу. Способ самого действия бомбой был тоже предметом подробного обсуждения. Был, конечно,

неустрашимый риск, что метальщик промахнется, перебросит или не добросит снаряд. Во время этого обсуждения Каляев, до тех пор молчавший и слушавший Азефа, вдруг сказал:

— Есть способ не промахнуться.

— Какой?

— Броситься под ноги лошадям.

Азеф внимательно посмотрел на него.

— Как — броситься под ноги лошадям?

— Едет карета. Я с бомбой кидаюсь под лошадей. Или взорвется бомба, и тогда остановка, или, если бомба не разорвется, лошади испугаются, — значит, опять остановка. Тогда уже дело второго метальщика.

Все помолчали. Наконец Азеф сказал:

— Но ведь вас наверно взорвет.

— Конечно.

План Каляева был смел и самоотвержен. Он действительно гарантировал удачу. Но Азеф, подумав, сказал:

— План хорош, но я думаю, что он не нужен. Если можно добежать до лошадей, значит, можно добежать и до кареты, — значит, можно бросить бомбу и под карету или в окно. Тогда, пожалуй, справится и один.

На таком решении Азеф и остановился. Было решено также, что Каляев и Сазонов примут участие в покушении в качестве метальщиков.

— После одного из этих совещаний я пошел гулять с Сазоновым по Москве. Мы долго бродили по городу и наконец присели на скамейке у храма Христа Спасителя, в сквере. Был солнечный день, блестели на солнце церкви. Мы долго молчали. Наконец я сказал:

— Вот, вы пойдете и наверно не вернетесь...

Сазонов не отвечал, и лицо его было такое же, как всегда: молодое, смелое и открытое.

— Скажите, — продолжал я, — как вы думаете, что будем мы чувствовать после... после убийства?

Он не задумываясь ответил:

— Гордость и радость.

— Только?

— Конечно, только.

И тот же Сазонов впоследствии мне писал с каторги: *«Сознание греха никогда не покидало меня»*. К гордости и радости примешалось еще другое, нам тогда неизвестное, чувство.

Из Москвы Азеф и Сазонов уехали на Волгу, а я и Каляев вернулись в Петербург. На Николаевском вокзале, перед самым отходом поезда, на перроне, я заметил широкоую, мускулистую фигуру Швейцера. Я окликнул его. Через минуту он вошел ко мне в вагон, положил в сетку свой багаж, и мы вышли с ним в коридор.

— Как дела?

Я рассказал, что наблюдение закончено, и передал решение московского совещания. Он сдержанно улыбнулся:

— Ну и у меня все готово.

— Вы привезли динамит?

— Больше пуда.

— Где же он?

Он кивнул на вагон.

— В сетке?

— Да, в сетке. Если взорвет — не услышим: нас с вами первых взорвет.

Он был, как всегда, очень сдержан и говорил мало. Но было видно, что он рад и тому, что так скоро и хорошо исполнил свою трудную задачу, и тому, что наблюдение закончено, и тому, что мы наконец приступаем к покушению.

По приезде в Петербург, я не вернулся на нашу квартиру, а поселился в Сестрорецке по паспорту Константина Чернецкого. На 8 июля было назначено покушение. Необходимо было еще раз проверить поездку Плеве к царю и условиться между собою о многочисленных мелочах.

В Сестрорецк ко мне приехала Дора Бриллиант. Мы ушли с нею в глубь парка, далеко от публики и оркестра. Она казалась смущенной и долго молчала,

глядя прямо перед собою своими черными опечаленными глазами.

— Веньямин!

— Что?

— Я хотела вот что сказать...

Она остановилась, как бы не решаясь окончить фразу.

— Я хотела... Я хотела еще раз просить, чтоб мне дали бомбу.

— Вам? Бомбу?

— Я тоже хочу участвовать в покушении.

— Послушайте, Дора...

— Нет, не говорите... Я так хочу... Я должна умереть.

Я старался ее успокоить, старался доказать ей, что в ее участии нет нужды, что мужчина справится с задачей метания бомбы лучше, чем она; наконец, что если бы ее участие было необходимо, то — я уверен — товарищи обратились бы к ней. Но она настойчиво просила передать ее просьбу Азефу, и я должен был согласиться.

Вскоре приехали Сазонов и Азеф, и мы опять собрались вечером на совещание.

На этот раз Каляева не было, зато присутствовал Швейцер. Я передал товарищам просьбу Бриллиант.

Наступило молчание. Наконец Азеф медленно и, как всегда, по внешности равнодушно, сказал:

— Егор, как ваше мнение?

Сазонов покраснел, смешался, развел руками, подумал и сказал нерешительно:

— Дора такой человек, что если пойдет, то сделает хорошо... Что же я могу иметь против? Но... Тут голос его осекся.

— Договаривайте, — сказал Азеф.

— Нет, ничего... Что я могу иметь против?

Тогда заговорил Швейцер. Спокойно, отчетливо и уверенно он сказал, что Дора, по его мнению, вполне подходящий человек для покушения и что он не только ничего не имеет против ее участия, но, не колеблясь, дал бы ей бомбу.

Азеф посмотрел на меня.

— А вы, Веньямин?

Я сказал, что я решительно против непосредственного участия Доры в покушении, хотя также вполне в ней уверен.

Я мотивировал свой отказ тем, что, по моему мнению, *женщину можно выпускать на террористический акт только тогда, когда организация без этого обойтись не может.* Так как мужчин довольно, то я настойчиво просил бы ей отказать.

Азеф, задумавшись, молчал. Наконец он поднял голову.

— Я не согласен с вами... По-моему, нет оснований отказать Доре... Но если вы так хотите... Пусть будет так.

Тогда же было решено, что первым метальщиком будет Боришанский, вторым — Сазонов, третьим — Каляев и четвертым — Сикорский, молодой рабочий-кожевник из Белостока, еще не член нашей организации, но хорошо известный Боришанскому. Он давно как особенной чести просил позволить ему участвовать в покушении на Плеве.

Азеф снова уехал, назначив после покушения свидание в Вильно. Квартира на улице Жуковского была окончательно ликвидирована: Ивановская уехала к Азефу, Бриллиант, несмотря на свои протесты, — в Харьков. В Петербурге остались только оба извозчика — Мацевевский и Дулебов, Швейцер, я и метальщики — Сазонов и Каляев. Последние тоже должны были уехать и вернуться в Петербург только 8 июля. За несколько дней до их отъезда я назначил свидание Каляеву на Смоленском кладбище. Он пришел туда еще в своем платье папиросника: в рубашке, картузе и высоких сапогах. Мы оба были уверены, что говорим в последний раз: Каляев не сомневался, что и ему, как Сазонову, придется бросить снаряд.

Мы сидели на чьей-то заросшей мохом могиле. Он говорил своим звучным голосом с польским акцентом:

— Ну слава богу: вот и конец... Меня огорчает одно — почему не мне, а Егору первое место...

Неужели Валентин думает, что я не справился бы один?

Я сказал ему, что второе место не менее, если не более, ответственно, чем первое, и что требуется большая отвага и хладнокровие, чтобы оценить после взрыва момент и решить, нужно ли бросать свою бомбу или нет. Он неохотно слушал меня.

— Да, конечно... А все-таки... Как ты думаешь, будет удача? — вдруг повернулся он всем телом ко мне.

— Конечно, будет.

— Я тоже уверен, что будет.

Он помолчал.

— А нелегко папиросником... Вот N. N.^[2] не выдержал, и не удивительно... Только, знаешь, нужно к нам принимать людей таких, которые могут все... Вот как Егор...

Он с любовью заговорил о Сазонове:

— Ты знаешь, я таких людей, как он, еще не видал... Такой любви в сердце, такой отваги, такой силы душевной... А Покотилов, а Алексей...

Он опять помолчал.

— Вот не дожил Алексей... Послушай, какое счастье, если будет удача... Довольно им царствовать... Довольно... Если бы ты знал, как я ненавижу их... Но что Плеве! Нужно убить царя...

Дня за три до 8 июля в Петербург приехал Лейба Вульфович Сикорский, или, как мы называли его, Леон.

Сикорскому было всего 20 лет, он плохо говорил по-русски и, видимо, с трудом ориентировался в Петербурге. Боришанский, как нянька, ходил за ним, покупал ему морской плащ, под которым удобно было скрыть бомбу, давал советы и указания. Но Сикорский все-таки робел и, увидев впервые меня, покраснел, как кумач.

— Это очень большая честь для меня, — сказал он, — что я в Боевой организации и что Плеве... Я очень давно хотел этого.

Он замолчал. Молчал и Боришанский, с улыбкой глядя на него и как бы гордясь своим учеником. Сикорскому нужны были деньги на покупку плаща и платья. Я дал ему сто рублей.

— Вот, купите костюм.

Он покраснел еще гуще.

— Сто рублей! Я никогда не имел в руках столько денег...

Мне он показался твердым и мужественным юношей. Я опасался одного: его незнакомство с городом и дурной русский язык могли поставить его в затруднительное положение.

Было решено, что в случае неудачи все метальщики, оставшиеся в живых, отдадут свои бомбы Швейцеру, который их разрядит и сохранит; в случае же удачи каждый должен был утопить свою бомбу. Решение это было принято потому, что как раздача, так и обратное

собираение бомб Швейцером было сопряжено с риском, и с еще большим риском было сопряжено разряжение снарядов. Каждый метальщик получил точную инструкцию, где топить свою бомбу. Каляев должен был ее бросить в пруды по Петергофскому шоссе, Боришанский — тоже в пруды, если не ошибаюсь, в деревне Волынкиной, Сикорский — в Неву, взяв лодку без лодочника в Петровском парке и выехав с нею на взморье. Я просил Боришанского специально показать ему Петровский парк, и он показал.

IX

Утром 8 июля приехали Каляев и Сазонов. Сазонов был одет в фуражку и тужурку железнодорожного служащего. В этот час утра по Измайловскому проспекту с Варшавского и Балтийского вокзалов возвращалось всегда много кондукторов и железнодорожных чиновников. Таким образом, железнодорожная форма устраняла риск случайного ареста: филеры, очевидно, не могли обратить внимания на слившегося с толпой Сазонова. Каляев был в шапке швейцара с золотым галуном. Боришанский и Сикорский прятали бомбы в плащах.

Всю ночь Швейцер, живший в «Гранд-отеле» по паспорту великобританского подданного, готовил бомбы. Рано утром к его гостинице подъехал Дулебов, и Швейцер, выйдя с небольшим чемоданом в руках, сел в его пролетку. Они поехали на Ново-Петерофский

проспект — место свидания с Сазоновым. Я тоже ждал там Сазонова. Но опоздал ли Сазонов или забыл в точности явку, — его не было на условленном месте. Каляев ждал на Рижском проспекте, и еще дальше, на Курляндской улице, вдвоем, ожидали Сикорский и Боришанский. Так как поезд отходил ровно в десять часов утра и Плеве никогда не опаздывал к царю, то передача снарядов была рассчитана по минутам, и опоздание одного из метальщиков затрудняло весь ход передачи и даже могло совсем уничтожить возможность покушения. Я с нетерпением ходил взад и вперед по Ново-Петергофскому проспекту, но Сазонова не было. Я взглянул на часы — нельзя было терять ни минуты. В это время, аккуратно в условленный час, появился Швейцер на пролетке Дулебова. Я сказал ему, что нет времени ждать Сазонова, и предложил сначала найти Каляева и передать ему его бомбу, и тогда уже вернуться на Ново-Петергофский проспект. Я надеялся, что Сазонов успеет еще получить свой снаряд.

Швейцер сделал именно так, как я сказал, и от Каляева вернулся ко мне, но Сазонова все еще не было. Тогда Швейцер поехал к Боришанскому и Сикорскому, но, как оказалось, они, не дождавшись его, ушли. Таким образом, бомбу получил один только Каляев.

Когда я наконец встретил Сазонова и сообщил ему, что Швейцер уже уехал и что покушение, значит, не удалось, я испугался: до такой степени изменилось его лицо. Он побледнел и молча, опустив голову, пошел от

меня. Я догнал его при выходе на Измайловский проспект, и в ту же минуту мимо нас крупной рысью пронеслась карета Плеве. Мелькнули хорошо знакомые вороные кони, лакей на козлах и сыщик-велосипедист у заднего колеса. Сазонов все еще не говорил ни слова. Так шли мы с ним молча и по дороге наткнулись на Каляева. В фуражке швейцара, тоже бледный, со встревоженным лицом, он нес свою бомбу. Он один был вовремя на своем месте с бомбой в руках и один встретил Плеве. Но он не посмел бросить бомбу в карету: он бы пошел против решения организации. Кроме того, его неудачное покушение задержало бы надолго убийство Плеве. Вся организация одобрила этот его поступок.

Я назначил Сазонову вечером свидание в Зоологическом саду и пошел отыскивать Боришанского и Сикорского. Эта новая неудача не поразила нас так, как неудавшееся покушение 18 марта. Я видел, что мы выбрали время и место верно: Плеве проехал в назначенный час по Измайловскому проспекту; видел также, что его не трудно, встретив, убить, ибо будь у меня и у Сазонова в руках бомбы, мы легко могли бы подбежать к карете; видел еще, что неудача произошла просто из-за путаницы, почти неизбежной при мобилизации в очень короткий срок такого числа метальщиков. Мне ясно было, что через неделю мы не повторим нашей ошибки, а значит, Плеве будет убит.

Я разыскал Сикорского и Боришанского. Каляев отдал свою бомбу Швейцеру, и Швейцер разрядил ее, как и три не переданные им бомбы. Вечером мы все, кроме извозчиков и Швейцера, собрались в Зоологическом саду.

Сазонов был подавлен. Он считал себя главным виновником неудачи и молчал. Молчали и остальные. Всем было больно касаться того, что было утром, и никто не смел говорить об этом вслух. Наконец Боришанский прервал молчание.

— У нас нет ни одного человека с бородой. Неудивительно, что всё неудачи.

— Что вы хотите этим сказать?

Боришанский невозмутимо ответил:

— Я говорю: все молодые люди. Не умеем делать дела.

Сазонов вспыхнул, но промолчал. По его лицу было видно, что он жестоко страдает и от своей якобы вины, и от горьких слов Боришанского. Сикорский краснел и тоже молчал. Но Каляев не выдержал:

— А кто виноват?

— Кто? Разве я знаю кто?

— Вы. Вы и виноваты. Если бы вы с Леоном не ушли, дождались бы Павла, то не я один получил бы снаряд, а было бы нас трое, и тогда бы мы и без Якова (Сазонова) могли убить Плеве.

Боришанский пожал плечами:

— Я не мог дольше ждать. Я ждал, сколько мне было сказано. Зачем опоздал Павел?

Каляев начал горячиться. Невозмутимость Боришанского, видимо, раздражала его. Всем было тяжело, и этой тяжести не было выхода.

Мы тут же условились, что Сазонов, Каляев, Боришанский и Сикорский поедут в Вильно к Азефу и расскажут ему о происшедшем, а также и о том, что мы повторим покушение в будущий четверг, 15 июля; я же и Швейцер останемся в Петербурге.

Мы сговорились о всех подробностях на 15 июля, и товарищи уехали в Вильно. Азеф ободрил Сазонова, но и до последней минуты Сазонов все продолжал считать себя виновником этой неудачи, хотя если и ложится на него вина, то, конечно, не в большей мере, чем на любого из нас. Как оказалось впоследствии, он был в условном месте точно в назначенное время и если не встретил меня, то только потому, что мы, ожидая между 10-й и 12-й Ротами, выходящими на Ново-Петергофский проспект, оба не доходили до конечных их углов и, таким образом, и не могли встретиться. Кроме того, Каляев был прав. Если он не посмел один, без разрешения организации, выступить против Плеве, то втроем — он, Боришанский и Сикорский — могли это сделать. Значит, часть вины падает еще и на двух последних, не дождавшихся Швейцера.

Неделю между 8 и 15 июля я прожил в Сестрорецке, изредка встречаясь с Мацеевским и Дулебовым. Оба они были тоже подавлены неудачей, но оба твердо верили в успех 15 июля. Дулебов, приятель и товарищ Сазонова еще по Уфе, несмотря на свои молодые годы, — ему было всего 20 лет, — производил впечатление чрезвычайно крепкого душою человека. Своей молчаливостью он напоминал Боришанского, своим уверенным и спокойным голосом — Швейцера, а своим открытым и смелым взглядом — Сазонова. Но в его улыбке было что-то свое, привлекательное и нежное. За его внешнею угрюмостью чувствовалось большое и любящее сердце.

Вечером 14 июля мы встретились со Швейцером в театре «Буфф». В эту ночь ему предстояла работа — снова зарядить все четыре бомбы: три по шесть фунтов и одну в двенадцать.

Такую большую бомбу решено было сделать потому, что изготовленный Швейцером из русского материала динамит значительно уступал в силе заграничному. Швейцер был, как всегда, очень спокоен, но против обыкновения спросил бутылку вина.

— Я боюсь за Сикорского, — сказал он, взглядывая на сцену.

— Чего вы боитесь?

— Я боюсь, что он не сумеет утопить свою бомбу.

— Как же быть?

Швейцер пожал плечами:

— По-моему, никак.

— А если его арестуют?

— Что же делать?.. Не можем же мы из-за него одного рисковать многими! Мне нетрудно разрядить бомбы, но, значит, опять для передачи их вводить извозчиков, да и вообще, если будет успех, по-моему, оставшиеся метальщики должны сейчас же уехать из Петербурга, а не ждать передачи.

Швейцер говорил спокойно и твердо, и то, что он говорил, было справедливо: невозможно было из-за Сикорского ставить опять всю организацию под риск.

Прощаясь, он спросил:

— А Сикорский знает, где топить?

Я сказал, что не только знает, но я даже просил Боришанского показать ему место.

Тогда Швейцер уверенно сказал:

— Ну, значит, утопит.

У ворот сада он вдруг обернулся ко мне:

— А вы верите в удачу?

— Конечно.

— А я знаю: завтра Плеве будет убит.

— Знаете?

— Знаю.

И он смеясь протянул мне руку.

— Прощайте. Завтра в девять утра.

Х

15 июля, между 8 и 9 часами утра, я встретил на Николаевском вокзале Сазонова и на Варшавском — Каляева. Они были одеты так же, как и неделю назад: Сазонов — железнодорожным служащим, Каляев — швейцаром. Со следующим поездом с того же Варшавского вокзала приехали из Двинска, где они жили последние дни, Боришанский и Сикорский. Пока я встречал товарищей, Дулебов у себя на дворе запряг лошадь и приехал к «Северной» гостинице, где жил тогда Швейцер. Швейцер сел в его пролетку и к началу десятого часа роздал бомбы в установленном месте — на Офицерской и Торговой улицах за Мариинским театром. Самая большая, двенадцатифунтовая, бомба предназначалась Сазонову. Она была цилиндрической формы, завернута в газетную бумагу и перевязана шнурком. Бомба Каляева была обернута в платок. Каляев и Сазонов не скрывали своих снарядов. Они несли их открыто в руках. Боришанский и Сикорский спрятали свои бомбы под плащи.

Передача на этот раз прошла в образцовом порядке. Швейцер уехал домой, Дулебов стал у Технологического института по Загородному проспекту. Здесь он должен был ожидать меня, чтобы узнать о результатах покушения. Мацеевский стоял со своей пролеткой на Обводном канале. Остальные, т. е.

Сазонов, Каляев, Боришанский, Сикорский и я, собрались у церкви Покрова на Садовой. Отсюда метальщики один за другим, в условном порядке, — первым Боришанский, вторым Сазонов, третьим Каляев и четвертым Сикорский — должны были пройти по Английскому проспекту и Дровяной улице к Обводному каналу и, повернув по Обводному каналу мимо Балтийского и Варшавского вокзалов, выйти навстречу Плеве на Измайловский проспект. Время было рассчитано так, что при средней ходьбе они должны были встретить Плеве по Измайловскому проспекту от Обводного канала до 1-й Роты. Шли они на расстоянии сорока шагов один от другого. Этим устранялась опасность детонации от взрыва. Боришанский должен был пропустить Плеве мимо себя и затем загородить ему дорогу обратно на дачу. Сазонов должен был бросить первую бомбу.

Был ясный солнечный день. Когда я подходил к скверу Покровской церкви, то увидел такую картину. Сазонов, сидя на лавочке, подробно и оживленно рассказывал Сикорскому о том, как и где утопить бомбу. Сазонов был спокоен и, казалось, совсем забыл о себе. Сикорский слушал его внимательно. В отдалении, на лавочке, с невозмутимым по обыкновению лицом, сидел Боришанский, еще дальше, у ворот церкви, стоял Каляев и, сняв фуражку, крестился на образ.

Я подошел к нему:

— Янек!

Он обернулся, крестясь:

— Пора?

Я посмотрел на часы. Было двадцать минут десятого.

— Конечно, пора. Иди.

С дальней скамьи лениво встал Боришанский. Он не спеша пошел к Петергофскому проспекту. За ним поднялись Сазонов и Сикорский. Сазонов улыбнулся, пожал руку Сикорскому и быстрым шагом, высоко подняв голову, пошел за Боришанским. Каляев все еще не двигался с места.

— Янек!

— Ну что?

— Иди.

Он поцеловал меня и торопливо, своей легкой и красивой походкой, стал догонять Сазонова. За ними медленно пошел Сикорский. Я проводил их глазами. На солнце блестели форменные пуговицы Сазонова. Он нес свою бомбу в правой руке между плечом и локтем. Было видно, что ему тяжело нести.

Я повернул назад по Садовой и вышел по Вознесенскому на Измайловский проспект с таким расчетом, чтобы встретить метальщиков на том же промежутке между 1-й Ротой и Обводным каналом. Уже по внешнему виду улицы я догадался, что Плеве сейчас проедет. Пристава и городовые имели подтянутый и

напряженно выжидающий вид. Кое-где на углах стояли филеры.

Когда я подошел к 7-й Роте Измайловского полка, я увидел, как городской на углу вытянулся во фронт. В тот же момент на мосту через Обводный канал я заметил Сазонова. Он шел, как и раньше, высоко подняв голову и держа у плеча снаряд. И сейчас же сзади меня раздалась крупная рысь, и мимо промчалась карета с воронными конями. Лакея на козлах не было, но у левого заднего колеса ехал сыщик, как оказалось впоследствии, агент охранного отделения Фридрих Гартман. Сзади ехало еще двое сыщиков в собственной, запряженной вороным рысаком, пролетке. Я узнал выезд Плеве.

Прошло несколько секунд. Сазонов исчез в толпе, но я знал, что он идет теперь по Измайловскому проспекту параллельно «Варшавской» гостинице. Эти несколько секунд показались мне бесконечно долгими. Вдруг в однообразный шум улицы ворвался тяжелый и грузный, странный звук. Будто кто-то ударил чугуном молотом по чугунной плите. В ту же секунду задребезжали жалобно разбитые в окнах стекла. Я увидел, как от земли узкой воронкой взвился столб серо-желтого, почти черного по краям дыма. Столб этот, все расширяясь, затопил на высоте пятого этажа всю улицу. Он рассеялся так же быстро, как и поднялся. Мне показалось, что я видел в дыму какие-то черные обломки.

В первую секунду у меня захватило дыхание. Но я ждал взрыва и поэтому скорей других пришел в себя. Я побежал наискось по улице к «Варшавской» гостинице. Уже на бегу я слышал чей-то испуганный голос: «Не бегите: будет взрыв еще...»

Когда я подбежал к месту взрыва, дым уже рассеялся. Пахло гарью. Прямо передо мной, шагах в четырех от тротуара, на запыленной мостовой я увидел Сазонова. Он полулежал на земле, опираясь левой рукой о камни и склонив голову на правый бок. Фуражка слетела у него с головы, и его темно-каштановые кудри упали на лоб. Лицо было бледно, кое-где по лбу и щекам текли струйки крови. Глаза были мутны и полузакрыты. Ниже у живота начиналось темное кровавое пятно, которое, расплываясь, образовало большую багряную лужу у его ног.

Я наклонился над ним и долго всматривался в его лицо. Вдруг в голове мелькнула мысль, что он убит, и тотчас же сзади себя я услышал чей-то голос:

— А министр? Министр, говорят, проехал.

Тогда я решил, что Плеве жив, а Сазонов убит. Я все еще стоял над Сазоновым. Ко мне подошел бледный, с трясущейся челюстью, полицейский офицер (как я узнал потом, лично мне знакомый пристав Перепелицын). Слабо махая руками в белых перчатках, он растерянно и быстро заговорил:

— Уходите... Господин, уходите...

Я повернулся и пошел прямо по мостовой по направлению к Варшавскому вокзалу. Уходя, я не заметил, что в нескольких шагах от Сазонова лежал изуродованный труп Плеве и валялись обломки кареты. Навстречу мне с Обводного канала бежал народ: толпа каменщиков в пыльных кирпичной пылью фартуках. Они что-то кричали. По тротуарам тоже бежали толпы народу. Я шел наперерез этой толпе и помнил одно: Плеве жив. Сазонов убит.

Я долго бродил по городу, пока машинально не вышел к Технологическому институту. Там все еще ждал меня Дулебов. Я сел в его пролетку.

— Ну что? — обернулся он ко мне.

— Плеве жив...

— А Егор?

— Убит.

У Дулебова странно перекошились глаза и вдруг запрыгали щеки. Но он ничего не сказал. Минут через пять он снова обернулся ко мне:

— Что теперь?

— На обратном пути в четыре часа.

Он кивнул головой. Тогда я сказал:

— В три часа я передам вам снаряд. Будьте опять у Технологического института.

Простившись с ним, я пошел в Юсупов сад, где, в случае неудачного покушения, должны были собраться

оставшиеся в живых метальщики. Я надеялся, что не все они арестованы и что бомбы их целы. Я хотел устроить второе покушение на Плеве на его обратном пути из Петергофа на дачу. Нам было известно, что он обычно возвращается от царя между 3 и 4 часами. Метальщиками должны были быть Дулебов, я и те, кто остался в живых.

В Юсуповом саду я не нашел никого.

Каляев шел за Сазоновым все время, сохраняя дистанцию в сорок шагов. Когда Сазонов взошел на мост через Обводный канал, Каляев увидел, как он вдруг ускорил шаги. Каляев понял, что он заметил карету. Когда Плеве поровнялся с Сазоновым, Каляев был уже на мосту и с вершины видел взрыв, видел, как разорвалась карета. Он остановился в нерешительности. Было неизвестно, убит Плеве или нет, нужно бросать вторую бомбу или она уже лишняя. Когда он так стоял на мосту, мимо него промчались, волоча обломки колес, окровавленные лошади. Побежали толпы народа. Видя, что от кареты остались одни колеса, он понял, что Плеве убит. Он повернул к Варшавскому вокзалу и медленно пошел по направлению к Сикорскому. По дороге его остановил какой-то дворник.

— Что там такое?

— Не знаю.

Дворник посмотрел подозрительно.

— Чай, оттуда идешь?

— Ну да, оттуда.

— Так как же не знаешь?

— Откуда знать? Говорят, пушку везли, разорвало...

Каляев утопил в прудах свою бомбу и, по условию, с 12-часовым поездом выехал из Петербурга в Киев.

Боришанский слышал взрыв позади себя, осколки стекла посыпались ему на голову. Боришанский, убедившись, что Плеве обратно не едет, так же, как и Каляев, утопил свой снаряд и уехал из Петербурга.

Сикорский, как мы и могли ожидать, не справился со своей задачей. Вместо того чтобы пойти в Петровский парк и там, взяв лодку без лодочника, выехать на взморье, он взял у Горного института ялик для переправы через Неву и на глазах яличника, недалеко от строившегося броненосца «Слава», бросил свою бомбу в воду. Яличник, заметив это, спросил, что он бросает. Сикорский, не отвечая, предложил ему 10 рублей. Тогда яличник отвел его в полицию.

Бомбу Сикорского долго не могли найти, и его участие в убийстве Плеве осталось недоказанным, пока наконец уже осенью рабочие рыбопромышленника Колотилина не вытащили случайно неводом эту бомбу и не представили ее в контору Балтийского завода.

Не застав никого в Юсуповом саду, я пошел в бани на Казачьем переулке, спросил себе номер и лег на диван. Так пролежал я до двух часов, когда, по моим расчетам,

наступило время отыскивать Швейцера, приготовиться ко второму покушению на Плеве. Выходя на Невский, я машинально купил у газетчика последнюю телеграмму, думая, что она с театра военных действий. На видном месте был отпечатан в траурной рамке портрет Плеве и его некролог.

В начале одиннадцатого часа раненый Сазонов был перенесен в Александровскую больницу для чернорабочих, где в присутствии министра юстиции Муравьева ему была сделана операция. На допросе он, согласно правилам Боевой организации, отказался назвать свое имя и дать какие бы то ни было показания.

Из тюрьмы он прислал нам следующее письмо:

«Когда меня арестовали, то лицо представляло сплошной кровоподтек, глаза вышли из орбит, был ранен в правый бок почти смертельно, на левой ноге оторваны два пальца и раздроблена ступня. Агенты, под видом докторов, будили меня, приводили в возбужденное состояние, рассказывали ужасы о взрыве. Всячески клеветали на „еврейчика“ Сикорского... Это было для меня пыткой!

Враг бесконечно подл, и опасно отдаваться ему в руки раненым. Прошу это передать на волю. Прощайте, дорогие товарищи. Привет восходящему солнцу — свободе!

Дорогие братья-товарищи! Моя драма закончилась. Не знаю, до конца ли верно выдержал я свою роль, за доверие которой мне я приношу вам мою величайшую благодарность. Вы дали

мне возможность испытать нравственное удовлетворение, с которым ничто в мире несравнимо. Это удовлетворение заглушало во мне страдания, которые пришлось перенести мне после взрыва. Едва я пришел в себя после операции, я облегченно вздохнул. Наконец-то кончено. Я готов был петь и кричать от восторга. Когда взрыв произошел, я потерял сознание. Придя в себя и не зная, насколько серьезно я ранен, я хотел самоубийством избавиться от плена, но моя рука была не в силах достать револьвер. Я попал в плен. В течение нескольких дней у меня был бред, три недели с моих глаз не снимали повязки, два месяца я не мог двинуться на постели, и меня, как ребенка, кормили из чужих рук. Моим беспомощным состоянием, конечно, воспользовалась полиция. Агенты подслушали мой бред: они под видом докторов и фельдшеров внезапно будили меня, лишь только я засыпал. Начинали рассказывать мне ужасы о событии на Из. пр.^[3], приводили меня в возбужденное состояние... Всячески старались уверить меня, что Сикорский выдает. Говорили, что он сказал, будто с кем-то (с какой-то бабушкой) виделся в Вильно за несколько дней до 15 июля, говорили, что взят еще еврей в английском пальто, которого будто С.^[4] назвал товарищем по Белостоку. К счастью, агентам не удалось попользоваться на счет моей болезни. Я, кажется, все помню, о чем говорил я в бреду, но это не важно, если примете меры. Одну глупость, одно преступление я допустил. Не понимаю, как я мог назвать свою фамилию уже через три недели молчания... Товарищи! Будьте ко мне снисходительны, я без того чувствую себя убитым. Если бы вы знали, какую смертельную муку я испытывал и сейчас испытываю, зная,

что я бредил. И я был не в силах помочь себе. Чем? Откусить себе язык? Но и для этого нужна была сила, а я ослабел... Уже моим желанием было — или поскорее умереть, или скорее выздороветь. Еще, братья-товарищи, меня беспокоит мысль, не согрешил ли я как-нибудь в своих разъяснениях задач партии. Вы же знаете, что во взгляде на террор я — народоволец и расхожусь с партийной программой. И вот, когда настала пора объясняться с судом, я почувствовал, что нахожусь в ложном положении. Личные взгляды в сторону, надо было говорить о программе. Не согрешил ли я против партии? Если так, то прошу у партии прощения. Пусть она публично заявит, что я ошибся и что она не ответственна за слова каждого члена, тем более больного, как я. Я еще не совсем оправился после взрыва. Очень расшибло голову... Вот и все, что тяготят мою совесть, исповедываться в чем перед вами, дорогие товарищи, мне все время хотелось. Если я, единица, в чем провинился против общего дела, мой факт остается, и пусть он сам говорит за себя: сознательно я его умалял.

Приветствую новое течение, которое пробивает себе путь к жизни во взгляде на террор. Пусть мы до конца будем народовольцами... Я совсем не ждал, что со мною не покончат. И моему приговору я не радуюсь: что за радость быть пленником русского правительства? Будем верить, что ненадолго. На мой приговор я смотрю как на приговор над судьями, осудившими на смерть Степана, Григория Андреевича и других... — Дорогие братья-товарищи! Крепко обнимаю вас всех и крепко целую. Эта писулька только для

вас, моих ближайших товарищей, поэтому прошу ее не публиковать. Моим прощальным приветом, с которым я обращаюсь к вам, да будут слова, которые я крикнул сейчас же, как увидел нашего поверженного врага и когда думал — сам умираю: „Да здравствует Б.О.^[5], долой самодержавие!“ Прощайте. Живите. Работайте. Любящий вас, братья-товарищи, ваш *Егор*».

XI

Впоследствии Сазонов писал нам следующее:

«Моим товарищам по делу

Дорогие братья-товарищи! Прошло полтора года с тех пор, как я выбыл из ваших рядов. Но, оторванный от вас физически, я ни на мгновение не переставал жить с вами заодно всеми моими помыслами. Среди грома революционной бури, промчавшейся над страной, я с особенным интересом прислушивался к голосу Б.О., и голос ее не затерялся в тысячном хоре революции. Б.О. всегда умела давать должный ответ на запросы жизни. С чувством восторга переживал я ее победы, с болью сердца — неудачи, столь естественные, впрочем, для всякого широкого и живого дела. Многие бойцы выбыли из строя, иные безвозвратно. С чувством глубокой скорби, любви и благоговения склоняюсь над могилами сложивших голову... И еще не конец. Судя по всему, обстоятельства еще потребуют выступления Б.О. на историческую арену. Имея в виду предстоящие вам задачи и

жертвы, которых будет стоить их выполнение, я чувствую потребность вспомнить старое.

Не могу выразить вам, братья-товарищи, каким счастьем было для меня вспомнить о вас, о вашем любовном, чисто братском отношении ко мне, о вашем доверии, которым вы почтили меня, поручив мне выполнение столь ответственной задачи, как дело 15 июля. Для меня было бы в тысячу раз хуже всякой смерти оскорбить вашу любовь, оказаться ниже вашего доверия, вообще как-нибудь затенить блестящее дело Б.О., всю величину которого я сам первый признаю и перед которым теряюсь. И судьба едва не сыграла со мною злую шутку. Я был ранен, но не убит. Потеряв силы владеть собою, я в бреду едва не сделался невольным предателем. Пришлось пережить самое, самое отвратительное, что только может испытать революционер: Иудины поцелуи и объятия агентов, которые, пользуясь моей беспомощностью и тем, что повязка лишила меня зрения, являлись ко мне под нейтральным флагом медицины и, как голодные волки, ходили вокруг меня. В течение четырех месяцев до суда я находился в ужаснейшем состоянии неведения относительно результатов моего бреда, в страхе за людей, за дело, в сомнении, — не предатель ли я. Только успех дела и опьянение победой дали мне силы перенести болезнь и пережить сверхчеловеческие душевные муки. К счастью, с бредом обошлось все благополучно. Но после болезни и душевных страданий я вышел на суд очень слабым, с разбитой взрывом и шпионскими кулаками и пинками головою, еле в состоянии владеть мыслями и языком. В таком состоянии я был обязан не говорить на суде, чтобы не

погрешить против истинного освещения программы партии. Я так бы, вероятно, и сделал, если бы у меня позади не было кое-чего, что заставляло меня объясниться. Именно: показание, данное мною следователю 15 июля, сейчас же после того, как я очнулся после операции. Не зная, выживу ли я, я счел для себя обязанным заявить поскорее, что я член Б.О.П.С.-Р. и что человек, погибший при взрыве в „Северной“ гостинице, был моим товарищем по делу, — был уговор, чтобы засвидетельствовать принадлежность П. (Покотилова) к Б.О... и только. Но следователь спросил о задачах Б.О., и я, не отдавая себе отчета, что нарушаю партийный принцип „не давать показаний“, дал объяснение в довольно неумелой форме, но с резко „народовольческим“ оттенком (то самое объяснение, которое значится в обвинительном акте). Почему я это сделал? Почему нарушил принцип и внес диссонанс в толкование программы? Да потому, что во время допроса я несколько раз почти терял сознание, умолял прекратить, просил для поддержания сил пить. До момента суда я мало заботился о данном показании. Но потом, когда наступило время подумать о том, что я сказал бы, если бы пришлось говорить на суде, я живо почувствовал диссонанс моих слов с программой партии. Сознание этого и заставило меня больше всего высказаться официально. За несколько дней до суда я записал, что́ сказать, все время избегал впасть в „народовольческий грех“... и, оказалось, перетянул в другую сторону. На суде, сверх всего, были такие невозможные условия для высказывания, что я свои слова купил дорогой ценой: мне сначала вовсе не хотели давать говорить до последнего слова и дали только по настоянию Карабчевского;

обрывали меня на каждом слове, сбивали, я терял нить речи, измучился, многое проглотил, иногда нечаянно вырывались слова, которые сейчас же с радостью взял бы обратно. После суда чувствовал себя совершенно разбитым и страшно каялся, что вообще поддерживаю своим участием гнусную комедию суда. Так что, когда после мне сообщили, что на воле очень довольны тем, что я говорил, для меня было больно это слышать, как иронию. После суда раз писал вам, дорогие товарищи, по тому же поводу, в объяснение тех ляпсусов, в которые я впал, сам того не желая. Высказать еще раз все это теперь я чувствовал потребность, чтобы ничего невыясненного не осталось между мной и тем из вас, кому придется выходить на подвиг. Для меня необходимое условие моего счастья это — сохранить навсегда сознание полной солидарности с вами по всем вопросам жизни и программы. Всякому, обреченному на подвиг опасный, кроме всего прочего, особенно желаю передать... ответ в полном обладании всеми силами физическими и духовными, чтобы с честью до конца пронести знамя организации. Привет вам, дорогие товарищи! Бодрости и удач! Будем верить, что скоро прекратится печальная необходимость бороться путем террора и мы завоюем возможность работать на пользу наших социалистических идеалов при условиях, более соответствующих силам человека.

Ваш Егор

Р. С. Прошу эту записку доставить по принадлежности, т. е. Б.О., а не чужим, избранным людям, что, оказывается, было

сделано с моей первой запиской».

Судившийся вместе с Сазоновым Шимель-Лейба Вульфович Сикорский, мещанин г. Кнышина по происхождению и кожевник по ремеслу, с 14-летнего возраста уже работал на фабрике, сперва в Кнышине, потом в местечке Криниках и еще позднее в г. Белостоке. В Криниках он впервые познакомился с революционными партиями, но только в Белостоке окончательно примкнул к партии социалистов-революционеров. Там же он близко познакомился с Боришанским, и Боришанский, как я упоминал выше, ввел его в июне 1904 года в Боевую организацию.

Судили Сазонова и Сикорского 30 ноября 1904 году в Петербургской судебной палате с сословными представителями. Защищал Сазонова присяжный поверенный Карабчевский, а Сикорского — присяжный поверенный Казаринов. По приговору палаты оба подсудимые были лишены всех прав состояния, причем Сазонов был сослан в каторжные работы без срока, а Сикорский — на 20 лет. Такой сравнительно мягкий приговор (все, в том числе и сам Сазонов, ожидали предания военно-окружному суду и повешения) объясняется тем, что правительство, назначая министром внутренних дел кн[язя] Святополк-Мирского, решило несколько изменить политику и не волновать общество смертными казнями.

Сазонов, как и Сикорский, после приговора был заключен в Шлиссельбургскую крепость. По манифесту 17 октября 1905 года срок каторжных работ был им обоим сокращен. В 1906 году они были переведены из Шлиссельбурга в Акатуйскую каторжную тюрьму.

1. [↑](#) Убит в 1905 г. в Житомире, защищая во время погрома евреев.
2. [↑](#) Речь шла о товарище, недолго пробывшем в нашей организации
3. [↑](#) Измайловский проспект
4. [↑](#) Сикорский
5. [↑](#) Боевая организация

Глава II. Убийство великого князя Сергея

I

Вечером 15 июля я уехал из Петербурга в Варшаву. В Варшаве меня ожидали Азеф и Ивановская. Азефа, однако, я там уже не нашел: он из газет узнал об убийстве Плеве и без меня выехал за границу. Ивановская уехала в Одессу, я — в Киев, где у меня было назначено свидание с Каляевым. От него я узнал, что ходят слухи об аресте в Петербурге тогда еще не опознанного Сикорского.

Я решил съездить вместе с Каляевым на родину Сикорского, в Белосток: я хотел убедиться лично в справедливости этих слухов. В Белостоке нам не удалось узнать ничего, и мы уехали в Сувалки, чтобы оттуда, при помощи Нехи Нейерман, переправиться в Германию.

У Нехи Нейерман меня встретили как старого знакомого. В ту же ночь мы перешли, в сопровождении солдата пограничной стражи, границу, а наутро были уже в поезде немецкой железной дороги. В ста верстах от Эйдкунена, на станции Инстербург, к нам подошел немецкий жандарм:

— Куда вы едете?

— В Берлин.

— В Берлин?

— Да, в Берлин.

— А чем вы занимаетесь?

— Мы — студенты.

— Вы едете из России?

— Ну конечно, из России.

— Ваш паспорт?

У нас не было загранпаспортов. У меня была только зеленая мещанская для проживания внутри империи книжка. Я был уверен, что нас арестуют, и, зная немецкие нравы, не сомневался, что нас выдадут русским жандармам. Я все-таки вынул мою зеленую книжку.

— Паспорт? Извольте.

Увидав книжку, жандарм даже не раскрыл ее. Он вдруг преобразился. Приложив руку к козырьку, он сказал:

— Извините. Я ошибся. Вы сами знаете — разные люди ездят.

Через три дня мы были в Женеве.

В Женеву приехали также Швейцер, Боришанский, Дора Бриллиант и Дулебов. Мацеевский остался в России.

В этот мой приезд я близко познакомился с Гоцем. Он, тяжело больной, уже не вставал с постели. Лежа в подушках и блестя своими черными юношескими глазами, он с увлечением расспрашивал меня о всех подробностях дела Плеве. Было видно, что только болезнь мешает ему работать в терроре: он должен был довольствоваться ролью заграничного представителя Боевой организации.

От него я узнал, что весною собиралось в Одессе заседание Центрального комитета. На этом заседании возбуждался вопрос о деятельности Боевой организации. Многими высказывалось убеждение, что Плеве не будет нами убит. После долгих дебатов Центральный комитет постановил учредить контроль над Боевой организацией, и постановление это было послано за границу Гоцу. Как я узнал позже, Гоц возмутился. Только благодаря его вмешательству, нам не было предложено извещать Центральный комитет о подробностях нашей работы. Такое предложение имело бы, несомненно, самые печальные последствия. Едва ли кто-либо из членов организации подчинился бы в этом случае дисциплине. Наоборот, вероятнее, что весь

состав ее пошел бы на конфликт с высшим учреждением партии. Чем бы окончился этот конфликт, сказать трудно, но, во всяком случае, он отразился бы неблагоприятно на всех партийных делах. Заслуга Гоца заключается в том, что он предупредил почти неизбежное столкновение.

Официально роль Гоца в терроре, как я выше упомянул, ограничивалась заграничным представительством Боевой организации. На самом деле она была гораздо важнее. Не говоря уже о том, что и Гершуни и Азеф советовались с ним о предприятиях, — мы, на работе в России, непрерывно чувствовали его влияние. Азеф был практическим руководителем террора, Гоц — идейным. Именно в его лице связывалось настоящее Боевой организации с ее прошлым. Гоц сумел сохранить боевые традиции прошлого и передать их нам во всей их неприкосновенности и полноте. Благодаря ему имя нам лично неизвестного Гершуни было для нас так же дорого, как впоследствии имена Каляева и Сазонова. Для членов Боевой организации, знавших Гоца за границей, он был не только товарищ, он был друг и брат, никогда не отказывавший в помощи и поддержке. Его значение для Боевой организации трудно учесть: он не выезжал в Россию и не работал рука об руку с нами. Но, мне думается, я не ошибусь, если скажу, что впоследствии его смерть была для нас потерей не менее тяжелой, чем смерть Каляева.

В Женеве по случаю убийства Плеве царило радостное оживление. Партия сразу выросла в глазах правительства и стала сознавать свою силу. В Боевую организацию поступали многочисленные денежные пожертвования, являлись люди с предложением своих услуг. С этим подъемом совпали известия из России — назначение министром внутренних дел князя Святополк-Мирского и эра либеральных речей и банкетов. К новому назначению партия отнеслась, конечно, скептически и от либеральных речей не ожидала больших результатов. И все-таки было ясно, что убийство Плеве уже сыграло крупную роль: правительство поколебалось, и общество заговорило смелее. Этот успех в нас, членах Боевой организации, вселил уверенность в своих силах.

В Женеве я застал Бориса Васильевича Моисеенко, бывшего студента Горного института, моего товарища по группе «Рабочее знамя» и по вологодской ссылке. Еще в Вологде, в разговорах со мной и с Каляевым, он высказывался за необходимость убийства Плеве и теперь бежал за границу с целью работать в терроре. Я познакомил его с Азефом. Азеф принял его в нашу организацию.

Тогда же в Женеве состоялся ряд совещаний по вопросу об уставе Боевой организации. На совещаниях этих присутствовали Азеф, Швейцер, Каляев и я. Был выработан новый устав взамен проекта старого, составленного во времена Гершуни и нам тогда

неизвестного. Впоследствии организация не применяла ни старого, ни нового устава, и внутреннее ее устройство определялось молчаливым соглашением между ее членами, и особенно авторитетом Азефа. Но наши совещания все-таки представляют известный интерес. Они были вызваны желанием резко отграничиться от Центрального комитета и предупредить в будущем возможность какого бы то ни было вмешательства в наши дела. Среди товарищей господствовало убеждение, что для успеха террора необходима полная самостоятельность Боевой организации в вопросах как технических, так и внутреннего ее устройства. Такой взгляд, естественно, вытекал, во-первых, из сознания ненормальности положения партии, признающей террор и имеющей во главе своей Центральный комитет, состоящий в подавляющем большинстве из людей, незнакомых с техникой боевого дела^[1], и, во-вторых, из сознания необходимости для успеха террора строгой конспиративной замкнутости организации. Кроме этого, у многих из нас зародилась боязнь за успех террористических предприятий: мы опасались, что право Центрального комитета распускать Боевую организацию может вредно отразиться на деятельности последней.

Таким образом, устав был нам нужен не столько для внутреннего нашего устройства, сколько для урегулирования наших отношений с Центральным

комитетом. Указанных выше взглядов держалось большинство членов организации, и только Азеф и Швейцер допускали в принципе право технического контроля Боевой организации Центральным комитетом. На наших женевских совещаниях Каляеву и мне пришлось много спорить по этому вопросу с Азефом и Швейцером. После долгих переговоров был принят устав, составленный в духе большинства членов организации, прямо и резко ограничивавший сферу влияния Центрального комитета его политической компетенцией. Тогда же было постановлено, что принятый нами устав вступает в законную силу без одобрения Центрального комитета, явочным порядком, с ведома лишь заграничного представителя Боевой организации.

Проект устава Боевой организации, составленный при Гершуни, гласил:

Цель Боевой организации заключается в борьбе с существующим строем посредством устранения тех представителей его, которые будут признаны наиболее преступными и опасными врагами свободы. Устраняя их, Боевая организация совершает не только акт самозащиты, но и действует наступательно, внося страх и дезорганизацию в правящие сферы, и стремится довести правительство до сознания невозможности сохранить далее самодержавный строй.

Кроме казней врагов народа и свободы на обязанности Боевой организации лежит подготовка вооруженных сопротивлений власти, вооруженных демонстраций и прочих предприятий боевого характера, в которых сила правительственного деспотизма сталкивается с силой отпора или нападения под знаменем свободы, в которых слово воплощается в дело, в которых реализуется идея революции.

1

1. Боевая организация распадается на два отдела: центральный и местный. Первый состоит из распорядительной комиссии и ее агентов, второй — из местных групп, распределенных по разным районам.

2. Распорядительной комиссии принадлежит верховное руководство и решающий голос при совершении террористических актов, когда дело касается лиц, устранению которых придается общегосударственное значение. Сверх того, распорядительной комиссии принадлежит контроль над деятельностью местных боевых групп, которые обязаны доводить до сведения распорядительной комиссии о всяком замышляющемся факте, причем распорядительная комиссия имеет право налагать veto на решения местной боевой группы.

3. Распорядительная комиссия действует вполне самостоятельно, подчиняясь Центральному комитету партии

социалистов-революционеров лишь в тех пределах, которые ставит программа партии.

4. Распорядительная комиссия заведует Боевой организацией и паспортным бюро. Касса составляется из пожертвований на дело Боевой организации и сбор денег может производиться только с разрешения распорядительной комиссии. Боевая организация распоряжается денежными средствами вполне самостоятельно, и контроль кассы принадлежит только распорядительной комиссии.

5. Число членов распорядительной комиссии не должно превышать десяти.

6. Все вопросы, за исключением вопросов об изменении устава и принятия новых членов, решаются простым большинством голосов; для изменения же устава и принятия нового члена нужно единогласное решение.

7. Все члены распорядительной комиссии равноправны и в своих действиях подлежат контролю лишь общего собрания распорядительной комиссии.

8. Особые условия деятельности Боевой организации делают необходимым предъявление к членам особо строгих требований:

а) член Боевой организации должен быть человеком, обладающим безграничною преданностью делу организации,

доходящей до готовности пожертвовать своей жизнью в каждую данную минуту;

б) он должен быть человеком выдержанным, дисциплинированным и конспиративным;

в) он должен дать обязательство безусловно повиноваться постановлениям общего собрания распорядительной комиссии, если он член или агент комиссии, и распоряжениям комиссии или же районного представителя комиссии, если он член местной Боевой организации;

г) прием в члены какого-либо из отделов Боевой организации допускается лишь при согласии на то всех членов данной группы. Сверх того, нужно утверждение со стороны агента распорядительной комиссии, заведующего данным районом, если новый член вступает в одну из местных боевых групп.

9. Агенты распорядительной комиссии отдают себя в безусловное распоряжение комиссии, повинуются всем ее указаниям и пользуются правом лишь совещательного голоса.

10. Деятельность Боевой организации может быть остановлена лишь общепартийным съездом, если он найдет это нужным в тактических целях.

2

Местные боевые группы образуются с утверждения распорядительной комиссии во всех районах, на которые

распространяется деятельность партии. В каждый из этих районов, по мере возникновения там местной Боевой организации, распорядительная комиссия назначает своего районного представителя — члена или агента распорядительной комиссии, которому подчиняются все местные боевые группы.

1. Местные боевые группы вполне автономны, но действуют лишь в пределах своего района. Они обязаны давать отчет в своей деятельности распорядительной комиссии и предупреждать ее о каждом замышляемом факте.

2. Расходы по тем предприятиям, которые ведутся по указанию или же с одобрения распорядительной комиссии, относятся на счет центральной кассы Боевой организации.

3. Члены местных организаций принимают на себя обязательство предоставить себя в полное распоряжение распорядительной комиссии для всякого рода боевых предприятий, когда комиссия этого потребует.

4. Все местные боевые группы данного района находятся в непосредственном подчинении у местного представителя Боевой организации».

Проект этот так и остался проектом. Он не вошел в жизнь и не применялся на практике. Распорядительной комиссии никогда, ни до, ни после составления проекта, не существовало, местных боевых групп тогда еще не

было, наконец, и количество террористических сил было настолько ничтожно, что его едва хватило бы даже только на распорядительную комиссию. Но проект отличался той же существенной особенностью, какой отличался и наш устав: согласно ему, террористические организации резко обособлялись от Центрального комитета и пользовались полной внутренней самостоятельностью. Право роспуска Боевой организации предоставлялось не Центральному комитету, а общепартийному съезду — высшей инстанции партии.

Наш устав, принятый в августе 1904 года, был следующий:

1. Боевая организация ставит себе задачей борьбу с самодержавием путем террористических актов.
2. Боевая организация пользуется полной технической и организационной самостоятельностью, имеет свою отдельную кассу и связана с партией через посредство Центрального комитета.
3. Боевая организация имеет обязанность сообразоваться с общими указаниями Центрального комитета, касающимися:
 - а) круга лиц, против коих должна направляться деятельность Боевой организации;

б) момента полного или временного, по политическим соображениям, прекращения террористической борьбы.

Примечание. В случае объявления Центральным комитетом полного или временного, по политическим соображениям, прекращения террористической борьбы, Боевая организация оставляет за собой право довести до конца свои предприятия, если таковые ею были начаты до означенного объявления Центрального комитета, какового права Боевая организация может быть лишена лишь специальным постановлением общего съезда партии.

4. Все сношения между Центральным комитетом и Боевой организацией ведутся через особого уполномоченного, выбираемого комитетом Боевой организации из числа членов последней.

5. Верховным органом Боевой организации является комитет, пополняемый через кооптацию из числа ее членов.

6. Все права комитета, кроме нижеперечисленных, передаются им избираемому им же из числа его членов, сменяемому по единогласному соглашению всех членов комитета, члену-распорядителю.

7. Комитет Боевой организации сохраняет за собой:

а) право приема новых и исключения старых членов как комитета, так и организации (во всех случаях с единогласного соглашения всех членов комитета);

б) право участия в составлении плана действий, причем в случае разногласия между отдельными членами комитета решающий голос остается за членом-распорядителем;

в) право участия в составлении литературных произведений, издаваемых от имени Боевой организации.

8. Одновременно с выбором члена-распорядителя комитет Боевой организации производит выбор его заместителя, к каковому заместителю переходят все права и полномочия члена-распорядителя в случае ареста последнего.

9. Число членов комитета Боевой организации неограничено, в случае же ареста одного из них все права его переходят к заранее намеченному комитетом кандидату.

10. Члены Боевой организации во всех своих действиях подчинены комитету Боевой организации.

11. В случае одновременного ареста всех членов комитета Боевой организации или всех ее членов, кроме одного (заранее намеченного комитетом кандидата), право кооптации постоянного комитета Боевой организации переходит к заграничному ее представителю, а во втором случае — также и к кандидату в члены комитета Боевой организации.

12. Настоящий устав может быть изменен лишь с единогласного соглашения всех членов комитета Боевой организации и ее заграничного представителя.

Членом-распорядителем комитета Боевой организации был избран Азеф, заместителем его я, в комитет же вошел, кроме Азефа и меня, еще и Швейцер.

Этим уставом и партийным соглашением, напечатанным в № 7 «Революционной России», определялось взаимоотношение между Центральным комитетом и Боевой организацией. В № 7 «Революционной России» читаем:

«Согласно решению партии, из нее выделилась специальная Боевая организация, принимающая на себя — на началах строгой конспирации и разделения труда — исключительно деятельность дезорганизационную и террористическую. Эта Боевая организация получает от партии, через посредство ее центра, общие директивы относительно выбора времени для начала и приостановки военных действий и относительно круга лиц, против которых эти действия направляются. Во всем остальном она наделена самыми широкими полномочиями и полной самостоятельностью. Она связана с партией только через посредство центра и совершенно отделена от местных комитетов. Она имеет вполне обособленную организацию, особый личный состав (по условиям самой работы, конечно, крайне немногочисленный), отдельную кассу, отдельные источники средств».

Это партийное решение, обособляющее вполне Боевую организацию от Центрального комитета, впоследствии не было отменено ни первым, ни вторым общими съездами партии.

II

Окончив обсуждение устава и выпустив, вместе с Гоцем и Черновым, четвертый «Летучий листок Революционной России»^[2], я уехал в Париж. В Париже устраивалась динамитная мастерская. Швейцер, под именем торговца сливками, греческого подданного, Давужогро, снял квартиру в квартале Гренель, на улице Грамм. Он поселился в ней вместе с Дорой Бриллиант и младшим братом Азефа, Владимиром, по образованию химиком. В той мастерской изготовлялся динамит для будущих покушений, в ней же была и школа для занятий по химии взрывчатых веществ и по снаряжению динамитных снарядов. Каляев, Дулебов, Боришанский, Моисеенко и я поочередно обучались у Швейцера технике динамитного дела. Работая в этой мастерской, Швейцер в то же время занимался изучением новых открытий по химии и электротехнике. Ему казалось, что только широкое применение научных изобретений выведет террор на дорогу победоносной борьбы с правительством. К сожалению, он не успел сделать ничего крупного в этом направлении. В

политике Швейцер держался умеренных взглядов. Я помню, однажды вечером, после занятий у него в мастерской, мы вышли вместе на улицу и зашли в кафе. Он спросил себе газету и весь погрузился в чтение. Вдруг он сказал:

— А министерство накануне падения.

Я удивленно обернулся к нему.

— Какое министерство?

— Французское, конечно.

— Французское?.. Так не все ли равно?

В свою очередь он удивленно посмотрел на меня:

— Как — все равно? Радикалы будут у власти.

— Ну?

— Я же вам говорю: радикалы будут у власти.

Я все еще не понимал. Я сказал:

— Какая же разница... Мелин, Комб или Клемансо?

— Какая разница?.. Вы не понимаете? Значит, вы вообще против парламента?

Я сказал, что действительно не придаю большого значения борьбе партии в современных парламентах и не вижу победы трудящихся масс в замене Мелина Комбом или Комба Клемансо. Швейцер спросил:

— Значит, вы анархист?

— Нет. Это значит только то, что я сказал: я не придаю большого значения парламенту.

— С вашими взглядами я бы не был в партии социалистов-революционеров.

Таковыми «анархистами», как я, были и Каляев, и Моисеенко, и Дулебов, и Боришанский, и Бриллиант. Мы все сходились на том, что парламентская борьба бессильна улучшить положение трудящихся классов, мы все стояли за *action directe* и были одинаково далеки как от тактики Жореса, так и от тактики Вальяна. Был еще один, более важный пункт разногласий между нами и Швейцером. Мы разно смотрели на задачи террора. Для Швейцера центральный террор был только одним из проявлений планомерной партийной борьбы и Боевая организация — только одним из учреждений партии социалистов-революционеров. Хотя Каляев впоследствии в речи своей на суде стал на эту же точку зрения, в действительности он держался иной. Он полагал, как и мы, что центральный террор — важнейшая задача данного исторического момента, что перед этой задачей бледнеют все остальные партийные цели, что для успеха террора должно и можно поступиться успехом всех других предприятий, что Боевая организация, составляя часть партии социалистов-революционеров, близкой ей по направлению и целям, делает вместе с тем общепартийное, даже внепартийное дело — служит не той или иной программе и партии, а всей русской революции в целом. Я добавлю к этому, что не только Каляев, но и все мы не сочли бы себя вправе

высказывать публично, на суде, такие мнения: вступая в партию, мы брали на себя обязательство защищать на суде строго партийную точку зрения.

Я помню мой разговор с Каляевым по поводу прокламации Центрального комитета, изданной после 15 июля на французском языке в Париже: «Ко всем гражданам цивилизованного мира». В этой прокламации, между прочим, было такое заявление:

«Вынужденная решительность наших средств борьбы не должна ни от кого заслонять истину: сильнее, чем кто бы то ни был, мы во всеуслышание порицаем, как это всегда делали наши героические предшественники „Народной воли“, террор как тактическую систему в свободных странах. Но в России, где деспотизм исключает всякую открытую политическую борьбу и знает только один произвол, где нет спасения от безответственной власти, самодержавной на всех ступенях бюрократической лестницы, мы вынуждены противопоставить насилию тирании силу революционного права».

Каляев возмущался этим заявлением. Он говорил:

— Я не знаю, что бы я делал, если бы родился французом, англичанином, немцем. Вероятно, не делал бы бомб, вероятно, я бы вообще не занимался политикой... Но почему именно мы, партия социалистов-революционеров, т. е. партия террора, должны бросить камнем в итальянских и французских

террористов? Почему именно мы отрекаемся от Лункена и Равашоля? К чему такая поспешность? К чему такая боязнь европейского мнения? Не мы должны бояться — нас должны уважать. Террор — сила. Не нам заявлять о нашем неуважении к ней...

Я сказал ему на эти его слова то, что мне сказал Швейцер:

— Янек, ты — анархист.

— Нет, но я верю в террор больше, чем во все парламенты в мире. Я не брошу бомбу в café, но и не мне судить Равашоля. Он мне более товарищ, чем те, для кого написана прокламация.

Моисеенко был согласен с Каляевым, Дулебов и Боришанский высказывались еще более резко. Рабочие, они допускали все средства в борьбе с наиболее опасным врагом — с буржуазией. Дора Бриллиант молчаливо одобряла такое их мнение. Эти разногласия, конечно, мало отражались на наших между собой отношениях. В организации в общем продолжал царить прежний дух взаимной любви и дружбы.

Тогда же в Париже состоялся ряд совещаний нашего комитета по вопросу о дальнейшем образе действий. Было решено, что организация предпримет одновременно три дела: в Петербурге — на петербургского генерал-губернатора, генерала Трепова, в Москве — на московского генерал-губернатора, великого князя Сергея Александровича, и в Киеве — на

киевского генерал-губернатора, генерала Клейгельса. Наличный состав организации определялся лицами, бывшими в то время за границей: Мацеевский был в России, и относительно него было неизвестно, примет ли он немедленное участие в боевой работе. Мацеевский такого участия не принял: он ушел в польскую социалистическую партию. За исключением его и оставшегося за границей Азефа, Боевая организация состояла в то время из Доры Бриллиант, Дулебова, Боришанского, Каляева, Швейцера, Моисеенко, Ивановской, меня и Татьяны Леонтьевой.

Татьяна Александровна Леонтьева, живя в Женеве, через Брешковскую предложила свои услуги Боевой организации. И на меня, и на Каляева она сделала впечатление, похожее на то, которое делала при первых встречах Дора Бриллиант. С первого же слова в Леонтьевой чувствовалась неисчерпаемая преданность революции и готовность во имя ее на жертву. Особенно понравилась она Каляеву, я же верил его чутью, и потому не колеблясь высказался за прием ее в члены организации. Леонтьева могла быть полезной делу террора не только своей готовностью отдать за него жизнь. Дочь якутского вице-губернатора, аристократка по матери и по матери же связанная с богатым и чиновным Петербургом, она могла надеяться быть представленной ко двору и, в счастливом случае, получить звание фрейлины. Она еще не потеряла своей легальности, ни в каких революционных делах

замешана не была, и в глазах полиции не могла казаться опасной. Ее присутствие в организации давало нам возможность иметь из хорошего источника необходимые для нас сведения о министрах и великих князьях. Предполагалось поэтому, что ее роль пока и ограничится упрочением ее петербургских связей и сообщением нам таких сведений.

Было решено, что в Петербург поедет Швейцер и станет во главе покушения на Трепова. Из старых членов организации вместе с ним должны были принять участие в этом покушении Дулебов и Ивановская, из новых — Леонтьева и ряд товарищей, частью намеченных на этих же совещаниях, частью кооптированных в России Швейцером по праву, данному ему комитетом. Петербургский отдел Боевой организации впоследствии включил еще в свой состав: Басова, Шиллерова, Подвицкого, Трофимова, Загороднего, Маркова, Барыкова и некоего рабочего из Белостока, известного под именем «Саши Белостоцкого». Задача Швейцера, сама по себе очень трудная, осложнилась еще тем, что члены его отдела были мало знакомы между собой и большинство из них не имело никакого боевого опыта. Кроме того, Саша Белостоцкий оказался человеком для Боевой организации непригодным.

Киевский отдел Боевой организации был поручен, по настоянию Азефа, Боришанскому. Ему также было предоставлено право кооптации новых членов, но всего

в количестве двух человек, и то исключительно из лично и хорошо ему знакомых рабочих по Белостоку — из наметившейся уже тогда белостоцкой боевой дружины. Боришанский кооптировал супругов Казак.

Наконец мне было поручено покушение на великого князя Сергея Александровича. Со мной в Москву должны были ехать Дора Бриллиант, Каляев и Моисеенко. Я тоже имел право пополнить свой отдел, но всего только одним человеком, указанным мне Азефом. Он рекомендовал мне старого народовольца, рабочего Х., о котором, по его словам, можно было справиться в Баку.

Для всех трех отделов план покушения был принят один и тот же — тот, который был принят и в деле Плеве. Предполагалось учредить наружное наблюдение за Треповым, великим князем Сергеем и Клейгельсом и затем убить их на улице. Для целей наблюдения должны были, как и раньше, служить извозчики и уличные торговцы. В частности, в Москве извозчиками должны были быть Моисеенко и Каляев.

Успех дела Плеве не оставлял в нас сомнений в успехе и предпринимаемых нами покушений. Мы не задумывались ни над тем, что петербургский отдел будет состоять из неопытных людей, ни над тем, что отдел Боришанского слишком малочислен. Мы были твердо уверены, что при отсутствии провокации предпринятые нами дела должны увенчаться успехом.

После совещаний Каляев и Моисеенко уехали в Брюссель, я же остался в Париже, ожидая паспорта и динамита. Паспорта я и Швейцер получили английские, я — на имя Джемса Галлея, Швейцер — на имя Артура Мак-Куллона. Впоследствии, после смерти Швейцера, в Лондоне состоялся суд над Мак-Куллоном и посредником между ним и нами Бредсфордом по обвинению их в незаконной передаче паспортов русским революционерам. Оба англичанина были приговорены к денежному штрафу по 100 фунтов каждый, и штраф этот был внесен Боевой организацией. В то время Боевая организация обладала значительными денежными средствами: пожертвования после убийства Плеве исчислялись многими десятками тысяч рублей. Часть этих денег отдавали партии на общепартийные дела.

В начале ноября члены Боевой организации выехали в Россию. Динамит был уже готов, и мы под платьем перевезли его через границу. Через несколько дней Каляев, Моисеенко, Дора Бриллиант и я встретились в Москве. Боришанский и Швейцер разделили между собою динамит в Варшаве.

III

Начиная дело великого князя Сергея, мы пользовались опытом покушения на Плеве. Московский комитет должен был располагать некоторыми ценными сведениями о генерал-губернаторе. Мы предпочли

отказаться от них: мы не желали вступать в какие бы то ни было сношения с комитетскими работниками. Степень конспиративности и революционной опытности последних была нам неизвестна, и мы боялись знакомством с ними навести полицию на след нашего покушения. Поэтому московский комитет долгое время не подозревал, что в Москву прибыли и работают члены Боевой организации. Мы же, полагаясь на собственные силы, самостоятельно начали наблюдения.

Предстояло прежде всего узнать, где живет генерал-губернатор. Это было известно каждому москвичу, но ни один из нас москвичом не был. Мы колебались, какой из дворцов великого князя взять исходной точкой для наблюдения: генерал-губернаторский дом на Тверской, Николаевский или Нескучный дворцы. В адрес-календаре мы не могли найти указаний, спросить же нам было не у кого, если не у членов московского комитета.

Моисеенко разрешил эту задачу. Он поднялся на колокольню Ивана Великого и начал расспрашивать сопровождавшего его сторожа о достопримечательностях Москвы. В разговоре он попросил указать ему дворец генерал-губернатора. Сторож указал на Тверскую площадь и сообщил, что великий князь живет именно там.

Таким образом мы узнали нужный нам адрес. Теперь предстояло установить выезды великого князя.

Моисеенко и Каляев купили лошадей и сани и записались извозчиками. Я не сомневался, что Каляев справится со своей задачей: его опыт уличного торговца должен был ему помочь и на извозничьем дворе. Но Моисеенко не имел опыта. Кроме того, он происходил из состоятельной семьи и не привык ни к физическому труду, ни к тяжелым условиям жизни. Несмотря на это, он очень быстро освоился со своим положением.

Моисеенко и Каляев купили сани в одно и то же время и за лошадей заплатили одни и те же деньги, но даже по внешности они значительно отличались друг от друга.

Моисеенко ездил на заезженной, захудалой лошаденке, которая кончила тем, что упала за Тверской заставой. Сани у него были подержанные и грязные, полость рваная и облезлая. Сам он имел вид нищего московского Ваньки. У Каляева была сытая крепкая лошадь, сани были с меховой полостью. Он подпоясывался красным шелковым кушаком, и в нем нетрудно было угадать извозчика-хозяина. Зато на дворах их роли менялись. Моисеенко почти не давал себе труда надевать маску. На расспросы извозчиков о его биографии он не удостоивал отвечать; по воскресеньям уходил на целый день из дому; для мелких услуг и для ухода за лошастью нанимал босяка; с дворником держал себя независимо и давал понять, что имеет деньги. Такой образ действий приобрел ему уважение извозчиков. Каляев держался совсем другой

точки. Он был застенчив и робок, подолгу и со всевозможными подробностями рассказывал о своей прежней жизни — лакея в одном из петербургских трактиров, был очень набожен и скуп, постоянно жаловался на убытки и прикидывался дурачком там, где не мог дать точных и понятных ответов. На дворе к нему относились с оттенком пренебрежения и начали его уважать много позже, только убедившись в его исключительном трудолюбии: он сам ходил за лошадью, сам мыл сани, выезжал первый и возвращался на двор последним. Как бы то ни было, и Каляев, и Моисеенко разными путями достигли одного и того же: их товарищи-извозчики, конечно, не могли заподозрить, что оба они не крестьяне, а бывшие студенты, члены Боевой организации, наблюдающие за великим князем Сергеем.

На работе они соперничали друг с другом. Каляев, как и перед убийством Плеве, выстояв определенные по общему плану часы на назначенной улице, не прекращал наблюдения. Весь остаток дня он продолжал наблюдать, руководствуясь уже своими собственными соображениями. И ему удавалось не раз видеть великого князя на такой улице и в такой час, где и когда его можно было ожидать всего менее. У Моисеенко тоже был свой план. Независимо от Каляева, он приводил его в исполнение. Но он мало ездил по улицам. Чисто логическим путем он приходил к выводу, что великий князь неизбежно выедет в определенное

время, и старался быть на Тверской как раз в эти часы. Таким образом, его наблюдение дополняло наблюдение Каляева, и наоборот.

Трудный вопрос о систематических свиданиях со мной — о свиданиях барина-англичанина с извозчиками — они тоже решали неодинаково. Каляев предпочитал видеться в санях, хотя с козел было неудобно сговариваться о наблюдении и мороз не позволял долгих свиданий. Только изредка, и заранее обдумав предлог для извозничьего двора, Каляев по воскресеньям приходил ко мне в трактир Бакастова у Сухаревой башни. Эти свидания были праздниками для нас. Мы могли провести вместе два-три часа, обсудить все подробности дела и подумать о будущем. Каляев много говорил о своей работе и не раз повторял, что он счастлив и что с нетерпением ждет покушения. Моисеенко почти не встречался со мной на улице. Не устаивая объясняться у себя на дворе, он надевал свою праздничную поддевку и вечером шел на свидание со мной в трактир, в манеж или цирк. Он холодно и спокойно рассказывал о великом князе, но за этим наружным спокойствием сквозило, так же как у Каляева, увлечение работой. Об убийстве он говорил сдержанно и всегда предполагал, что непосредственным участником его будет он сам. И с Моисеенко, и с Каляевым я в подробностях обсуждал каждый шаг нашей общей работы.

Каляев так рассказывал о своей жизни:

— Сделал я себе паспорт на имя подольского крестьянина, хохла, Осипа Коваля — хохла, чтобы объяснить мой польский акцент. И ведь бывает такое несчастье! Вечером спрашивает дворник: ты какой, говорит, губернии? Я, говорю, дальний, подольский я. Ну, говорит, земляки будем... Я сам, мол, подольский. А какого уезда? Я говорю: я ущицкий. Обрадовался дворник: вот так раз, говорит, и я ведь тоже ущицкий. Стал он меня расспрашивать: какой волости, какого села, слыхал ли про ярмарку в Голодаевке, знаешь ли деревню Нееловку? Ну да ведь меня не поймает. Я раньше, чем паспорт писать, зашел в Румянцевскую библиотеку, прочитал про Ущицкий уезд. Смеюсь. Как не знать, говорю, бывали, а ты, говорю, в городе-то бывал, в Ущице-то есть собор, говорю, видел? Еще оказалось, что я лучше дворника родину знаю.

Моисеенко говорил иное:

— Подходит ко мне на дворе какой-то босяк. Ты откуда, земляк, будешь? Я посмотрел на него, говорю: из Порт-Артура я. Он и глаза раскрыл: из Порт-Артура? Ну? А я на него не гляжу, лошади хомут надеваю. Постоял он, чешет в затылке: а чего ты, говорит, бритый? А у меня голова, видишь, стриженная, не по-извозничьему положению. Бритый? — говорю. В солдатах был, в больнице в тифу лежал, теперь с дураком разговариваю... Опять гляжу — чешет в затылке, потом говорит: ну и вижу я — птица ты, в

солдатах служил, в Порт-Артуре был, в тифу в больнице лежал... И с тех пор шапку передо мной ломает.

Несмотря на малочисленность организации, наблюдение благодаря нашему прежнему опыту шло очень успешно. Вскоре был установлен в точности выезд великого князя. Каляев рассказывал о нем так же подробно, как некогда о карете Плеве. Отличительными чертами великокняжеской кареты были белые вожжи и белые, яркие, ацетиленовые огни фонарей. Таких огней больше ни у кого в Москве не было. Только великий князь и его жена, великая княгиня Елизавета, ездили с таким освещением.

Это несколько усложняло нашу задачу — можно было ошибиться и принять карету великой княгини за карету великого князя. Но Каляев и Моисеенко изучили великокняжеских кучеров и по кучерам безошибочно брались определить, кто именно едет в карете.

Установления выезда было, однако, еще недостаточно. Необходимо было установить, куда и когда ездит великий князь. Вскоре нам удалось выяснить, что, живя в доме генерал-губернатора, он часто, раза два-три в неделю, в одни и те же часы, ездит в Кремль. Таким образом, уже через месяц, к началу декабря, наблюдение в главных чертах было закончено. Я предупредил об этом Дору Бриллиант, хранившую динамит в Нижнем Новгороде.

Тогда же, в начале декабря, я уехал в Баку, чтобы увидеться там с рекомендованным мне Азефом

народовольцем Х. В Баку я разыскал членов местного комитета, в том числе Марию Алексеевну Прокофьеву, невесту Сазонова, впоследствии, в 1907 году, судившуюся вместе с Никитенко и Синявским по процессу о заговоре на царя. От нее и от М. О. Лебедевой я узнал, что разыскиваемого мною Х. в Баку нет и что он едва ли склонен принять участие в террористическом предприятии. Вместе с тем Лебедева указала мне на Петра Александровича Куликовского, бывшего студента Петербургского учительского института, а в то время члена Бакинского комитета. Она сообщила мне, что Куликовский давно просит рекомендовать его в Боевую организацию и что он лично и хорошо известен не только ей, но и остальным бакинским товарищам. Там же, в Баку, я увиделся с ним.

Куликовский был человек выше среднего роста, в очках, с большими и добрыми, навывкате, глазами. На первом же свидании он сказал мне, что хочет работать в терроре. Чтобы убедиться в силе его желания, я стал разубеждать его. Я говорил ему то же самое, что когда-то говорил Дыдынскому, — что в террор должен идти только тот, для кого нет психической возможности участвовать в мирной работе, и что никогда не следует торопиться с таким решением. Куликовский твердо стоял на своем. Он показался мне человеком убежденным и искренним. После нескольких свиданий я условился с ним, что он немедленно выедет в Москву.

Вернувшись из Баку, я узнал от Моисеенко и Каляева следующее: 5 и 6 декабря в Москве произошли известные студенческие демонстрации. Московский комитет выпустил по этому поводу заявление с прямой угрозой великому князю. Комитет, как выше было указано, и не подозревал о нашем присутствии в Москве и, угрожая, брал на себя инициативу убийства. Мы не знали об этом его заявлении.

Вот оно:

«Московский комитет партии социалистов-революционеров считает нужным предупредить, что если назначенная на 5 и 6 декабря политическая демонстрация будет сопровождаться такой же зверской расправой со стороны властей и полиции, как это было еще на днях в Петербурге, то вся ответственность за зверства падет на головы генерал-губернатора Сергея и полицмейстера Трепова. Комитет не остановится перед тем, чтобы казнить их».

Вскоре после появления этой прокламации великий князь неожиданно и неизвестно куда выехал из дома генерал-губернатора. Перед нами стояла задача отыскать его новое местожительство. Мы стали наблюдать за Николаевским, Нескучным и даже старым Басманным дворцами. Каляеву удалось увидеть великокняжескую карету у Калужских ворот. Мы вывели из этого заключение, что великий князь живет в Нескучном дворце, и не ошиблись.

Я и до сих пор не знаю, чему приписать внезапный переезд великого князя — простой ли случайности, сведениям ли, полученным им о нашей организации, или заявлению Московского комитета. Я лично склоняюсь к последнему мнению. Великий князь не мог не посчитаться с угрозой партии социалистов-революционеров, а в Нескучном дворце он чувствовал себя безопаснее, чем на Тверской. Однако опасность для него не уменьшилась. Поле для нашего наблюдения было больше — вместо короткого пути от Тверской площади до Кремля великому князю приходилось делать дорогу в несколько верст: от Нескучного к Калужским воротам и затем к Москве-реке через Пятницкую, Большую Якиманку, Полянку или Ордынку. На этом длинном пути можно было наблюдать целый день, не навлекая на себя никаких подозрений. Вскоре Моисеенко и Каляев установили, что великий князь продолжает ездить в Кремль, но в разные дни и часы, хотя почти всегда одной и той же дорогой — по Большой Полянке.

Между тем деньги, привезенные нами из-за границы, приходили к концу. Несколько раз нам оказывал помощь присяжный поверенный В. А. Жданов, мой хороший знакомый еще по вологодской ссылке, впоследствии защищавший Каляева и еще позже, в 1907 году, осужденный по социал-демократическому делу на четыре года каторжных работ. Я написал Азефу в Париж с просьбой выслать немедленно денег. Но деньги

не приходили. Обращаться в Московский комитет мы ни в каком случае не желали. Подумав, я решился на следующее.

Я знал, что Жданов в приятельских отношениях с присяжным поверенным П. Н. Малянтовичем, лично мне тогда неизвестным. Я явился к последнему на квартиру в часы его деловых приемов и попросил доложить, что пришел помещик Кшесинский по делу. Прождав часа два вместе с другими просителями в приемной, я наконец был приглашен в кабинет. В кабинете я объяснил Малянтовичу, что я — хороший знакомый Жданова и знаю, что он, Малянтович, тоже его хороший знакомый; что мне нужны деньги, и что я прошу его ссудить мне 200 рублей на неделю, под поручительство Жданова.

Малянтович с удивлением слушал меня.

— Но ведь Жданова нет в Москве, — сказал он.

Я ответил, что если бы Жданов был в Москве, то я и обратился бы к нему, а не к человеку, мне совершенно незнакомому. Малянтович слушал с все возрастающим удивлением.

— Ваша фамилия Кшесинский? — спросил он.

Я сказал:

— Это все равно как моя фамилия.

Малянтович внимательно посмотрел на меня. Потом он сказал:

— Хорошо. У меня нет сейчас денег, но зайдите дня через два. Через два дня я действительно получил от него 200 рублей.

Много позже, защищая меня в Севастополе, Малянтович вспомнил об этом случае; он рассказал мне, что долго колебался, давать ли мне деньги: он не догадывался, что я революционер, и не понимал, что значит мое обращение к нему, человеку незнакомому.

В конце декабря в Москву приехал гражданский инженер А. Г. Успенский, часто оказывавший услуги Боевой организации, и привез денег. От Азефа я тоже получил чек. Долг Малянтовичу был уплачен. Тогда же в Москву приехал член Центрального комитета Н. С. Тютчев. Переговорив с ним, я решил во избежание недоразумения объяснить с Московским комитетом по поводу упомянутой выше прокламации. С большими предосторожностями я встретился с одним из членов его, Владимиром Михайловичем Зензиновым, впоследствии работавшим одно время в Боевой организации. Я спросил Зензинова, готовит ли Московский комитет покушение на великого князя.

— Да, готовит, — ответил Зензинов.

— Имеет ли комитет какие-либо сведения об образе его жизни и производит ли наблюдение?

Зензинов рассказал мне обо всех приготовлениях, сделанных комитетом. Комитет был, конечно, не в силах убить великого князя, и его работа могла только

помешать нашей. Я сказал об этом Зензинову и от имени Боевой организации просил прекратить всякое наблюдение. Через день Зензинов был арестован по комитетскому делу, и я имел случай лишний раз убедиться, как важно для успеха террористического предприятия полное его обособление. За Зензиновым, конечно, следили уже в день моего с ним свидания, при большей наблюдательности филеры могли проследить и меня, а через меня и весь наш немногочисленный отдел.

Приблизительно в это же время приехал в Москву Куликовский. Вспоминая свой печальный опыт с Дыдынским, я еще раз стал убеждать его отказаться от своего решения. Но Куликовский, как и в Баку, настойчиво возражал мне. Он и на этот раз показался мне человеком, искренне преданным делу террора. Я и до сих пор думаю, что я тогда не ошибся.

Было решено, что Куликовский будет наблюдать в качестве уличного торговца. Наблюдение ему не давалось. Этому мешали и его неопытность, и его близорукость. Он так и не стал торговцем, а без лотка и товара, в поддевке и картузе, наблюдал выезд великого князя у Калужских ворот. Он видел несколько раз великокняжескую карету, и этого было, конечно, довольно, чтобы иметь возможность участвовать в покушении.

Дора Бриллиант, жившая частью в Москве, частью, по конспиративным причинам, в Нижнем Новгороде, тяготилась своим бездействием. Действительно, ее роль

была чисто пассивная. Она хранила в одиночестве динамит. Она еще более замкнулась в себя и сосредоточенно ожидала часа, когда понадобится ее работа.

IV

10 января в Москве получились первые известия о петербургских событиях. Великий князь переехал из Нескучного в Николаевский дворец. Его переезд помешал нашей работе. Наблюдение за Нескучным дворцом уже дало нам вполне определенные результаты: мы выяснили, что великий князь ездит в Кремль обычно по средам и пятницам, и во всяком случае не менее двух раз в неделю, от двух до пяти часов пополудни.

Мы уже намеревались приступить к покушению. Теперь приходилось начинать наблюдение сначала и, что еще хуже, наблюдать в самом Кремле. Мы не знали, когда и куда будет ездить великий князь, т. е. через какие из кремлевских ворот. Нас было немного, и следить по ту сторону кремлевских стен мы поэтому не могли. Приходилось волей-неволей наблюдать внутри их, на глазах у великокняжеской охраны. Моисеенко, со своей обычной смелостью, в первый же день остановился у самой Царь-пушки, где почти никогда извозчики не стоят. От Царь-пушки был виден Николаевский дворец, следовательно, выезд великого князя не мог пройти незамеченным. Городовые и

филеры не обратили внимания на извозчика, и с тех пор мы стали следить почти у самых ворот дворца.

Вскоре наблюдение установило, что великий князь ездит часто через Никольские ворота. Поездки эти бывали в разные дни, но в те же часы, что и раньше: не ранее двух и не позже пяти. Мы стали наблюдать у Иверской и очень быстро установили, куда ездит великий князь: он ездил в свою канцелярию в дом генерал-губернатора на Тверской. Каляеву удалось видеть однажды его приезд. Великий князь приехал не с главного крыльца, выходящего на площадь, а с подъезда, что в Чернышевском переулке. Несмотря на такие точные данные, сведений для покушения было, по нашему мнению, еще недостаточно. Невозможно было караулить великого князя несколько дней подряд, невозможно было ожидать его ежедневно с бомбами в руках по 2-3 часа на Тверской и в Кремле. Между тем регулярных выездов у него больше не было, и нам оставалась единственная надежда — узнать заранее из газет, в котором часу и куда он поедет. Великий князь ездил нередко на официальные торжества: в театр, на торжественные богослужения, на открытия больниц и богоугодных заведений и т. п. Но газеты не всегда давали точные сведения. Необходимо было подумать, как отыскать источник верных и заблаговременных указаний.

Пока мы обдумывали подробности покушения, в Москву неожиданно приехал инженер-технолог Петр

Моисеевич Рутенберг.

Рутенберга я знал давно, с университетской скамьи. Он вместе со мной был членом групп «Социалист» и «Рабочее знамя», вместе со мной был привлечен к делу и содержался в доме предварительного заключения. Дело его окончилось полицейским надзором, отбыв который он поступил на Путиловский завод инженером. На заводе он приобрел любовь и уважение рабочих и 9 января, вместе с Георгием Гапоном, шел к Зимнему дворцу в первых рядах. У Нарвских ворот он выдержал залп пехоты, поднял лежавшего на земле Гапона, увел его с собой с Нарвского шоссе и через несколько дней отправил из Петербурга в деревню, чтобы скрыть его от полиции. Он, конечно, тоже разыскивался полицией и приехал ко мне в Москву нелегально. Явку мою он узнал от А. Г. Успенского.

Рутенберг встретил меня словами:

— В Петербурге восстание.

Он рассказал мне во всех подробностях то, что произошло в Петербурге, рассказал и про Гапона, упомянув о его желании выехать за границу. Я предложил мой запасной внутренний паспорт и обещал достать заграничный. Рутенберг через несколько дней отослал тот и другой Гапону, но последний не воспользовался ими: не дождавшись Рутенберга, он уехал из деревни и бежал без паспорта за границу.

Впечатление от петербургских событий было громадно. Неожиданное выступление петербургских рабочих, со священником во главе, действительно, давало иллюзию начавшейся революции. Рутенберг рассказывал о баррикадах на Васильевском острове, о непрекращающемся волнении рабочих, о подъеме общественных сил и выражал твердую уверенность, что 9 января только начало событий, еще более значительных и широких. Он убеждал меня поэтому ехать немедленно в Петербург и попытаться соединить Боевую организацию с рабочей массой.

— Ведь у вас есть что-нибудь в Петербурге? — спрашивал он у меня.

Я дал ему уклончивый ответ, не имея права рассказывать о предприятии Швейцера.

— Но бомбы-то есть?

— Бомбы есть.

— Ну так едем... С бомбами многое можно сделать.

Я посоветовался с Каляевым, Моисеенко и Бриллиант и решил послушаться Рутенберга, съездить в Петербург, чтобы убедиться на месте, можно ли чем-нибудь помочь выступлению рабочих. Рутенберг ожидал новых и решительных столкновений с войсками.

12 января я приехал в Петербург и немедленно разыскал Швейцера. Он подтвердил мне все, что говорил Рутенберг, но прибавил, что, по его мнению, никаких выступлений в ближайшем будущем быть не

может, что рабочие обессилены потерями и что все попытки поднять упавшее движение неизбежно окончатся неудачей. Тогда же Швейцер рассказал мне следующее. Положение Татьяны Леонтьевой в так называемом большом свете укрепились настолько, что ей было сделано предложение продавать цветы на одном из тех придворных балов, на которых бывает царь. Бал этот должен был состояться в двадцатых числах декабря. Леонтьева предложила убить царя на балу, и Швейцер согласился на это. Бал, однако, был отменен. Вопрос о цареубийстве еще не подымался тогда в Центральном комитете, и Боевая организация не имела в этом отношении никаких полномочий. Швейцер, давая свое согласие Леонтьевой, несомненно нарушал партийную дисциплину. Он спрашивал меня, как я смотрю на его согласие, и дал ли бы я такое же. Я ответил, что для меня, как и для Каляева, Моисеенко и Бриллиант, вопрос об убийстве царя решен давно, что для нас это вопрос не политики, а боевой техники и что мы могли бы только приветствовать его соглашение с Леонтьевой, видя в этом полную солидарность их с нами. Я сказал также, что, по моему мнению, царя следует убить даже при формальном запрещении Центрального комитета.

Швейцер рассказал мне еще следующее. Наблюдая за Треповым, петербургский отдел Боевой организации случайно установил день, час и маршрут выездов министра юстиции Муравьева. Швейцер,

действовавший в вопросе убийства царя самостоятельно, почему-то счел нужным на этот раз испросить разрешения партии. Кроме члена Центрального комитета Тютчева, в Петербурге находилась в то время и Ивановская, не принимавшая еще участия в покушении на Трепова и близкая к Центральному комитету. Швейцер сообщил им, что наблюдение за Муравьевым закончено и что 12 января, в среду, возможно приступить к покушению. Он просил их совета. И Тютчев, и Ивановская решительно высказались против убийства министра юстиции. Они доказывали, что смерть его не может иметь серьезного влияния на ход общей политики и что Боевая организация не должна тратить силы на такие, второстепенной важности, акты. Швейцер на свой страх не решился убить Муравьева, и 12 января министр, не потревоженный никем, по обыкновению, проехал в Царское Село к царю. Я и до сих пор думаю, что этот совет Ивановской и Тютчева был ошибкой. Я думаю, что убийство Муравьева и само по себе могло иметь значение большое, непосредственно же после 9 января оно приобретало особую важность. Выслушав Швейцера, я спросил:

— Если наблюдение за Муравьевым уже закончено, почему вы не можете убить его 19-го, в среду, — ведь он опять поедет к царю?

— А Центральный комитет? — ответил мне Швейцер.

— Во-первых, Тютчев — не весь Центральный комитет, а во-вторых — нельзя не теперь сноситься с Женовой.

Швейцер задумался.

— Вы думаете, убийство министра юстиции будет иметь значение?

Я сказал, что если есть случай убить Муравьева, то нельзя не воспользоваться им уже потому, что неизвестно, будут ли удачны покушения на Трепова и великого князя Сергея. Швейцер согласился со мной.

19 января состоялось покушение на Муравьева, но оно окончилось неудачей. Метальщиками были упомянутые выше Саша Белостоцкий и Я. Загородний. Первый накануне покушения скрылся, сославшись на то, что за ним якобы следят. Второй встретил Муравьева, но не мог бросить бомбы, ибо карету министра загородили от него ломовые извозчики. А через несколько дней Муравьев вышел в отставку, и покушение на него действительно потеряло смысл.

Случай с Сашей Белостоцким еще раз показал, как важен тщательный подбор членов организации. Будь на месте Саши Дулебов или Леонтьева, Муравьев, конечно, был бы убит.

Петербургский отдел Боевой организации в то время еще окончательно не сложился: во главе его стоял Швейцер, Леонтьева хранила динамит, Подвицкий и Дулебов были извозчиками, Трофимов — посыльным,

Саша Белостоцкий — папиросником, приехавший же из-за границы Басов и только что рекомендованный Тютчевым Марков еще не имели определенной профессии. Не имели ее также Шиллеров и Барыков, только собиравшиеся принять участие в деле Трепова.

11 января в Сестрорецке был случайно арестован Марков, под фамилией Захарченко. При нем было найдено письмо, не оставлявшее сомнения в его принадлежности к Боевой организации. Там же, в Сестрорецке, был арестован, под фамилией Дормидонтова, Басов, приехавший к Маркову по поручению Швейцера. Швейцер этим арестом был огорчен еще более, чем неудачей 19 января, но, замкнувшись в себя, не выказывал этого наружно. Он с прежней настойчивостью продолжал дело Трепова.

Он сообщил мне тогда же, что ездил в Киев к Боришанскому, что киевский отдел уже приступил к работе, но что больше никаких сведений о нем он не имеет.

Убедившись, что в Петербурге мое присутствие совершенно не нужно и что в ближайшем будущем нельзя ожидать нового выступления рабочих, я числа 15 января уехал с Рутенбергом обратно в Москву, куда приехала и Ивановская. Рутенберг, бывший до сих пор вне партии, выразил теперь желание вступить в партию социалистов-революционеров и, получив от нас партийные пароли и заграничные явки, уехал за границу. Я рассказал Ивановской о положении дел в

Москве и просил ее указать мне какое-либо влиятельное лицо, способное давать нам сведения о великом князе.

Ивановская указала мне князя N. N. Она предложила мне зайти к писателю Леониду Андрееву, который знал князя лично и мог меня познакомить с ним. В один из ближайших дней я отправился в Грузины, к Андрееву. Ивановская не успела предупредить его о моем приходе, и он был очень удивлен моей просьбой. Я ему назвал мою фамилию, и только тогда он решился познакомить меня с N. N. Мы должны были встретиться с последним в ресторане «Эрмитаж», где N. N. мог узнать меня по условленным признакам: на моем столе лежало «Новое время» и букет цветов.

Князь N. N. был выхоленный, крупный, румяный и белый русский барин. Он занимал в Москве положение, которое давало ему легкую возможность узнавать о жизни великого князя. Он был известен как либерал, но редко выступал открыто. Впоследствии он стал видным членом кадетской партии. Когда он вошел в ресторан, я по его тревожной походке увидел, что он боится, не следят ли за ним или за мной. Это обещало мне мало хорошего, но я все-таки вступил с ним в разговор. Я сказал ему, что слышал много о его сочувствии революции, и спросил его, правда ли это.

— Да, правда, — отвечал он, — но как вы думаете, здесь безопасно?

Он в волнении заговорил, что в «Эрмитаже» его многие знают, что он может встретить здешних, что

конспиративные дела надо делать конспиративно, и в заключение предложил мне прийти к нему на квартиру.

Я хотел ему сказать, что он выбирает самый неконспиративный способ свидания, но промолчал и согласился прийти к нему на дом.

На дому у него повторилось то же, что в «Эрмитаже». Он, видимо, боялся знакомства со мной и желал одного — чтобы я возможно скорее ушел. Тем не менее он с большой охотой согласился давать нужные сведения. Он говорил, что ему нетрудно их получить, что убийство великого князя — акт первостепенной политической важности, что он от всей души сочувствует нам и в самом ближайшем будущем даст ценные и точные указания. Слушая его, я не совсем верил ему, но, конечно, я не мог себе представить тогда, что он, обещая многое, не сделает ничего.

Именно так и вышло. Князь N. N. ограничился обещаниями. Эта встреча показала мне, что в деле террора нельзя рассчитывать даже на наиболее смелых и уважаемых людей, если они не члены организации. Я убедился, что мы должны полагаться только на свои силы и рассчитывать исключительно на себя. Мой последующий опыт подтвердил это мое заключение.

Приближался конец января. В Москву приехал Тютчев. Он рассказал, что наблюдение за Треповым подвигается медленно, но зато Швейцеру удалось случайно установить выезды великого князя Владимира. Швейцер хотел поэтому, оставив

покушение на Трепова, попытаться убить великого князя — одного из виновников Кровавого воскресенья.

В Москве у нас все шло по-старому. По-старому Каляев, Моисеенко и Куликовский наблюдали за Кремлевским дворцом, по-старому Дора Бриллиант ожидала, когда потребуется ее работа. Наше покушение грозило затянуться на неопределенное время.

Если дело Плеве сплотило организацию, связало ее тем духом, который впоследствии Сазонов определял как дух рыцарства и братства, то наша работа в Москве еще более упрочила эту связь. Я могу без преувеличения сказать, что все члены московского отдела, не исключая и Куликовского, представляли собою одну дружную и тесную семью. Этой дружбе не мешала разница характеров и мнений. Быть может, индивидуальные особенности каждого только укрепляли ее. Я склонен приписывать исключительный успех московского покушения именно этому тесному сближению членов организации между собою.

Моисеенко по характеру напоминал Швейцера. Он был так молчалив, непроницаем и хладнокровен, как Швейцер. Его молчаливость переходила в угрюмость, и люди, знавшие его недостаточно близко, под этой угрюмостью могли не заметить широкой и оригинальной натуры Моисеенко. Но в отличие от Швейцера, строго партийного в своих мнениях, Моисеенко был человек самостоятельных и оригинальных взглядов. С партийной точки зрения он

был еретиком по многим вопросам. Он придавал мало значения мирной работе, с худо скрываемым пренебрежением относился к конференциям, совещаниям и съездам. Он верил только в террор.

Каляев в Москве был тот же, что и в Петербурге. Но он уже чувствовал приближение конца своей жизни, и это предчувствие отражалось на нем постоянным нервным подъемом. Быть может, он никогда не высказывал такой горячей любви к организации, как в эти дни, непосредственно предшествовавшие его смерти.

В последний раз я видел его извозчиком в конце января, когда покушение было уже решено. Мы сидели с ним в грязном трактире в Замоскворечье. Он похудел, сильно оброс бородой, и его лучистые глаза ввалились. Он был в синей поддевке, с красным гарусным платком на шее. Он говорил:

— Я очень устал... устал нервами. Ты знаешь, — я думаю, — я не могу больше... Но какое счастье, если мы победим. Если Владимир будет убит в Петербурге, а здесь, в Москве, — Сергей... Я жду этого дня... Подумай: 15 июля, 9 января, затем два акта подряд. Это уже революция. Мне жаль, что я не увижу ее...

— Опанас (Моисеенко) счастлив, — продолжал он через минуту, — он может спокойно работать. Я не могу. Я буду спокоен только тогда, когда Сергей будет убит. Если бы с нами был Егор... Как ты думаешь, узнает Егор, узнает Гершуни? Узнают ли в

Шлиссельбурге?.. Ведь ты знаешь, для меня нет прошлого — все настоящее. Разве Алексей умер? Разве Егор в Шлиссельбурге? Они с нами живут. Разве ты не чувствуешь их?.. А если неудача? Знаешь что? По-моему, тогда по-японски...

— Что по-японски?

— Японцы на войне не сдавались...

— Ну?

— Они делали себе харакири.

Таково было настроение Каляева перед убийством великого князя Сергея.

V

С конца января мы стали готовиться к покушению. Каляев продал сани и лошадь и уехал в Харьков, чтобы скрыть следы своей извозничьей жизни и поменять паспорт. Вот что он писал от 22 января Вере Глебовне С. [\[3\]](#):

«Вокруг меня, со мной и во мне сегодня ласковое сияющее солнце. Точно я оттаял от снега и льда, холодного уныния, унижения, тоски по несовершенном и горечи от совершающегося. Сегодня мне хочется только тихо сверкающего неба, немножко тепла и безотчетной хотя бы радости изголодавшейся душе. И я радуюсь, сам не зная чему, беспредметно и легко, хожу по улицам, смотрю на солнце, на

людей и сам себе удивляюсь, как это я могу так легко переходить от впечатлений зимней тревоги к самым уверенным предвкушениям весны. Еще несколько дней тому назад, казалось мне, я изнывал, вот-вот свалюсь с ног, а сегодня я здоров и бодр. Не смейтесь, бывало хуже, чем об этом можно рассказывать, душе и телу, холодно и неприветливо и безнадежно за себя и других, за всех вас, далеких и близких. За это время накопилось так много душевных переживаний, что минутами просто волосы рвешь на себе... Мы (Боевая организация) слишком связаны и нуждаемся в большей самостоятельности. Таков мой взгляд, который я теперь буду защищать без уступок, до конца.

Может быть, я обнажил для вас одну из самых больных сторон пережитого нами?.. Но довольно об этом. Я хочу быть сегодня беззаботно сияющим, бестревожно-радостным, веселым, как это солнце, которое манит меня на улицу под лазуревый шатер нежно-ласкового неба. Здравствуйте же, все дорогие друзья, строгие и приветливые, бранящие нас и болеющие с нами. Здравствуйте, добрые, мои дорогие детские глазки, улыбающиеся мне так же наивно, как эти белые лучи солнца на тающем снегу».

Мы колебались, в какой именно день назначить покушение. Следя за газетами, я прочел, что 2 февраля должен состояться в Большом театре спектакль в пользу склада Красного Креста, находившегося под покровительством великой княгини Елизаветы Федоровны. Великий князь не мог не посетить театра в

этот день. Поэтому на 2 февраля и было назначено покушение. Дора Бриллиант незадолго перед этим уехала в Юрьев и там хранила динамит. Я съездил за ней, и к февралю вся организация была в сборе в Москве, считая в том числе и Моисеенко, остававшегося все время извозчиком.

Дора Бриллиант остановилась на Никольской, в гостинице «Славянский базар». Здесь днем 2 февраля она приготовила две бомбы: одну для Каляева, другую для Куликовского. Было неизвестно, в котором часу великий князь поедет в театр. Мы решили поэтому ждать его от начала спектакля, т. е. приблизительно с 8 часов вечера. В 7 часов я пришел на Никольскую, к «Славянскому базару», и в ту же минуту из подъезда показалась Дора Бриллиант, имея в руках завернутые в плед бомбы. Мы свернули с нею в Богоявленский переулок, развязали плед и положили бомбы в бывший со мной портфель. В Большом Черкасском переулке нас ожидал Моисеенко. Я сел к нему в сани, и на Ильинке встретил Каляева. Я передал ему его бомбу и поехал к Куликовскому, ожидавшему меня на Варварке. В 7.30 вечера обе бомбы были переданы, и с 8 часов вечера Каляев стал на Воскресенской площади, у здания городской думы, а Куликовский — в проезде Александровского сада. Таким образом, от Никольских ворот великому князю было только два пути в Большой театр — либо на Каляева, либо на Куликовского. И Каляев, и Куликовский были одеты крестьянами, в

поддевках, картузах и высоких сапогах, бомбы их были завернуты в ситцевые платки. Дора Бриллиант вернулась к себе в гостиницу. Я назначил ей свидание, в случае неудачи, в 12 часов ночи, по окончании спектакля. Моисеенко уехал на извозчий двор. Я прошел в Александровский сад и ждал там взрыва.

Был сильный мороз, подымалась вьюга. Каляев стоял в тени крыльца думы, на пустынной и темной площади. В начале девятого часа от Никольских ворот показалась карета великого князя. Каляев тотчас узнал ее по белым и ярким огням ее фонарей. Карета свернула на Воскресенскую площадь, и в темноте Каляеву показалось, что он узнает кучера Рудинкина, всегда возившего именно великого князя. Тогда, не колеблясь, Каляев бросился навстречу наперерез карете. Он уже поднял руку, чтобы бросить снаряд. Но, кроме великого князя Сергея, он неожиданно увидал еще великую княгиню Елизавету и детей великого князя Павла — Марию и Дмитрия. Он опустил свою бомбу и отошел. Карета остановилась у подъезда Большого театра.

Каляев прошел в Александровский сад. Подойдя ко мне, он сказал:

— Я думаю, что я поступил правильно, разве можно убить детей?..

От волнения он не мог продолжать. Он понимал, как много он своей властью поставил на карту, пропустив такой единственный для убийства случай: он не только рискнул собой, — он рискнул всей организацией. Его

могли арестовать с бомбой в руках у кареты, и тогда покушение откладывалось бы надолго. Я сказал ему, однако, что не только не осуждаю, но и высоко ценю его поступок. Тогда он предложил решить общий вопрос, вправе ли организация, убивая великого князя, убить его жену и племянников. Этот вопрос никогда не обсуждался нами, он даже не подымался. Каляев говорил, что если мы решим убить всю семью, то он, на обратном пути из театра, бросит бомбу в карету, не считаясь с тем, кто будет в ней находиться. Я высказал ему свое мнение: я не считал возможным такое убийство.

Во время нашего разговора к нам присоединился Куликовский. Он увидел со своего поста, как карета великого князя повернула на Каляева, но не услышал взрыва. Он думал поэтому, что покушение не удалось, и Каляев арестован.

Я высказал сомнение, был ли в карете великий князь, и не ошибся ли Каляев, приняв карету великой княгини за карету великого князя. Мы решили тут же проверить это. Каляев должен был пройти к тому месту, где останавливаются у Большого театра кареты, и посмотреть вблизи, какая именно из карет ждет у подъезда, и не ждут ли обе. Я должен был убедиться в театре, там ли великий князь.

Я подошел к кассе. Билеты все уже были проданы. Ко мне бросились перекупщики. Я сообразил, что в театре

я легко могу не заметить великого князя. Поэтому, не покупая билета, я спросил у перекупщиков:

— Великая княгиня в театре?

— Так точно-с. С четверть часа, как изволили прибыть.

— А великий князь?

— Вместе с ее высочеством приехали.

На улице меня ждали Каляев и Куликовский.

Каляев осмотрел стоявшие экипажи. Карета была одна, и именно великого князя. Великий князь был в театре с семьей.

Было все-таки решено дожждаться конца спектакля. Мы надеялись, что, быть может, великой княгине подадут ее карету, и великий князь уедет один.

Мы втроем отправились бродить по Москве и незаметно вышли на набережную Москвы-реки. Каляев шел рядом со мной, опустив голову и держа в одной руке бомбу. Куликовский шел следом, не сколько сзади нас. Вдруг шаги Куликовского смолкли. Я обернулся. Он стоял, опершись о гранитные перила. Мне показалось, что он сейчас упадет. Я подошел к нему. Увидев меня, он сказал:

— Возьмите бомбу. Я сейчас ее уроню.

Я взял у него снаряд. Он долго еще стоял, не двигаясь. Было видно, что у него нет сил.

К разъезду из театра Каляев, с бомбой в руках, подошел издали к карете великого князя. В карету сели опять великая княгиня и дети великого князя Павла. Каляев вернулся ко мне и передал мне свой снаряд. В 12 часов я встретился с Дорой и отдал ей обе бомбы. Она молча выслушала мой рассказ о случившемся. Окончив его, я спросил, считает ли она поступок Каляева и наше решение правильным.

Она опустила глаза.

— «Поэт» поступил так, как должен был поступить.

У Каляева и Куликовского паспортов не было. Оба они оставили их в своих вещах на вокзале. Квитанции от вещей были у меня. Возвращаться за паспортами было поздно, как поздно было уезжать из Москвы. Им приходилось ночевать на улице. Я был одет барином, англичанином, они крестьянами. Оба замерзли и устали, и Куликовский, казалось, едва держится на ногах. Я решил, несмотря на необычность их костюмов, рискнуть зайти с ними в ресторан: трактиры были уже закрыты.

Мы пришли в ресторан «Альпийская роза» на Софийке, и, действительно, швейцар не хотел нас пустить. Я вызвал распорядителя. После долгих переговоров нам отвели заднюю залу. Здесь было тепло и можно было сидеть.

Каляев скоро оживился и с волнением в голосе начал опять рассказывать сцену у думы. Он говорил, что

боялся, не совершил ли он преступления против организации, и что счастлив, что товарищи не осудили его. Куликовский молчал. Он как-то сразу осунулся и ослабел. Я и до сих пор не понимаю, как он провел остаток ночи на улице.

Около четырех часов утра, когда закрыли «Альпийскую розу», я попрощался с ними. Было решено, что мы предпримем покушение на этой же неделе. 2 февраля была среда. Моисеенко, наблюдая за великим князем, утверждал, что в последний раз он выехал в свою канцелярию в понедельник. Зная привычки великого князя, мы пришли к заключению, что 3, 4 или 5 февраля он непременно поедет в генерал-губернаторский дом на Тверской. Третьего, на следующий день после неудачи, нечего было и думать приступить к покушению: Каляев и Куликовский, очевидно, не могли положиться вполне на свои силы. Покушение откладывалось на четвертое или пятое. Утром, третьего, Каляев и Куликовский должны были уехать из Москвы и вернуться днем четвертого. Это давало им возможность отдохнуть. Мы тогда же, заранее, чтобы не стеснять себя временем в день покушения, назначили место и час для передачи снарядов.

Дора Бриллиант вынула запалы из бомб. Ей приходилось их снова вставить обратно. Четвертого, в пятницу, в час дня я опять пришел на Никольскую, к

подъезду «Славянского Базара», и она опять передала мне, как и прежде, завернутые в плед бомбы.

Я сел в сани Моисеенко, но не успели мы отъехать несколько шагов, как он, обернувшись ко мне, спросил:

— Видели «Поэта»?

— Да.

— Ну, что он?...

— Как что? Ничего.

— А я вот видел Куликовского.

— Ну?

— Очень плохо.

Он тут же на козлах рассказал мне, что Куликовский, приехав утром 8 Москву и увидевшись с ним, сообщил ему, что он не может принять участия в покушении. Куликовский говорил, что переоценил свои силы и видит теперь, после 2 февраля, что не может работать в терроре. Моисеенко без комментариев передал мне об этом.

Положение мне показалось трудным. Нужно было выбирать одно из двух: либо вместо Куликовского принять участие в покушении мне или Моисеенко, либо устроить покушение с одним метальщиком, Каляевым.

Моисеенко был извозчик. Его арест повлек бы за собой открытие полицией приемов нашего наблюдения. Я имел английский паспорт. Мой арест отразился бы на судьбе того англичанина, который дал мне его,

инженера Джемса Галлея. Значит, наше участие не могло быть немедленным, и приходилось откладывать покушение до продажи Моисеенкой лошади и саней или до перемены мной паспорта. Значит, Дора должна была еще раз вынуть из бомб запалы и снова вставить их. Помня смерть Покотилова, я опасался учащать случаи снаряжения бомб.

С другой стороны, покушение с одним метальщиком, Каляевым, казалось мне рискованным. Маршрут великого князя был известен в точности: он ездил всегда через Никольские и Иверские ворота по Тверской к своему дому на площади. Но я опасался, что один метальщик может только ранить великого князя. Тогда покушение надо было бы признать неудачным.

Решение необходимо было принять тут же, в санях, потому что Каляев ждал меня недалеко, в Юшковом переулке. Куликовский за бомбой не явился. Вечером того же дня он уехал и через несколько месяцев был арестован в Москве. Он бежал из Пречистенской полицейской части, где содержался, и 28 июня 1905 года, разыскиваемый по всей России, открыто явился на прием к московскому градоначальнику, гр[афу] Шувалову, и застрелил его. За это убийство московским военно-окружным судом он был приговорен к смертной казни. Казнь ему была заменена бессрочной каторгой. Таким образом, его нерешительность в деле великого князя Сергея еще не доказывала, как он думал, что он не в силах работать в терроре.

Подъезжая к Каляеву, я склонился в пользу первого решения, и когда он сел ко мне в сани, я, рассказав ему об отказе Куликовского, предложил отложить дело. Каляев заволновался:

— Ни в коем случае... Нельзя Дору еще раз подвергать опасности... Я все беру на себя.

Я указывал ему на недостаточность сил одного метальщика, на возможность неудачи, случайного взрыва, случайного ареста, но он не хотел меня слушать.

— Ты говоришь, мало одного метальщика? А позавчера разве было нас двое? Я в одном месте, Куликовский — в другом. Где же резерв?.. Почему же сегодня нельзя?

Я отвечал ему, что у нас динамита всего на две бомбы, что 2 февраля мы, по необходимости, должны были расставить метальщиков в двух местах, ибо маршрут великого князя в театр был неизвестен, что сегодня такого положения нет, что правильнее не рисковать, а, выждав несколько дней, устроить покушение с двумя метальщиками.

Каляев в ответ на это сказал:

— Неужели ты мне не веришь? Я говорю тебе, что справлюсь один.

Я знал Каляева. Я знал, что никто из нас не может так уверенно поручиться за себя, как он. Я знал, что он бросит бомбу, только добежав до самой кареты, не

раньше, и что он сохранит хладнокровие. Но я боялся случайности. Я сказал:

— Послушай, Янек, двое все-таки лучше, чем один... Представь себе твою неудачу. Что тогда делать?

Он сказал:

— Неудачи у меня быть не может.

Его уверенность поколебала меня. Он продолжал:

— Если великий князь поедет, я убью его. Будь спокоен.

В это время с козел к нам обернулся Моисеенко.

— Решайте скорее. Пора.

Я принял решение: Каляев шел на великого князя один.

Мы слезли с саней и пошли вдвоем по Ильинке к Красной площади. Когда мы подходили к гостиному двору, на башне в Кремле часы пробили два. Каляев остановился.

— Прощай, Янек.

— Прощай.

Он поцеловал меня и свернул направо к Никольским воротам. Я прошел через Спасскую башню в Кремль и остановился у памятника Александра II. С этого места был виден дворец великого князя. У ворот стояла карета. Я узнал кучера Рудинкина. Я понял, что великий князь скоро поедет к себе в канцелярию.

Я прошёл мимо дворца и кареты и через Никольские ворота вышел на Тверскую. У меня было назначено свидание с Дорой Бриллиант на Кузнецком Мосту в кондитерской Сиу. Я торопился на это свидание, чтобы успеть вернуться в Кремль к моменту взрыва. Когда я вышел на Кузнецкий Мост, я услышал отдаленный глухой звук, как-будто кто-то в переулке выстрелил из револьвера. Я не обратил на него внимания, до такой степени этот звук был непохож на гул взрыва. В кондитерской я застал Дору. Мы вышли с ней на Тверскую и пошли вниз к Кремлю. Внизу у Иверской нам навстречу попался мальчишка, который бежал без шапки и кричал:

— Великого князя убило, голову оторвало.

По направлению к Кремлю бежали люди. У Никольских ворот была такая толпа, что не было возможности пробиться в Кремль. Мы с Дорой остановились. Вдруг я услышал:

— Вот, барин, извозчик.

Я обернулся. Моисеенко, бледный, предлагал нам сесть в его сани. Мы медленно поехали прочь от Кремля. Моисеенко спросил:

— Слышали?

— Нет.

— Я здесь стоял и слышал взрыв. Великий князь убит.

В ту же минуту Дора наклонилась ко мне и, не в силах более удерживать слезы, зарыдала. Все ее тело сотрясали глухие рыдания. Я старался ее успокоить, но она плакала еще громче и повторяла:

— Это мы его убили... Я его убила... Я...

— Кого? — переспросил я, думая, что она говорит о Каляеве.

— Великого князя.

VI

Каляев, простившись со мной, прошел, по условию, к иконе Иверской божией матери. Он давно, еще раньше, заметил, что на углу прибита в рамке из стекла лубочная патриотическая картина. В стекле этой картины, как в зеркале, отражался путь от Никольских ворот к иконе. Таким образом, стоя спиной к Кремлю и рассматривая картину, можно было заметить выезд великого князя. По условию, постояв здесь, Каляев, одетый, как и 2 февраля, в крестьянское платье, должен был медленно пройти навстречу великому князю, в Кремль. Здесь он, вероятно, увидел то, что увидел я, т. е. поданную к подъезду карету и кучера Рудинкина на козлах. Он, считая по времени, успел еще вернуться к Иверской и повернуть обратно мимо Исторического музея через Никольские ворота в Кремль, к зданию суда. У здания суда он встретил великого князя.

"Против всех моих забот, — пишет он в одном из писем к товарищам, — я остался 4 февраля жив. Я бросал на расстоянии четырех шагов, не более, с разбега, в упор, я был захвачен вихрем взрыва, видел, как разрывалась карета. После того, как облако рассеялось, я оказался у остатков задних колес. Помню, в меня пахнуло дымом и щепками прямо в лицо, сорвало шапку. Я не упал, а только отвернул лицо. Потом увидел шагах в пяти от себя, ближе к воротам, комья великокняжеской одежды и обнаженное тело... Шагах в десяти за каретой лежала моя шапка, я подошел, поднял ее и надел. Я огляделся. Вся поддевка моя была истыкана кусками дерева, висели клочья, и она вся обгорела. С лица обильно лилась кровь, и я понял, что мне не уйти, хотя было несколько долгих мгновений, когда никого не было вокруг. Я пошел... В это время послышалось сзади: "держи, держи", — на меня чуть не наехали сыщицьи сани, и чьи-то руки овладели мной. Я не сопротивлялся. Вокруг меня засуетились городской, околоток и сыщик противный... "Смотрите, нет ли револьвера, ах, слава богу, и как это меня не убило, ведь мы были тут же", — проговорил, дрожа, этот охранник. Я пожалел, что не могу пустить пулю в этого доблестного труса.

— "Чего вы держите, не убегу, я свое дело сделал", — сказал я... (я понял тут, что я оглушен). "Давайте извозчика, давайте карету". Мы поехали через Кремль на извозчике, и я задумал кричать: "Долой проклятого царя, да здравствует свобода, долой проклятое правительство, да здравствует партия социалистов-революционеров!" Меня привезли в городской участок... Я вошел твердыми шагами. Было страшно противно

среди этих жалких трусишек... И я был дерзок, издевался над ними. Меня перевезли в Якиманскую часть, в арестный дом. Я заснул крепким сном..."

Событию 4 февраля посвящена статья в N 60 «Революционной России». Самое событие со слов очевидца представляется в таком виде:

"Взрыв бомбы произошел приблизительно в 2 часа 45 минут. Он был слышен в отдаленных частях Москвы. Особенно сильный переполох произошел в здании суда. Заседания шли во многих местах, канцелярии все работали, когда произошел взрыв. Многие подумали, что это землетрясение, другие, что рушится старое здание суда. Все окна по фасаду были выбиты, судьи, канцеляристы попадали со своих мест. Когда через десять минут пришли в себя и догадались, в чем дело, то многие бросились из здания суда к месту взрыва. На месте казни лежала бесформенная куча, вышиной вершков в десять, состоявшая из мелких частей кареты, одежды и изуродованного тела. Публика, человек тридцать, сбегавшихся первыми, осматривала следы разрушения; некоторые пробовали высвободить из под обломков труп. Зрелище было подавляющее. Головы не оказалось, из других частей можно было разобрать только руку и часть ноги. В это время выскочила Елизавета Федоровна в ротонде, но без шляпы, и бросилась к бесформенной куче. Все стояли в шапках. Княгиня это заметила. Она бросалась от одного к другому и кричала: "Как вам не стыдно, что вы здесь смотрите, уходите отсюда". Лакей обратился к публике с

просьбой снять шапки, но ничто на толпу не действовало, никто шапки не снимал и не уходил. Полиция же это время, минут тридцать, бездействовала, — заметна была полная растерянность. Товарищ прокурора судебной палаты, безучастно и растерянно, крадучись, прошел из здания мимо толпы через площадь, потом раза два на извозчике появлялся и опять исчезал. Уже очень скоро появились солдаты и оцепили место происшествия, отодвинув публику".

Официальный источник так описывает смерть великого князя:

"4 февраля 1905 года в Москве, в то время, когда великий князь Сергей Александрович проезжал а карете из Никольского дворца на Тверскую, на Сенатской площади, в расстоянии 65 шагов от Никольских ворот, неизвестный злоумышленник бросил в карету его высочества бомбу. Взрывом, происшедшим от разорвавшейся бомбы, великий князь был убит на месте, а сидевшему на козлах кучеру Андрею Рудинкину были причинены многочисленные тяжкие телесные повреждения. Тело великого князя оказалось обезображенным, причем голова, шея, верхняя часть груди с левым плечом и рукой, были оторваны к совершенно разрушены, левая нога переломлена, с раздроблением бедра, от которого отделилась нижняя его часть, голень и стопа. Силой произведенного злоумышленником взрыва кузов кареты, в которой следовал великий князь, был расщеплен на мелкие куски, и кроме того были выбиты стекла наружных рам ближайшей к Никольским воротам части зданий судебных

установлений и расположенного против этого здания арсенала".

Из Якиманской части Каляева перевели в Бутырскую тюрьму, в Пугачевскую башню. Через несколько дней его посетила жена убитого им Сергея Александровича, великая княгиня Елизавета Федоровна.

"Мы смотрели друг на друга, — писал об этом свидании Каляев, — не скрою, с некоторым мистическим чувством, как двое смертных, которые остались в живых. Я — случайно, она — по воле организации, по моей воле, так как организация и я обдуманно стремились избежать излишнего кровопролития.

И я, глядя на великую княгиню, не мог не видеть на ее лице благодарности, если не мне, то во всяком случае судьбе, за то, что она не погибла.

— Я прошу вас, возьмите от меня на память иконку. Я буду молиться за вас.

И я взял иконку.

Это было для меня символом признания с ее стороны моей победы, символом ее благодарности судьбе за сохранение ее жизни и покаяния ее совести за преступления великого князя.

— Моя совесть чиста, — повторил я, — мне очень больно, что я причинил вам горе, но я действовал сознательно, и если бы у

меня была тысяча жизней, я отдал бы всю тысячу, не только одну.

Великая княгиня встала, чтобы уйти. Я также встал. "Прощайте, — сказал я. — Повторяю, мне очень больно, что я причинил вам горе, но я исполнил свой долг, и я его исполню до конца и вынесу все, что мне предстоит. Прощайте, потому что мы с вами больше не увидимся".

Свидание это впоследствии было передано в печати в неверном и тенденциозном освещении, и эта передача доставила Каляеву много тяжелых минут. Впоследствии, в письме от 24 марта, он писал великой княгине:

"Я не звал вас, вы сами пришли ко мне: следовательно, вся ответственность за последствия свидания падает на вас. Наше свидание произошло, по крайней мере, с наружной стороны, при интимной обстановке. Все то, что произошло между нами обоими, не подлежало опубликованию, как нам одним принадлежащее. Мы с вами сошлись на нейтральной почве, по вашему же определению, как человек с человеком, и, следовательно, пользовались одинаковым правом инкогнито. Иначе как понимать бескорыстие вашего христианского чувства? Я доверился вашему благородству, полагая, что ваше официальное высокое положение, ваше личное достоинство могут служить гарантией, достаточной против клеветнической интриги, в которую так или иначе были замешаны и вы. Но вы не побоялись оказаться замешанной в нее: мое доверие к вам

не оправдалось. Клеветническая интрига и тенденциозное изображение нашего свидания налицо. Спрашивается: могло ли бы произойти и то, и другое помимо вашего участия, хотя бы пассивного, в форме непротивления, обратное действие которому было обязанностью вашей чести. Ответ дан самим вопросом, и я решительно протестую против приложения политической мерки к доброму чувству моего снисхождения к вашему горю. Мои убеждения и мое отношение к царствующему дому остаются неизменными, и я ничего общего не имею какой-либо стороной моего "я" с религиозным суеверием рабов и их лицемерных владык.

Я вполне сознаю свою ошибку: мне следовало отнестись к вам безучастно и не вступать в разговор. Но я поступил с вами мягче, на время свидания затаив в себе ту ненависть, с какой, естественно, я отношусь к вам. Вы знаете теперь, какие побуждения руководили мной. Но вы оказались недостойной моего великодушия. Ведь для меня несомненно, что это вы — источник всех сообщений обо мне, ибо кто же бы осмелился передавать содержание нашего разговора с вами, не спросив у нас на то позволения (в газетной передаче оно исковеркано: я не объявлял себя верующим, я не выражал какого-либо раскаяния)".

Это резкое письмо не могло не повлиять на судьбу Каляева. Он написал товарищам следующие письма:

"Мои дорогие друзья и незабвенные товарищи, вы знаете, я делал все, что мог для того, чтобы 4 февраля достигнуть

победы. И я — в пределах моего личного самочувствия — счастлив сознанием, что выполнил долг, лежавший на всей истекающей кровью России.

Вы знаете мои убеждения и силу моих чувств, и пусть никто не скорбит о моей смерти. Я отдал всего себя делу борьбы за свободу рабочего народа, с моей стороны не может быть и намека на какую-либо уступку самодержавию, и если в результате всех стремлений моей жизни я оказался достойным высоты общечеловеческого протеста против насилия, то пусть и смерть моя венчает мое дело чистотой идеи. Умереть за убеждения — значит звать на борьбу, и каких бы жертв ни стоила ликвидации самодержавия, я твердо уверен, что наше поколение кончит с ним навсегда...

Это будет великим торжеством социализма, когда перед русским народом откроется простор новой жизни, как и перед всеми, кто испытывает тот же вековой гнет царского насилия.

Всем сердцем моим с вами, мои милые, дорогие, незабвенные. Вы были мне поддержкой в трудные минуты, с вами я всегда разделял все ваши и наши радости и тревоги, и если когда-нибудь, на вершине общенародного ликования, вы вспомните меня, то пусть будет для вас весь мой труд революционера выражением моей восторженной любви к народу и горделивого уважения к вам; примите его, как дань моей искренней привязанности к партии, как носительнице заветов "Народной Воли" во всей их широте.

Вся жизнь мне лишь чудится сказкой, как-будто все то, что случилось со мной, жило с ранних лет в моем предчувствии и зрело в тайниках сердца для того, чтобы вдруг излиться пламенем ненависти и мести за всех.

Хотелось бы многих близких моему сердцу и бесконечно дорогих назвать в последний раз по имени, но пусть мой последний вздох будет для них моим прощальным приветом и бодрым призывом к борьбе за свободу.

Обнимаю и целую вас всех.

Ваш *И. Каляев*".

"Прощайте, мои дорогие, мои незабвенные. Вы меня просили не торопиться умирать, и, действительно, не торопятся меня убивать. С тех пор, как я попал за решетку, у меня не было ни одной минуты желания как-нибудь сохранить жизнь. Революция дала мне счастье, которое выше жизни, и вы понимаете, что моя смерть, это — только очень слабая моя благодарность ей. Я считаю свою смерть последним протестом против мира крови и слез и могу только сожалеть о том, что у меня есть только одна жизнь, которую я бросаю, как вызов, самодержавию. Я твердо надеюсь, что ваше поколение, с боевой организацией во главе, покончит с самодержавием.

Я хотел бы только, чтобы никто не подумал обо мне дурно, чтобы верил в искренность моих чувств и твердость моих убеждений до конца. Помилование я считал бы позором.

Простите, если в моем поведении вне партийных интересов были какие-либо неровности. Я пережил довольно острой муки по поводу нелепых слухов о свидании с великой княгиней, которыми меня растрavляли в тюрьме. Я думал, что я опозорен... Как только я получил возможность писать, я написал письмо великой княгине, считая ее виновницей сплетни. Потом, после суда, мне было неприятно, что я нарушил свою корректность к великой княгине... На суде я перешел в наступление не вследствие аффекта, а потому, что не видел другого смысла: судьи, и особенно председатель, — действительно мерзавцы, и мне просто противно открывать что-нибудь им из моей души, кроме ненависти. В кассационной жалобе я старался провести строго партийный взгляд, и думаю, что ничем не повредил интересам партии своими заявлениями на суде. Я заявил, что убийство великого князя есть обвинительный акт против правительства и царского дома. Поэтому в приговоре вставлено "дядя е[го] в[еличества]". Я написал в кассационной жалобе, что в деле против в[еликого] к[нязя] мне не было нужды действовать против личности его, как племянника, и потому заявил протест, имея в виду будущий процесс...

Обнимаю, целую вас. Верьте, что я всегда с вами до последнего издыхания. Еще раз прощайте.

Ваш И. Каляев".

В личном письме к одному из товарищей он, тревожась тенденциозной передачей в газетах своего свидания с великой княгиней, писал из тюрьмы:

"27/4. Мой дорогой, прости, если в чем-либо я произвел на тебя дурное впечатление. Мне очень тяжело подумать, что ты меня осудишь. Теперь, когда я стою у могилы, все кажется мне сходящимся для меня в одном, — в моей чести, как революционера, ибо в ней моя связь с Б. О. за гробом. В четырех стенах тюрьмы трудно ориентироваться в важном и неважном. Минутами мне кажется, что кто-нибудь злой оскорбит мой прах пасквилем. Тогда я хотел бы жить для того, чтобы мстить за мою идею. Но, — ты знаешь, — я кончил все земные счета. Я любил тебя, страдал и молился с тобой. Будь же ты защитой моей чести. Быть может, я бывал чересчур откровенен с людьми относительно своей души, но ты знаешь, что я не лицемер. В. Г. и всем нашим кланяйся. Прощай, мой дорогой, единственный друг. Будь счастлив! Будь счастлив!"

VII

Каляева судили в особом присутствии сената 5 апреля 1905 года. Защищали его присяжные поверенные Жданов и Мандельштам. Жданов близко знал Каляева еще по Вологде и сказал в защиту его одну из лучших речей в истории русских политических процессов. Но еще более замечательную речь сказал сам Каляев:

"Прежде всего, фактическая поправка: я — не подсудимый перед вами, я — ваш пленник. Мы — две воюющие стороны. Вы — представители императорского правительства, наемные

слуги капитала и насилия. — Я — один из народных мстителей, социалист и революционер. Нас разделяют горы трупов, сотни тысяч разбитых человеческих существований и целое море крови и слез, разлившееся по всей стране потоками ужаса и возмущения. Вы объявили войну народу, мы приняли вызов. Взяв меня в плен, вы теперь можете подвергнуть меня пытке медленного угасания, можете меня убить, но над моей личностью вам не дано суда. Как бы вы ни ухищрялись властвовать надо мной, здесь для вас не может быть оправдания, как не может быть для меня осуждения. Между нами не может быть почвы для примирения, как нет ее между самодержавием и народом. Мы все те же враги, и если вы, лишив меня свободы и гласного обращения к народу, устроили надо мной столь торжественное судилище, то это еще несколько не обязывает меня признать в вас моих судей. Пусть судит нас не закон, облеченный в сенаторский мундир, пусть судит нас не рабье свидетельство сословных представителей по назначению, не жандармская подлость. Пусть судит нас свободно и нелицеприятно выраженная народная совесть. Пусть судит нас эта великомученица истории — народная Россия.

Я убил великого князя, члена императорской фамилии, и я понимаю, если бы меня подвергли фамильному суду членов царствующего дома, как открытого врага династии. Это было бы грубо, и для XX века дико. Но это было бы, по крайней мере, откровенно. Но где же тот Пилат, который, не омыв еще рук своих от крови народной, послал вас сюда строить виселицу? Или, может быть, в сознании предоставленной вам

власти, вы овладели его тщедушной совестью настолько, что сами присвоили себе право судить именем лицемерного закона в его пользу? Так знайте же, я не признаю ни вас, ни вашего закона. Я не признаю централизованных государственных учреждений, в которых политическое лицемерие покрывает нравственную трусость правителей, и жестокая расправа творится именем оскорбленной человеческой совести, ради торжества насилия.

Но где ваша совесть? Где кончается ваша продажная исполнительность, и где начинается бессеребренность вашего убеждения, хотя бы враждебного моему? Ведь вы не только судите мой поступок, вы посягаете на его нравственную ценность. Дело 4 февраля вы не называете прямо убийством, вы именуете его преступлением, злодеянием. Вы дерзаете не только судить, но и осуждать. Что же вам дает это право? Не правда ли, благочестивые сановники, вы никого не убили, и опираетесь не только на штыки и закон, но и на аргумент нравственности? Подобно одному ученому профессору времен Наполеона III, вы готовы признать, что существуют две нравственности. Одна для обыкновенных смертных, которая гласит: "не убий", "не укради", а другая нравственность политическая, для правителей, которая им все разрешает. И вы, действительно, уверены, что вам все дозволено, и что нет суда над вами...

Но оглянитесь: всюду кровь и стоны. Война внешняя и война внутренняя. И тут, и там пришли в яростное столкновение два мира, непримиримо враждебные друг другу: бьющая ключом

жизнь и застой, цивилизация и варварство, насилие и свобода, самодержавие и народ. И вот результат: позор неслыханного поражения военной державы, финансовое и моральное банкротство государства, политическое разложение устоев монархии внутри, наряду с естественным развитием стремления к политической самостоятельности на так называемых окраинах, и повсюду всеобщее недовольство, рост оппозиционной партии, открытые возмущения рабочего народа, готовые перейти в затяжную революцию во имя социализма и свободы, и — на фоне всего этого — террористические акты... Что означают эти явления?

Это суд истории над вами. Это — волнение новой жизни, пробужденном долго накопленной грозой, это — отходная самодержавию... И революционеру наших дней не нужно быть утопистом-политиком для того, чтобы идеал своих мечтаний сводить с небес на землю. Он суммирует, приводит к одному знаменателю и облекает в плоть лишь то, что есть готового в настроениях жизни, и, бросая в ответ на вызов в бою свою ненависть, может смело крикнуть насилию: я обвиняю!

...Великий князь был одним из видных представителей и руководителей реакционной партии, господствующей в России. Партия эта мечтает о возвращении к мрачайшим временам Александра III, культ имени которого она исповедует. Деятельность, влияние великого князя Сергея тесно связаны со всем царствованием Николая II, от самого начала его. Ужасная ходынская катастрофа и роль в ней Сергея были вступлением в это злосчастное царствование.

Расследовавший еще тогда причины этой катастрофы граф Пален сказал, в виде заключения, что нельзя назначать безответственных лиц на ответственные посты. И вот боевая организация партии социалистов-революционеров должна была безответственного перед законом великого князя сделать ответственным перед народом.

Конечно, чтобы подпасть под революционную кару, великий князь Сергей должен был накопить и накопил бесчисленное количество преступлений перед народом. Деятельность его проявлялась на трех различных поприщах. Как московский генерал-губернатор, он оставил по себе такую память, которая заставляет бледнеть даже воспоминание о пресловутом Закревском^[4]. Полное пренебрежение к закону и безответственность великого князя сделали из Москвы, поистине, какое-то особое великокняжество. Преследование всех культурных начинаний, закрытие просветительных обществ, гонения на бедняков-евреев, опыты политического развращения рабочих, преследование всех протестующих против современного строя, — вот в какого рода деяниях выражалась роль убитого, как маленького самодержца Москвы. Во-вторых, как лицо, занимающее видное место в правительственном механизме, он был главой реакционной партии, вдохновителем всех репрессивных попыток, покровителем всех наиболее ярких и видных деятелей политики насильственного подавления всех народных и общественных движений. Еще Плеве заезжал к великому князю Сергею за советами перед своей знаменитой поездкой в Троицкую лавру, за которой последовала поездка на

усмирение полтавских и харьковских крестьян. Его другом был Сипягин, его ставленником был Боголепов, затем Зверев. Все политическое направление правительства отмечено его влиянием. Он боролся против слабой попытки смягчения железного режима Святополк-Мирским, объявляя, что "это — начало конца". Он провел на место Святополка своих ставленников — Булыгина и Трепова, роль которого в кровавых январских событиях слишком известна. Наконец, третье поприще его деятельности, где роль его была наиболее значительна, хотя и наименее известна: это — личное влияние на царя. "Дядя и друг государев" выступает здесь, как наиболее беспощадный и неуклонный представитель интересов династии".

Закончил Каляев свою речь такими словами:

"Мое предприятие окончилось успехом. И таким же успехом увенчается, несмотря на все препятствия, и деятельность всей партии, ставящей себе великие и исторические задачи. Я твердо верю в это, — я вижу грядущую свободу возрожденной к новой жизни трудовой, народной России.

И я рад, я горд возможностью умереть за нее с сознанием исполненного долга".

В 3 часа дня Каляеву был вынесен приговор: смертная казнь.

"Я счастлив вашим приговором, — сказал он судьям, — надеюсь, что вы решитесь его исполнить надо мной так же открыто и всенародно, как я исполнил приговор партии социалистов—революционеров. Учитесь смотреть прямо в глаза надвигающейся революции".

Каляев подал кассационную жалобу. Ее поддерживал в сенате присяжный поверенный В. В. Беренштам.

В ней Каляев писал:

"Я родился^[5] от матери польки и вырос в Варшаве, но всегда чувствовал себя русским. Отец мой происходил из крепостных крестьян Рязанской губ[ернии], и от него я перенял любовь к русскому народу. Из гимназии, единственной русской в Варшаве, я вынес какую-то романтическую любовь к России и жажду служения ей во имя человечества. Но развивавшаяся во мне с ранних лет наблюдательность и склонность к анализу окружающей действительности рано приучили меня к критической оценке отечественных порядков. Мне было тяжело в атмосфере казенного патриотизма и национальной вражды, и вот почему я не поступил в варшавский университет, а уехал в Москву. Параллельно с развитием моих политических убеждений, шло развитие моих общественных симпатий. Мой отец служил околоточным надзирателем в варшавской полиции и впоследствии артельщиком в управлении завода В.Гантке. Это был человек честный, не брал взяток, и потому мы очень бедствовали. Братья мои выросли рабочими, и мне одному посчастливилось пробраться в университет. С юных лет я

свыкся с интересами труда и нуждою и стал вскоре убежденным социалистом. Я верил в свои силы, восторженно стремился к высшему образованию и имел честные намерения быть честным общественным деятелем, тружеником на пользу родному народу. Таким образом, я заявил себя впервые публично во время студенческого движения Петербургского университета в 1899 году. В результате я был исключен без права обратного поступления к выслан на два года под надзор полиции в Екатеринослав. Это было тяжелым ударом для меня, навсегда определившим мою судьбу. Живя в Екатеринославе, я работал в газетах, изучал хозяйственный быт России, был членом ревизионной комиссии в местном просветительном учреждении, но мне жаль было терять мои молодые годы. На все прошения принять меня в университет, даже по истечении срока надзора, я получил холодный отказ. Близость моя с революционными деятелями с[оциал]-д[емократии] и влияние народовольческой литературы указали мне выход из неопределенного положения человека, которому отказано в праве жить и развиваться. С тех пор я стал убежденным революционером. В декабре 1901 г. я принял участие в комитете партии с[оциал]-д[емократов] накануне декабрьской демонстрации. Демонстранты были рассеяны и изранены полицией. Я был готов ответить на это покушением на жизнь тогдашнего губернатора графа Келлера, который вообще буйствовал в губернии, но, будучи одинок, должен был оставить свое намерение. Террористические идеи глубоко запали мне в душу, и я искал их разрешения в действии. С жадной жаждой знания, с жадной такой деятельности, которая захватила бы меня всего, я уехал за границу, во Львов, где

поступил в университет, и, кроме того, занялся изучением революционной литературы. Там я определился окончательно. Дело Балмашева^[6] было как бы моим делом, но, имея связи с социал-демократами, я решил принять участие в нелегальной деятельности, с целью найти себе соратников для открытой революционной борьбы. Летом 1902 г., во время переезда из Львова в Берлин, я был арестован германской полицией, с революционными изданиями на пограничной таможне, и выдан русским властям. Этот эпизод несколько отклонил в сторону мои намерения и надолго отсрочил их осуществление. Выждав окончания этого неприятного для меня инцидента, я в октябре 1903 г. уехал за границу. С тех пор до последнего дня я искал случая выйти в качестве террориста. Мои непосредственные чувства в этом направлении, мои мысли о необходимости подобного рода действий питались вопиющими бедствиями, выпавшими на долю моей родины. За границей я испытал, с каким презрением все европейцы относятся к русскому, точно имя русского — позорное имя. И я не мог не прийти к заключению, что позор моей родины, это — чудовищная война внешняя и война внутренняя, этот открытый союз царского правительства с врагом народа — капитализмом — есть следствие той злостной политики, которая вытекает из вековых традиций самодержавия" (см. кассационную жалобу И.П. Каляева в сенат, "Былое" 1908 г., N 7).

В юридической части своей жалобы Каляев, исполняя свой долг, старался провести строго партийную точку зрения, как он делал это и на суде. Он коснулся вопроса

цареубийства и отношения партии к анархизму. В том и другом случае он не считал для себя возможным защищать свое личное мнение. Он писал:

"Если бы я имел в виду его величество, я сказал бы, что я действовал против его величества и не было бы мне надобности скрывать мою мысль в общей формуле "против императорского дома". Моя формула имеет ограничительное значение, и вовсе не касается в этом смысле его величества, как царствующего монарха. Моя партия, насколько я понимаю партийную политику, не ставила вопроса о личности его величества. В своем заявлении, как член партии, сознающий свой долг блюсти ее интересы, я также не высказывал лично от себя больше, чем это мне позволяла партийная дисциплина. Говоря о политике Александра III и т.д., я имел в виду не личность его величества, а партийную реакционную политику, в которой великие князья принимают самое невыгодное для его величества участие. Это я и высказал словами: "Если верно то, что такие министры, как Плеве, губят монархию, то еще с большим основанием можно сказать, что такие великие князья, как Сергей Александрович, губят престиж династии". В изъяснение настоящего заявления я считаю долгом подробнее развить свою мысль о том, что ни партия, ни я не могут быть признаны анархистами. Поэтому, во избежание неправильного толкования моих мыслей, я заявляю свой протест против включения формулы — "дядя его величества" — в окончательную форму приговора.

В государственном вопросе партия социалистов-революционеров стоит на точке зрения европейской социал-демократии, проповедующей участие рабочего народа в государственном управлении посредством выборов в парламент. Наша партия, как и социал-демократы, выставляет в настоящее время требование всеобщего избирательного права и очень далека от анархистского отрицания блага государственного народоуправления. Я могу указать на программу, опубликованную в одном из номеров "Революционной России", а также на заявление по случаю убийства Плеве, в котором она явно отграничивает себя от анархистов, повторяя заявление "Народной Воли".

Протест этот сенатом уважен не был, и в понедельник, 9 мая, Каляев был перевезен на полицейском пароходе из Петропавловской крепости в Шлиссельбург. В ночь на 10 мая, около 10 часов вечера, его посетил священник, о. Флоринский. Каляев сказал ему, что хотя он человек верующий, но обрядов не признает. Священник ушел. Во втором часу ночи, когда уже светало, Каляева вывели на двор, где чернела готовая виселица. На дворе находились представители сословий, администрация крепости, команда солдат и все свободные от службы унтер-офицеры. Каляев взошел на эшафот. Он был весь в черном, без пальто, в фетровой шляпе.

Стоя неподвижно на помосте, он выслушал приговор. К нему подошел священник с крестом. Он не поцеловал

креста и сказал:

— Я уже сказал вам, что я совершенно покончил с жизнью и приготовился к смерти.

Место священника занял палач Филиппов. Он набросил веревку и оттолкнул ногой табурет.

Похоронен Каляев за крепостною стеною, между валом, окаймляющим крепость со стороны озера, и Королевской башней.

1. [↑](#) В состав Центрального комитета входили в это время, если не ошибаюсь М. Р. Гоц, Е. Ф. Азеф, В. М. Чернов, А. И. Потапов, С. Н. Слётов, Н. И. Ракитников, М. Ф. Селюк, Е. К. Брешковская.
2. [↑](#) В этом «Листке» статья «Смерть В. К. фон-Плеве, впечатления и отклики» принадлежит Каляеву.
3. [↑](#) Жена Савинкова, урождённая Успенская.
4. [↑](#) в 1828—1831 г.г. — министр внутренних дел, прославился своей жестокостью при подавлении "холерных бунтов". — Ред.
5. [↑](#) в 1877 г.
6. [↑](#) С.В.Балмашев в 1902 г. убил министра внутренних дел Сипягина. — Ред.

Глава III. Боевая

организация

I

Вечером, 4 февраля, я уехал из Москвы в Петербург. Куликовский вышел из состава организации. Дора Бриллиант уехала в Харьков . Моисеенко, продав лошадь и сани, присоединился к ней.

В Петербурге я увидел Швейцера . Он подтвердил то, что раньше, в Москве, рассказывал Тютчев .

Петербургский отдел, ослабленный арестом Маркова и Басова и исчезновением Саши Белостоцкого, медленно собирал сведения о Трепове .

Наблюдение еще было далеко не закончено, и убить Трепова не было никакой возможности. Зато Швейцер имел сведения о выездах Великого князя Владимира Александровича . Сведения эти были проверены наблюдением, и Швейцер решил сосредоточить все

силы на этом неожиданно новом деле. Он сообщил мне о своем решении, и я одобрил его. Тогда же Швейцер рассказал мне о положении дел в Киеве.

Боришанский и супруги Казак к концу января установили выезды Клейгельса и решили приступить к покушению. Супруги Казак, по причинам, мне не известным, участия в нем не приняли. Боришанский остался один. Он сам зарядил свою бомбу и вышел с ней на Крещатик. Он ждал там около часа, но Клейгельс не появлялся. Тогда он вернулся к себе в гостиницу. Впоследствии оказалось, что Клейгельс выехал на несколько минут позже, и, не уйдя Боришанский, генерал-губернатор был бы тогда же убит. Боришанский еще оставался в Киеве, но было мало надежды, что он справится один со своей задачей.

Несмотря на потерю Каляева, на неудачи Швейцера и на полное расстройство киевского отдела, боевая организация представляла собой в то время крупную силу. Убийство Плеве и затем убийство Сергея создали ей громадный престиж во всех слоях населения: правительство боялось ее, партия считала ее своим самым ценным учреждением. С другой стороны, реальные силы организации были для тайного общества, несомненно, очень велики. В ее рядах был такой даровитый и теперь уже опытный организатор, как Швейцер; самый кадр ее состоял из людей, хотя и слабых численностью, но испытанных и скрепленных между собой любовью к организации, долговременным

опытом и преданностью террору, таких людей, как Дора Бриллиант, Моисеенко, Дулебов, Боришанский, Ивановская, Леонтьева, Шиллеров и др. Денег было довольно, в кандидатах в боевую организацию тоже не было недостатка, наконец, — и это самое главное — мы были накануне нового, не менее крупного, чем дело Сергея, покушения, — покушения на великого князя Владимира. Можно с уверенностью сказать, что к этому времени организация окончательно окрепла, отлилась в твердую форму самостоятельного и подчиненного своим собственным законам отдельного целого, т. е. достигла того положения, к которому, естественно, стремится каждое тайное общество и которое единственно может гарантировать ему успех. Сознание этого основного успеха не покидало нас; в это время и Швейцер, несмотря на свои неудачи, твердо верил в будущее террора.

Убедившись, что в моем присутствии в Петербурге нет необходимости, я решил поехать в Женеву, чтобы посоветоваться с Гапоном и Азефом о дальнейших боевых предприятиях. Я попросил Ивановскую съездить к Моисеенко и Бриллиант в Харьков, сообщить им о моем отъезде и предложить подождать моего возвращения. Тогда же в Петербурге я в последний раз встретился с Татьяной Леонтьевой . Белокурая, стройная, со светлыми глазами, она по внешности напоминала светскую барышню, какою она и была на самом деле. Она жаловалась мне на свое

тяжелое положение: ей приходилось встречаться и быть любезной с людьми, которых она не только не уважала, но и считала своими врагами, — с важными чиновниками и гвардейскими офицерами, в том числе со знаменитым впоследствии усмирителем московского восстания, тогда еще полковником Семеновского полка Мином. Леонтьева, однако, выдерживала свою роль, скрывая даже от родителей свои революционные симпатии. Она появлялась на вечерах, ездила на балы и вообще всем своим поведением старалась на выделяться из барышень ее круга. Она рассчитывала таким путем приобрести необходимые нам знакомства. В этой трудной роли она проявила много ума, находчивости и такта, и, слушая ее, я не раз вспоминал о ней отзыв Каляева при первом его с ней знакомстве: «Эта девушка — настоящее золото».

Мы встретились с ней на улице и зашли в один из больших ресторанов на Морской. Рассказав мне о своей жизни и о своих планах, она робко спросила, как было устроено покушение на великого князя Сергея. В нескольких словах я рассказал ей нашу московскую жизнь и самый день 4 февраля, не называя, однако, имени Каляева. Когда я окончил, она, не подымая глаз, тихо сказала:

— Кто он?

Я промолчал.

— Поэт?

Я кивнул головой.

Она откинулась на спинку кресла и вдруг, как Дора 4 февраля, неожиданно зарыдала. Она мало знала Каляева и мало встречалась с ним, но и эти короткие встречи дали ей возможность в полной мере оценить его.

В Леонтьевой было много той сосредоточенной силы воли, которою была так богата Бриллиант. Обе они были одного и того же — «монашеского» — типа. Но Дора Бриллиант была печальнее и мрачнее; она не знала радости в жизни, смерть казалась ей заслуженной и долгожданной наградой. Леонтьева была моложе, радостнее и светлее. Она участвовала в терроре с тем чувством, которое жило в Сазонове, — *с радостным сознанием большой и светлой жертвы*. Я убежден, что, если бы ее судьба сложилась иначе, из нее выработалась бы одна из тех редких женщин, имена которых остаются в истории как символ активной женственной силы.

Перед самым отъездом из Петербурга я, тоже в последний раз, увиделся со Швейцером. Он был более молчалив, чем обыкновенно, и, как всегда, очень сдержан. Он подробно и долго расспрашивал меня о московском деле, желая знать все детали его и мое о них мнение. Он говорил, что постоянное изменение плана — то на царя, то на Муравьева, то на Трепова, то на великого князя Владимира, — как он убедился, мешает работе. Он говорил также, что решил готовить теперь только одно покушение — на великого князя

Владимира и что пока оно не удастся ему, он не уедет из Петербурга.

Случайно мы заговорили о 9 января и о Гапоне . Швейцер восхищался стойкостью петербургских рабочих и так же, как и Каляев, с убеждением говорил о неизбежном близком расцвете массового террора. Личность Гапона его глубоко интересовала, — он надеялся, что имя его всколыхнет всю трудовую Россию. Несколько раз он подчеркивал мне необходимость прочной связи партии с массами, но говорил, что задача боевой организации — от великих князей перейти к царю и убийством царя довершить дело центрального террора. При прощании он несколько изменил своей обычной сдержанности и, целуя меня, сказал:

— Поцелуйте от меня Валентина .

Швейцеру было всего 25 лет. Он не успел еще проявить все скрытые в нем возможности. Но уже и тогда были ярко заметны две черты его сурового характера: сильный, направленный прямо к цели практический ум и железная воля.

Он постоянно работал над собой и обещал в будущем занять исключительно крупное место в рядах террористов. Резко бросалась в глаза его любовь к техническим знаниям: химии, механике, электротехнике. Он не только следил за литературой по вопросам общественным, в свободные часы он изучал любимые им науки.

В партийной тактике он придавал решающее значение террору, но, мне кажется, из него мог бы выработаться первоклассный общепартийный организатор. Как и Леонтьева, он погиб слишком рано.

II

В середине февраля я выехал за границу через Эйдкунен, по паспорту Джемса Галлея. В Женеве я застал Азефа, Рутенберга и Гапона.

Азеф подробно расспрашивал меня о Киеве, Петербурге и Москве, о всех членах организации вместе и о каждом из них в отдельности. Он в общем остался доволен положением дел, так как не придавал большого значения киевской неудаче. В этом же разговоре он сообщил мне, что я кооптирован в члены центрального комитета, а также и то, что за границей есть несколько человек, желающих вступить в боевую организацию: Лев Иванович Зильберберг с женой Ксенией Ксенофоновной, урожденной Памфиловой, Маня Школьник и Арон Шпайзман. Первые двое и брат Азефа, Владимир, под руководством Бориса Григорьевича Виллита, химика по образованию, изготовляли динамит в нанятой ими вилле в Вильфранше, на юге Франции. Двое других жили в Женеве.

Я познакомился, по указанию Азефа, с Маней Школьник и с Ароном Шпайзманом. Школьник была

портниха. Шпайзман, кажется, переплетчик. Первой было года 22, второму лет 30. Оба были родом из маленьких местечек Западного края, оба судились осенью 1903 года по делу о тайной типографии и оба, по лишении всех прав состояния, были сосланы в Сибирь на поселение. Они бежали оттуда и теперь просили принять их в боевую организацию.

Маня Школьник была хрупкая девушка с бледным лицом. Она говорила с заметным еврейским акцентом и в разговоре сильно жестикулировала. В каждом слове ее и в каждом жесте сквозила фанатическая преданность революции. Особенно возбуждалась она, когда начинала говорить о тех унижениях и бедствиях, которые терпит рабочий класс. Она показалась мне агитатором по призванию, но и сила ее преданности террору не подлежала сомнению. Я поэтому не протестовал против ее вступления в организацию.

Арон Шпайзман был человек невысокого роста, с черными волосами и с черными еврейскими, печальными глазами. Он, как и Маня Школьник, был по темпераменту скорее агитатор, чем террорист, и до ссылки пользовался большою популярностью у рабочих.

Жили они оба очень бедно, с большим вниманием присматривались к западноевропейскому рабочему движению и терпеливо ждали отъезда в Россию.

Тогда же, в Женеве, я впервые увидел Гапона. Гапон получил от Рутенберга в России женевский адрес В. Г.О

.., но, не разыскав ее, явился к социал-демократам. Когда я встретил его, он был занят планом общепартийной конференции, которая, по его мнению, должна была положить начало объединению всех партий. Он громко высказывал сочувствие партии социалистов-революционеров, но одинаково поддерживал сношения и с социал-демократами, и с анархистами, и с «Союзом освобождения» и со всеми группами, представители которых находились в Женеве или в Париже.

Первое впечатление он произвел на меня скорее отрицательное. Он был без бороды, и я сразу заметил несоответствие между верхней частью его лица — красивым и умным лбом и живыми карими глазами — и нижнею челюстью с выдвинутым вперед подбородком. Первая встреча моя с ним тоже не оставила во мне хороших воспоминаний.

Я встретил его на rue de Caroude в квартире В. И. С. Очевидно, он знал уже о моем участии в московском деле. Поздоровавшись со мною, он взял меня под руку и отвел в другую комнату. Там он неожиданно поцеловал меня.

— Поздравляю.

Я удивился:

— С чем?

— С великим князем Сергеем.

Один только Гапон счел нужным «поздравить» меня с «великим князем».

Первое впечатление скоро рассеялось. Я был под обаянием 9 января, видел в Кровавом воскресенье зарю русской революции и, как ни скептически относился к революционной готовности масс, должен был признать значение и силу только что совершившегося исторического события. Гапон был для меня не просто бывший священник, отец Георгий, шедший во главе восставших рабочих, — я возлагал на него большие надежды. Он казался мне, по впечатлению 9 января, человеком необычайных дарований и воли, тем человеком, который, быть может, единственно способен овладеть сердцами рабочих. Это заблуждение разделяли со мною многие. Только Азеф и И. А. Рубанович сразу верно, т. е. невысоко, оценили Гапона.

Более близкое знакомство подтверждало предвзятое мнение об его дарованиях. У него был живой, быстрый, находчивый ум; прокламации, написанные им, при некоторой их грубости, показывали самобытность и силу стиля; наконец, и это самое главное, у него было большое, природное, бьющее в глаза ораторское дарование.

Я не слышал его петербургских речей и не могу судить о достоинствах их. Но однажды, на одном из гапоновских совещаний, при мне произошел такой случай.

Один из поволжских комитетов российской социал-демократической партии издал прокламацию, в которой о Гапоне грубо упоминалось, как о «нелепой фигуре

обнаглевшего попа». Прокламацию эту кто-то принес на совещание. Гапон прочел листок и внезапно преобразился. Он как будто стал выше ростом, глаза его загорелись. Он с силой ударил кулаком по столу и заговорил. Говорил он слова, не имевшие не только никакого значения, но не имевшие и большого смысла. Он грозил «стереть социал-демократов с лица земли», показав «всем рабочим лживость их и наглость», бранил Плеханова и произносил разные другие, не более убедительные фразы. Но не смысл его речи производил впечатление. Мне приходилось не раз слышать Бебеля, Жореса, Себастьяна Фора. Никогда и никто из них на моих глазах не овладевал так слушателями, как Гапон, и не на рабочей сходке, где говорить несравненно легче, а в маленькой комнате на немногочисленном совещании, произнося речь, состоящую почти только из одних угроз. У него был истинный ораторский талант, и, слушая его исполненные гнева слова, я понял, чем этот человек завоевал и подчинил себе массы.

Присматриваясь ближе к Гапону, я не заметил в нем большой и горячей любви к революции. Но впечатление от его личности оставалось неясное.

Передо мною был человек, несомненно рискнувший своею жизнью 9 января. Я склонялся поэтому к мысли, что ошибаюсь и не умею увидеть в Гапоне той преданности идее, которая есть у него в действительности.

Я слушал отзывы о Гапоне Рутенберга, тогда еще его друга. Эти отзывы ничего мне не разъясняли. Рутенберг характеризовал Гапона, как «бедного, запутавшегося в революции попа, искреннего и честного». Я думаю, что Рутенберг ошибался: Гапон подделывался под него и был с ним таким, каким хотел бы!

Гапон много говорил о необходимости основать «боевой комитет» — особое учреждение, которое бы ведало центральным и массовым террором. Он развивал идею террористического движения в крестьянстве и в своих планах встречал сочувствие со стороны многих товарищей, особенно со стороны Брешковской и кн. Д. А. Хилкова. Он вступил, после долгих переговоров, в партию ПСР, и в Россию нелегально ехать не собиравшись, ограничиваясь предсказаниями в близком будущем массовых вооруженных выступлений и призывом к их подготовке. Из партии он, впрочем, скоро вышел.

Рутенберг тоже сочувствовал планам Гапона. Он тоже считал необходимым немедленно приступить к вооружению народных масс. Общее настроение было в то время таково, что лишь немногие смели высказываться против такого образа действий. Это меньшинство указывало, что вооружение народа — задача неисполнимая, ибо ни одна партия не имеет достаточно сил для ее решения. А раз это так, то благоразумнее и в интересах революции выгоднее употребить назначенные для этого силы и средства на

развитие центрального террора . Центральный комитет в то время был очень многочислен. Решения принимались медленно и не всегда в полном составе комитета. Руководящую роль играли Азеф и Гоц . От них зависело многое.

Мнение партийного большинства одержало верх. Было решено учредить особую организацию в целях боевой подготовки масс. Дело это было поручено Рутенбергу, и в его распоряжение было предоставлено три кандидата в боевую организацию, — Александра Севастьянова, принимавшая участие еще в 1902 г. в томской типографии, Борис Горинсон, техник из Варшавы, рекомендованный К. М. Гершковичем, и Хаим Гершкович, рекомендованный Н. В. Чайковским . Рутенберг при их помощи и с теми лицами, которых он кооптировал бы в России, должен был положить начало боевой подготовке масс. Он должен был приготовить квартиры для складов оружия в Петербурге, изыскать возможность приобретения оружия в России, получить от армян, членов партии «Дашнакцутюн» транспорт бомб, нам ими уступленный, наконец, выяснить возможность экспроприации в арсеналах.

Предполагалось впоследствии, когда окрепнет организация в Петербурге, расширить деятельность ее на всю Россию. Дальнейшим шагом в этом направлении была экспедиция корабля «Джон Крафтон».

Рутенберг, Горинсон, Севастьянова и Гершкович уехали в Россию, Гапон уехал в Лондон по делам

издания своей «Автобиографии», за которую ему в Англии были обещаны большие деньги. Я уехал в Ниццу к Гоцу .

Гоц помимо блестящей эрудиции, большого ума и выдающегося организаторского дарования в высшей степени обладал еще одним качеством, чрезвычайно редким и снискавшим ему горячую привязанность всех тех, кто лично встречался с ним. У него была драгоценная способность не только узнавать, после немногих встреч, людей, но, индивидуализируя особенности каждого, входить в личное и партийное положение их. Он делал это с такой чуткостью и любовью, с таким исключительным знанием людей, что личное с ним знакомство давало громадную нравственную поддержку. Многие, в том числе Каляев, считали себя его учениками.

Гоц лежал больной. У нас сразу установились те мягкие, нежные и добрые отношения, секрет которых был только у Гоца и которые так редко встречаются у людей, объединенных общностью взглядов, но не симпатий и образа жизни. От него я впервые узнал о предполагаемой экспедиции упомянутого выше корабля «Джон Крафтон».

Член финской Партии «активного сопротивления» журналист Конни Зиллиакус сообщил центральному комитету, что через него поступило на русскую революцию пожертвование от американских миллионеров в размере миллиона франков, причем

американцы ставят условием, чтобы деньги эти, во-первых, пошли на вооружение народа и, во-вторых, были распределены между всеми революционными партиями без различия программ^[1].

Центральный комитет принял пожертвование на этих условиях, за вычетом 100 тысяч франков, которые деньгами поступили в боевую организацию.

На американские деньги решено было снарядить нагруженный оружием корабль, который должен был доставить свой груз революционным партиям, выгружая его постепенно на Прибалтийском побережье и в Финляндии. На имя норвежского купца в Англии был приобретен корабль «Джон Крафтон» . Он принял груз исключительно из оружия и взрывчатых веществ и с командой, главным образом из шведов, летом 1905 года ушел в море. На корабле находился, в качестве заведующего взрывчатыми веществами, упомянутый уже мною химик В. Г. Виллит . «Джон Крафтон» не выполнил своего назначения, Он сел на скалу у острова Кеми в Ботническом заливе и был взорван своей командой. Часть оружия была предварительно выгружена на острове и там впоследствии найдена пограничной стражей. Оружие это было в дни октябрьской забастовки отобрано финскими революционерами и роздано по рукам финским крестьянам.

Я не принимал никакого участия в снаряжении «Джона Крафтона» и знал об этой экспедиции только со

слов товарищей. Я не участвовал также в попытке боевой подготовки масс, если не считать моего присутствия на нескольких совещаниях и покупки мною в Антверпене в мае 1905 года транспорта револьверов, предназначенных для России.

Живя в Ницце и проводя большую часть времени у Гоца, я был несколько раз в Вильфранше, в химической лаборатории Виллита, Владимира Азефа и супругов Зильберберг, более известных в революционной среде под именем Серебровых.

Еще в Женеве из газет мы узнали о смерти Швейцера. Швейцер, под фамилией Артура Генри Мюр Мак-Куллона, погиб в ночь на 26 февраля 1905 г. в гостинице «Бристоль» в Петербурге такой же смертью, какой умер Покотилов 31 марта 1904 г. в «Северной гостинице». Он заряжал бомбы для покушения на великого князя Владимира Александровича.

По поводу его смерти в № 61 «Революционной России» появилась следующая заметка:

"В ночь на 26 февраля в С.-Петербурге в меблированных комнатах "Бристоль" погиб от случайного взрыва член боевой организации партии социалистов-революционеров".

Официальный документ так описывает смерть Швейцера:

"...В ночь на 26 февраля 1905 г. в г. Петербурге, в меблированных комнатах "Бристоль", помещающихся в д. № 39 - 12, на углу Морской и Вознесенского проспекта, произошел приблизительно часа в 4 утра взрыв в комнате № 27. Силой взрыва в означенном доме по фасаду, обращенному к Исаакиевскому скверу, во всех четырех этажах выбиты стекла в 36 окнах. Прилегающая часть Вознесенского проспекта (панель и часть мостовой) в беспорядке завалены досками, кусками мебели и разными вещами, выброшенными силой взрыва из разрушенных помещений. Часть этих вещей перекинуло через всю ширину проспекта (37 шагов) в Исаакиевский сквер, в котором на протяжении 16 шагов повалило даже чугунную решетку в трех пролетах. Взрывом произведено более или менее значительное разрушение в прилегающих к комнате № 27 номерах 25, 26 и 24-м, в коридоре, соединяющем эти номера, а также в прилегающем к № 27-му ресторане Мишеля. Заметное разрушение произвел взрыв в меблированных комнатах в третьем этаже, расположенных над комнатой № 27, а также в комнатах, расположенных в первом этаже.

Номер 27 носил следы полного разрушения; состоял он из комнаты, в 6 аршин 5 вершков вышины, с двумя окнами и дверью в коридор. Стены в этой комнате оказались частью разрушенными, частью выпученными наружу. Штукатурка потолка и карнизов растрескалась и местами обвалилась. В окнах все стекла и рамы выбиты и разрушены. Подоконник и часть рамы окна, ближайшего к ресторану Мишеля, обуглены, как равно и обои в этом месте. В амбразуре второго окна, на

штукатурке откосов и в остатках рамы имеются выбоины, а откос окна забрызган кровью. Печка частью разрушена. Пол комнаты сплошь покрыт обломками деревянной перегородки, отделявшей соседний номер, штукатурки и мебели. Металлическая кровать с двумя матрацами, стоявшая у капитальной стены, отделявшей ресторан Мишеля, в беспорядке и засыпана штукатуркой; на ней в скомканном виде лежали две подушки, две простыни, два байковых одеяла, номер газеты "Neue Freie Presses от 24 февраля и книги на французском языке. У капитальной стены, прилегающей к световому дворику, стояли комод и шкаф, от которых после взрыва остались только обломки задних стенок. У капитальной стены, выходящей на Вознесенский проспект, стояли: письменный стол, трюмо и этажерка, но от этих вещей не осталось даже следа. У капитальной стены в том месте, где находились комод и шкаф, на груде обломков досок и мебели, в расстоянии одного аршина от стены, лежал обезображенный труп мужчины. Голова его, обращенная к окнам, откинута назад, так что открыта шея, лицо обращено прямо к окнам. Туловище лежит спиной книзу. Грудная полость совершенно открыта спереди, в правой ее половине ничего нет, позвоночник в грудной и отчасти в брюшной полости открыт. Из левой половины грудной полости видны оба легкие. В связи с головой сохранились части плечевого пояса с прилегающими мышцами, а также руки без кистей и части предплечья. Брюшная полость совершенно разорвана; сердце было найдено среди обломков мышц в области левого плечевого сустава. Правая нога с частью таза лежит параллельно туловищу, на ней имеются остатки нижнего

белья. Левая нога с частью тазовой кости лежит на разрушенной стене, служившей перегородкой между 26 и 27 номерами. Части пальцев и мягких частей тела были найдены в Исаакиевском сквере. В комнате № 27 были найдены вещи, принадлежавшие погибшему от взрыва: иностранный паспорт на имя великобританского подданного Артура Генри Мюр Мак-Куллона и различные предметы, составляющие, по-видимому, части разорвавшегося снаряда. Эти последние были исследованы экспертом, который, на основании результатов исследования, дал следующее заключение: взорвавшийся снаряд был устроен так, что мог употребляться как метательный снаряд. Оболочка его была легкая, из жести, 0,3 мил. Разрывной заряд снаряда составлял магнизиальный динамит, приближающийся по силе к гремучему студню, наиболее сильному из нитроглицериновых препаратов. Взрыв произошел от взрывчатого вещества детонатора, помещенного в детонаторской трубке снаряда, по-видимому, гремучей ртути. Сам снаряд мог быть значительных размеров для ручного снаряда и допускал наполнение зарядом взрывчатого вещества в количестве 4 - 5 фунтов.

...Судя по расположению наиболее глубоких и обширных повреждений в области передней поверхности туловища и на нижнем отделе верхних конечностей, принимая во внимание расположение ожогов, следует полагать, что в момент взрыва покойный был обращен ближе всего передней и нижней частью туловища к снаряду; например, если он стоял у стола, на котором разорвался снаряд. Судя же по остаткам одежды на трупе, можно думать, что в момент взрыва покойный был одет

только в белье. Взрыв, по- видимому, произошел у окна, и силою взрыва тело Мак-Куллона было брошено на противоположную капитальную стену и вверх, где имеются обильные следы крови в виде мазков и брызг; оттуда, в силу тяжести, оно упало на место, где было найдено. Смерть наступила моментально (см. "Дело о покушении 16 лиц на жизнь генерала Трепова").

Максимилиан Ильич Швейцер родился 2 октября 1881 г. в Смоленске в зажиточной купеческой семье. В 1889 г. он поступил в смоленскую гимназию и уже учеником седьмого класса принял участие в революционной работе. По окончании курса в гимназии он в 1897 г. уехал в Москву, в университет, где слушал лекции на естественном отделении физико-математического факультета . В 1899 г. он был сослан по студенческому делу в Якутскую область, по возвращении откуда отбывал надзор у родителей в Смоленске. В ссылке его убеждения окончательно определились, и он тогда уже мечтал о поездке за границу для изучения химии взрывчатых веществ. Тогда же он примкнул к партии социалистов-революционеров. В 1903 г. он уехал за границу и вступил в боевую организацию, где и работал до своей смерти.

Сохранилось характерное письмо его к матери из Сибири. Родители его подали в 1902 г. прошение о помиловании его. Он был, конечно, против такого

прошения и ответил на него официальным отказом от всякого снисхождения, посланным им в департамент полиции.

Об этом отказе он и пишет в своем письме:

"Мача, 14 сентября 1902 г.

Дорогая мама.

Сегодня получил твое письмо от 13 августа, и очень, очень мне было больно читать его, больно было мне, во-первых, оттого, что ты меня так поняла, а во-вторых, и оттого, что я доставляю тебе столько горя. Напрасно ты думаешь, что я из-за холода позабыл тебя. Наоборот, теперь я еще более почувствовал, как ты мне дорога. Ни холода, ни многие годы не заставят меня позабыть тебя, но, как бы я тебя ни любил, как бы ни был привязан к тебе, иначе я поступить не мог. Я знал, что доставляю тебе своим поступком большое горе, и не недостаток мужества, как ты пишешь, было то, что я не известил тебя прямо об этом, а просто хотел, чтобы тебе сообщи ли это известие помягче.

Мне хотелось бы поговорить о наших отношениях, дорогая мама. Ты и папа меня горячо любите, хотите мне больше, чем кто-либо, добра. Я горячо люблю вас и привязан, только не умею проявлять эту любовь так, как другие, я тоже не хочу себе зла и желаю себе только хорошего. Казалось бы, между нами не может быть никаких разногласий, но дело в том, что добро-то мы понимаем различно. Вы выросли в одних условиях, я - в других. Вы желаете мне хорошую жену,

большое состояние, безмятежное семейное счастье, положение в обществе. Что касается меня, то я чувствовал бы себя несчастным от такой жизни. Я не мог бы прожить и один год, и я добро понимаю иначе, чем вы. Вот почему между нами так часто проходят облака, вот почему мне так часто приходится заставлять тебя страдать.

Мамочка, как ты не понимаешь, что то, что я делаю, доставляет мне удовлетворение. Это одно из условий счастья, и, раз ты мне желаешь добра, ты не должна горевать. Когда я послал прошение от 12 июля, у меня камень свалился с сердца и я почувствовал сильное облегчение, и если бы, благодаря твоему прошению о помиловании, меня вернули бы, в то время, как все мои товарищи оставались бы здесь, я бы не мог смотреть в глаза ни одному честному человеку и я чувствовал бы себя крайне несчастным. Не знаю, доставило ли бы тебе, мама, такое мое положение удовлетворение.

Я не касаюсь здесь общих вопросов, побудивших меня подать это прошение. Если, мама, я буду поступать во всем так, как ты лично хочешь, мне придется ломать себя. Будем же, мама, любить друг друга по-прежнему, и позволь мне, мама, жить так, как я хочу.

Лишь при последнем условии я могу быть счастлив, и ведь этого ты хочешь. Брось, мама, скверные мысли в сторону, 3 1/2 года - срок небольшой, пролетит быстро, и я вернусь к тебе таким же, как и раньше, только более старший и в разлуке более оценивший твою любовь ко мне и тебе самой.

Этот же случай тут только крепче свяжет нас друг с другом. До свидания, дорогая мама, целую тебя крепко, крепко. Твой горячо любящий тебя М.Швейцер".

В лице Швейцера боевая организация лишилась одного из наиболее ценных своих членов.

III

Узнав о смерти Швейцера и полагая, что смерть эта может губительно отразиться на всем петербургском отделе, я сказал Азефу, что, по моему мнению, нам обоим необходимо ехать немедленно в Петербург, Азеф был согласен со мной, но заявил, что ему нужно закончить сперва дела за границей. Я уехал к Гоцу, и в ожидании прошло недели две-три. В середине марта я неожиданно прочел во французской газете, что в Петербурге арестованы члены боевой организации. В числе названных фамилий была и моя. Как оказалось впоследствии, полиция, арестовав Моисеенко, приняла его за меня.

Вскоре выяснилось следующее:

16 и 17 марта в Петербурге и в Москве были арестованы извозчики — Агапов (Дулебов) и Борис Подвицкий и посыльный Трофимов, далее: Василий Шиллеров, Прасковья Волошенко-Ивановская, Борис Моисеенко, Сергей Барыков, Яков Загородний, Анна

Надеждина , Татьяна Леонтьева , Надежда Барыкова , Моисей Шнееров , Моисей Новомейский (Михаил Шергов) , Сура Эфрусси и Фейга Кац . Кроме того, на станции Малкин С.-Петербургско- Варшавской жел. дор. был задержан Боришанский, под фамилией Подновского.

У Боришанского и у Леонтьевой был найден динамит . Трофимов же при аресте оказал вооруженное сопротивление.

Смертью Швейцера и арестами 16 и 17 марта начинается новый период в истории боевой организации. Впоследствии она никогда уже не достигала такой силы и такого значения, какими пользовалась в промежутки времени от 15 июля 1904 г. до февраля 1905 г. Причины ее постепенного упадка были многочисленны, и одной из важнейших, тогда нам неизвестной, было появление в центральном комитете провокатора . Провокатор этот сумел почти на год остановить дело центрального террора.

30 июня 1905 г. в Петербурге был арестован и 20 августа за вооруженное сопротивление полиции казнен один из товарищей, уехавший вместе с Рутенбергом в Россию, — Хаим Гершкович . Рутенберг еще до его ареста вернулся за границу. Почти одновременно с ним приехал и член центрального комитета Тютчев . Они нам рассказали следующее.

После смерти Швейцера боевая организация в Петербурге осталась без руководителя. Члены ее, как и

можно было ожидать, решили дело не ликвидировать. Во главе организации стал коллектив, состоявший из Ивановской , Леонтьевой, недавно приехавшего в Петербург Барыкова и др. Не говоря уже о том, что коллективное начало в терроре нужно признать вредным, ибо оно предполагает многочисленные и долгие совещания, коллектив этот состоял из людей, для руководства организацией недостаточно опытных и, кроме того, сносился еще с Тютчевым, тоже незнакомым с техникой боевых предприятий.

Коллектив решил оставить покушение на великого князя и продолжать дело на Трепова . Я думаю, что, несмотря на несовершенство своего внутреннего устройства, на малочисленность наблюдающего состава (Подвицкий, Дулебов и Трофимов) и на отсутствие дисциплины, организация, поколебленная смертью Швейцера, вскоре все-таки встала бы на ноги. В ней было довольно людей смелых и энергичных, или прошедших школу дела Сергея (Моисеенко, Бриллиант), или участвовавших в покушении на Плеве (Ивановская, Дулебов). Вероятно, естественным путем руководство вскоре перешло бы к наиболее опытному лицу, тогда само собой восстановилась бы дисциплина и, конечно, улучшилось бы наблюдение. Кроме того, с приездом руководителя устранились бы и мелкие недостатки и, что всего важнее, появилась бы уверенность в своих силах. Упомянутый выше

провокатор в корне подрезал всякую возможность успеха.

В конце 1904 г. в Петербург вернулся из ссылки Николай Юрьевич Татаров . Бывший член польской социалистической партии, он основал в конце 90-х годов группу «Рабочее знамя» и был одним из наиболее видных нелегальных того периода. Он был арестован в феврале 1901 г. в Петербурге и, объявив в Петропавловской крепости голодовку, голодал 22 дня. После долгого тюремного заключения он был выслан в Восточную Сибирь на 5 лет. Ему было разрешено поселиться в Иркутске . Здесь он примкнул к партии социалистов-революционеров и поставил комитетскую типографию. Типография эта работала больше года и не была открыта полицией. Срок ссылки Татарову был сокращен.

Революционная репутация Татарова стояла высоко. Еще Гершуни имел его в виду как выдающегося революционера. Я знал Татарова по Варшаве, откуда он был родом, и затем встречался с ним в Петербурге в 1900—1901 гг. на работе, когда он был нелегальным. В один из своих приездов в Москву Тютчев спросил мое мнение о Татарове. Я дал самый лучший отзыв, и иного дать не мог: революционное прошлое Татарова не нуждалось в рекомендации, и сам он был человеком крупного ума и больших дарований.

По возвращении в Россию, Татаров был официально кооптирован в центральный комитет в Одессе. В

Петербурге, еще до своей кооптации, он часто бывал у Тютчева. Вскоре ему стало известно не только то, что Ивановская состоит членом боевой организации, но и адрес ее.

С этого момента боевая организация была в руках полиции, и арест ее был вопросом короткого времени.

Ни Гоц, ни Тютчев, ни члены боевой организации, конечно, ничего не знали о роли Татарова, большинство не знало даже, что он состоит в партии. Только значительно позже, когда было учреждено над ним следствие и еще после его смерти, вполне выяснилось, что он был одной из главных причин арестов 17 марта.

Тютчев, рассказывая о положении дел в Петербурге, даже не упоминал о Татарове. Ему, конечно, и в голову не приходило, что Татаров мог иметь какое-либо отношение к разгрому боевой организации, о котором «Московские ведомости» писали как о «Мукдене русской революции».

Но, рассказывая об арестах, Тютчев сообщил подробность, тогда оставшуюся необъясненной: дня за два до 17 марта к нему позвонил телефон, и чей-то малознакомый голос сказал: «Предупредите — все комнаты заражены». Затем телефон зазвонил отбой.

Тютчев немедленно предупредил о слышанном Ивановскую, но Ивановская, в те дни больная, не обратила на это предупреждение достаточного внимания.

Дальнейшая судьба лиц, арестованных 17 марта, была следующая. Обвинение, возникшее против Басова, Агапова (Дулебова), Подвицкого, Шиллерова, Волошенко-Ивановской, Моисеенко, Барыкова, Барыковой, Шнеерова, Загороднего, Надеждиной, Новомейского (Шергова), Эфрусси и Кац, было прекращено по манифесту 17 октября (указом от 21 октября), а обвинение по отношению к Леонтьевой — «за душевной болезнью», как сказано в официальном документе. Все они, кроме Агапова (Дулебова), страдавшего в Петропавловской крепости нервным расстройством, были освобождены. В боевую организацию из них вернулись лишь Моисеенко и Шиллеров. Загородний был арестован в декабре 1905 г. по делу о динамитной мастерской в Петербурге, и дальнейшая судьба его мне неизвестна. Эфрусси приняла участие в терроре много позже, в 1907 г. Агапов (Дулебов), нервное расстройство которого перешло в душевную болезнь, был переведен из крепости в больницу Николая-чудотворца. В ноябре — декабре 1905 г. мы сделали попытку освободить его из больницы, и Моисеенко вел с этой целью переговоры с одним из больничных врачей, Трошиным. Переговоры эти кончились неудачей, и Агапов, так и не открыв своего настоящего имени, умер в той же больнице в 1908 г. После него остался один мне известный документ — письмо, написанное им перед убийством уфимского губернатора Богдановича.

Вот оно:

"Товарищи, думаю, что мне не нужно объяснять вам, почему я иду убивать уфимского губернатора, думаю, что вы хорошо понимаете, что это необходимо. Нельзя допускать, чтобы нас давили, как рабов, нельзя допускать, чтобы нашу кровь проливали, как воду. А за свою свободу, за свое счастье мы должны сами бороться. Но я хочу, товарищи, сказать вам одно: я иду выполнить приговор боевой организации не потому, что не верю в рабочее движение, и сознаю, что если не будем наказывать разбойников и палачей народа, то падет дух и мы не будем двигаться вперед. Может быть, скажут, что я повредил рабочему движению своим поступком. Могу сказать, товарищи, вредить я не хотел, думал много над этим, чувствую и верю, что это нужно сделать, потому что за каждый мирный протест нас ожидает наглое издевательство. Выходя на демонстрацию, не поспеем поднять знамя, как на нас сейчас же налетают озверелые казаки, жандармы и шпионы, и начинается дикая расправа: бьют нагайками, бьют шашками, топчут лошадьми, увозя в участок, нагло издеваются над личностью демонстрантов. Кто виноват во всех этих зверствах? Наши министры, генерал-губернаторы и губернаторы. И вот, я считаю счастьем, что на мою долю выпало отомстить этому извергу, уфимскому губернатору. По произволу его было пролито много крови златоустовских рабочих. А за проливаемую кровь должна течь кровь угнетателей. И вот я от всей души хочу принести своим братьям пользу и верю в это дело так же, как и в наше общее дело. Верю, что мы победим. Верю, что хищный коршун, т. е.

царское самодержавие, которое рвет на части русский народ, не долго еще будет пить нашу кровь. Боритесь же, товарищи. Боритесь за благо народа, за лучший мир, за святую свободу. Боритесь же, товарищи, не покладая оружия до тех пор, покуда не разлетится в прах русское самодержавие".

Идя на убийство Богдановича и оставляя это письмо, Дулебов не сомневался, что будет арестован и казнен. 6 мая он шестью выстрелами из браунинга застрелил в городском саду Богдановича и бежал.

Убийство было совершено им одним, вопреки следующему заявлению, напечатанному в № 24 «Революционной России»:

«13 марта 1903 года в Златоусте, по приказанию уфимского губернатора Н. М. Богдановича, войска стреляли в толпу забастовавших рабочих, не переставая преследовать залпами даже бегущих. Было убито наповал 28 человек, ранено около двухсот, из которых несколько десятков уже умерло от ран... Среди убитых и раненых оказалось немало случайных зрителей трагедии, женщин и маленьких детей...

6 мая, по постановлению боевой организации партии социалистов-революционеров, двумя ее членами убит уфимский губернатор Н. М. Богданович».

Егор Олимпиевич Дулебов родился в 1883 или в 1884 г. По происхождению крестьянин, он работал слесарем в железнодорожных мастерских в Уфе. Зимой

1901 года он вошел в революционный кружок рабочих, во главе которого стоял высланный тогда под надзор полиции в Уфу Егор Сергеевич Сазонов. От Сазонова он и получил первые уроки революционного социализма. Гершуни, организуя убийство Богдановича, выбрал его для исполнения акта. После 6 мая Дулебов перешел на нелегальное положение и скрывался в Екатеринбурге, Саратове и Баку. В Баку он работал в тайной типографии. С весны 1904 года, как я выше упоминал, он принял участие в деле Плеве. В боевой организации все товарищи относились к нему с большим уважением за его отвагу, преданность делу и практический опыт. Ближе всех он был, кроме Сазонова, с Каляевым, Ивановской и Дорой Бриллиант.

Татьяна Леонтьева, вскоре по выходе из Петропавловской крепости, уехала за границу, чтобы через Гоца отыскать боевую организацию. До меня и до Азефа дошло известие о ее желании снова работать. Мы высоко ценили Леонтьеву, но, не видя ее, не могли знать, на сколько она оправилась от своей болезни. Посоветовавшись с Азефом, я написал ей письмо, в котором просил ее пожить за границей, отдохнуть и поправиться. По поводу этого письма произошло печальное недоразумение. Леонтьева поняла мое письмо как отказ ей в работе, т. е. приписала мне то, чего я не только не думал, но и думать не мог: Леонтьева была всегда в моих глазах близким товарищем, и для меня был вопрос только в одном:

достаточно ли она отдохнула после болезни? Поняв мое письмо как отказ боевой организации, она примкнула к партии социалистов-революционеров-максималистов . В августе 1906 г. в Швейцарии, в Интерлакене, во время завтрака она выстрелила в старика, сидевшего за соседним с нею столом. Она стреляла в уверенности, что перед нею бывший министр внутренних дел П. Н. Дурново . Произошла ошибка: старик оказался не Дурново, а французом, по фамилии Мюллер.

Покушение это не было личным делом Леонтьевой. Оно было организовано максималистами, и ответственность за печальную ошибку не может ложиться на нее целиком. В марте 1907 г. Леонтьеву судили в Туне швейцарским судом и приговорили к четырем годам тюремного заключения.

Что касается остальных членов организации, арестованных по обвинению в приготовлении покушения на Трепова, то 21 ноября 1905 г. петербургский военно-окружной суд слушал дело о Подновском (Шевеле), Давыдове, Шиманове, Боришанском, Сидоренко (сыне полковника Трофимова) и Маркове и, признав их виновными, приговорил в каторжные работы: Маркова — на 4 года, Трофимова — на 10 лет; главный военный суд заменил десятилетнюю каторгу Трофимову пятнадцатилетней.

Суд не вынес ни одного смертного приговора. Это объясняется исключительно политическим моментом, «днями свобод»: реакция только готовилась к

наступлению. Если бы суд состоялся на два месяца раньше или позже, в сентябре или январе, нет сомнения, что Боришанский, Трофимов и Марков были бы казнены.

После ареста боевой организации на свободе осталась, как я уже упоминал, только Дора Бриллиант . Тютчев, не имевший на то полномочий, и Рутенберг, имевший полномочия исключительно по боевой подготовке масс, образовали вместе с ней комитет боевой организации. Комитет этот ни к каким действиям не приступал, и вскоре Рутенберг и Тютчев уехали за границу. Дора Бриллиант, оставив свой запас динамита в Полтаве, переехала в Юрьев, где и ожидала приезда кого-либо из нас, — меня или Азефа.

Таким образом, боевая организация в сущности перестала существовать. Был Азеф, была Дора Бриллиант, был я. Были также люди неиспытанные и малоизвестные: супруги Зильберберг , Рашель Лурье , Маня Школьник и Арон Шпайзман, но не было единого целого, связанного общей работой и одной и той же идеей, не было того, что было достигнуто ценой больших усилий и многих жертв. Предстояло восстановить организацию и закончить дело Трепова. Работы в лаборатории в Виллефранше приходили к концу. Нами было принято следующее решение:

С наличными силами организации, из которых было четыре женщины, мы не считали возможным приступить к покушению на Трепова. Поэтому я взял на

себя покушение на Клейгельса, давно признанное необходимым и окончившееся у Боришанского неудачей. В мое распоряжение поступали Зильберберг, Школьник и Шпайзман, причем Зильберберг не должен был принимать непосредственного участия в деле: организация была слаба, и в Зильберберге мы видели единственную ее крупную силу, единственного человека, способного впоследствии заменить нас. Школьник и Шпайзману, как евреям, было неудобно выступать с бомбой в руках в Петербурге. Наоборот, в Киеве их еврейское происхождение только могло подчеркнуть, что убийство генерал-губернатора вызвано отчасти еврейским погромом. Ксения Зильберберг и Рашель Лурье должны были хранить динамит на одесских лиманах. Азеф брал на себя более трудное: подбор людей для основного кадра боевой организации, того кадра, который должен был убить Трепова. Предполагалось действовать и в Киеве и в Петербурге прежним методом — путем уличного наблюдения. Шпайзман должен был торговать папиросами, Школьник — цветами.

Аресты 17 марта были поворотным пунктом в истории боевой организации.

IV

В мае 1905 г. я, по паспорту бельгийского подданного Рене Тока, через Волочиск выехал в Россию и в Харькове встретился с Зильбербергом. Дора Бриллиант

была в Юрьеве, Ксения Зильберберг и Рашель Лурье хранили динамит на лиманах, Шпайзман ждал меня в Вильно, Школьник — в Друскениках.

Начиная дело Клейгельса, я полагал, что оно не может представить серьезных затруднений, — при правильной постановке оно должно было окончиться верным и быстрым успехом, даже без непосредственного участия Зильберберга. Зильбербергу нужно было пройти школу террористического предприятия. С этой точки зрения его присутствие в Киеве было необходимо. Повидавшись с ним в Харькове и поручив ему съездить в Западный край за паспортными бланками, я уехал к Шпайзману в Вильно.

В Вильно я не нашел Шпайзмана . Несколько дней подряд я ждал его на условленной явке и, не дождавшись, пошел вопреки конспирации в гостиницу, где он должен был остановиться. В гостинице его не было. Я поехал в Друскеники, надеясь от Школьник узнать что-либо о Шпайзмани.

Школьник рассказала мне следующее: Шпайзман, как и все члены организации, перевозил динамит через границу под платьем. В Александрове, когда он стоял в таможенном зале, к нему подошел чиновник и неожиданно попросил его в отдельную комнату для подробного обыска. При обыске был найден динамит, зашитый пачками в холщовый мешок. Найден был также револьвер. На вопрос таможенного чиновника, что именно заключается в мешке, Шпайзман ответил,

что он фармацевт, везет с собой камфору и, не желая платить пошлину, скрыл ее на себе. Ему поверили, но пригласили жандармского офицера. Офицер, осмотрев динамит, тоже принял его за лекарство. Шпайзману предложили уплатить 60 р. пошлины, отобрали у него револьвер, составили протокол и отпустили. Из Александрова он приехал в Вильно, ждал меня несколько дней и, боясь обыска, уничтожил динамит. Не дождавшись меня, он уехал к Школьник в Друскеники. Накануне моего приезда он снова уехал в Вильно за деньгами. Мне этот рассказ не понравился. Не понравилось и уничтожение динамита, и самое происшествие на границе. Зная, с каким доверием относится к Шпайзману Школьник, я, ничего не сказав о своих впечатлениях, предложил ей дождаться его в Друскениках и потом вместе ехать в Киев ко мне.

В Киеве я сказал Шпайзману:

— Расскажите, что было с вами на границе?

Он смутился, но повторил рассказ Школьник.

— А как же вы объяснили, что у вас есть револьвер? — спросил я.

— Я сказал, что в России погром, что каждый человек имеет право самозащиты и что если я виновен в чем-либо, то только в том, что не имел надлежащего разрешения на хранение оружия.

— Вам поверили?

— Да, и отобрали револьвер.

Тон его речи был правдив. Кроме того, я не имел основания сомневаться в его словах, наоборот, за границей он произвел на меня впечатление, безусловно, правдивого человека. Я все-таки спросил:

— При вас был внутренний паспорт?

— Да.

— Его нашли?

Шпайзман почувствовал в моих словах недоверие. Он еще больше смутился.

— Нет, его не нашли. Заграничный паспорт отобрали у меня при входе в двери. Внутренний, тоже зеленого цвета, остался в кармане. При обыске я вынул его и положил на стол.

— И жандармы не посмотрели?

— Нет. Вероятно, они думали, что это мой заграничный паспорт.

Я верил Шпайзману, но история была все-таки странная. Особенно странно было то, что он уничтожил динамит. Я спросил его:

— Где вы уничтожили динамит?

— В Вильно.

— Почему?

— Я боялся, что от Александрова за мной следят, а переменить паспорт не мог; — другого у меня не было.

Я рассказал о происшествии Шпайзмана Зильбербергу. Зильберберг расспросил его со своей стороны и тоже поверил ему. Тем не менее, когда в Киев в мае приехал Азеф, я сообщил ему обо всем происшедшем.

Азеф покачал головой и сказал:

— А правда ли это?

Я сказал, что я Шпайзману верю, но что это происшествие само по себе настолько невероятно, что если бы рассказывал не Шпайзман, а кто-либо другой, то я бы не поверил ни одному слову.

Азеф опять покачал головой,

— А не испугался ли он? Не выбросил ли он динамит еще в Вене, а потом придумал всю эту историю? Я его расспрошу.

Азеф сам расспросил Шпайзмана. Впоследствии Шпайзман уже перед смертью, из тюрьмы, передавал нам, что история на границе верна от слова до слова.

Зильберберг вернулся с сотней паспортных бланков. Он их купил в городе Слониме. Я сделал паспорта для Школьник и Шпайзмана, и они, поселившись вместе, занялись уличной торговлей. Он продавал папиросы, она цветы. На Крещатике не воспрещалась торговля вразнос, и наблюдать было чрезвычайно удобно: нужно было только занять места недалеко от Институтской улицы, где находился дом генерал-губернатора. Я предложил Шпайзману торговать у Купеческого сада,

чтобы видеть Клейгельса, если он поедет на Подол на пароходную пристань. Школьник наблюдала правее Институтской, на углу Анненской, и не могла пропустить выезда в город или на вокзал. Регулярных выездов у Клейгельса быть не могло, и мы решили поэтому, выяснив его внешность, приступить к покушению в один из тех дней, когда он по обязанностям службы бывал в соборе, например, в царский день. По принятому нами плану, Школьник и Шпайзман должны были наблюдать с 9 утра до 12 часов дня и с 1 часа до 8 вечера. Трудно было предположить, что Клейгельс после восьми вечера может выезжать куда-либо, кроме театра. Нам же было известно из просмотренных за год газет, что в театрах он бывал исключительно редко.

Зильберберг и я тоже старались гулять по Крещатику, Вскоре нам обоим удалось увидеть Клейгельса. Он ехал в открытой коляске. Этим устранялась возможность ошибки при покушении.

Однажды в июне я, по обыкновению, бродил по Крещатику. Вдруг неожиданно я услышал за собой голос:

— Позвольте вас на минуту.

Я был уверен, что это филер. Кто же мог обратиться ко мне с такими словами? Я обернулся. Предо мной стоял Дыдынский.

Мы вошли с ним в кондитерскую, Там Дыдынский рассказал мне свою историю — как он вскрыл себе жилы в бане, как был арестован и отвезен в Киев. Кончил он просьбой принять его вновь в боевую организацию.

Я сказал:

— Слушайте, Дыдынский, неужели вы думаете, что товарищи теперь согласятся на это?

Он опустил голову.

Я продолжал:

— Я первый не соглашусь. В сущности, вы ведь совершили преступление против организации.

Тогда Дыдынский сказал:

— Я не могу жить. Я решил так или иначе убить Клейгельса. Я убью его один, если вы не поможете мне.

Я сказал ему, что мы, конечно, будем приветствовать убийство Клейгельса, кто бы его ни убил. Он спросил:

— А на суде могу я назвать себя членом боевой организации?

Я сказал:

— Слушайте, оставим это: вы не убьете Клейгельса. Не думайте больше о терроре: ведь не всякий обязан стрелять и бросать бомбы. Работайте лучше в мирной работе.

Дыдынский настаивал на своем. Он говорил, что пойдет на Клейгельса один, что он не нуждается в

помощи и не просит ее, что ему нужно одно: иметь право назвать себя на суде членом боевой организации. Он говорил также, что чувствует свою вину перед товарищами по делу Плеве и хочет ее загладить. В случае неудачного покушения он, по его словам, будет молчать на суде.

Выслушав его, я сказал:

— Мы вам ни позволить, ни запретить убить Клейгельса не можем. У вас есть револьвер, вы легко, как человек легальный и со связями в Киеве, можете добиться приема у генерал-губернатора, это ваше дело. Но помогать мы вам не будем, и встречаться с вами я не хочу. Если же вы убьете Клейгельса, можете назвать себя членом боевой организации. Еще скажу вам следующее: никаких приготовлений ваше покушение не требует — вы его можете совершить в любой день приема у Клейгельса. Даю вам срок три недели: если через три недели Клейгельс не будет убит, я буду считать, что вы сегодня ничего мне не говорили.

Через три недели Клейгельс не был убит. А еще через несколько дней я опять встретил Дыдынского на Крещатике. Он сделал вид, что не замечает меня.

V

Гуляя часто по Крещатику в те часы, когда Шпайзман и Школьник должны были наблюдать за Клейгельсом, я редко видел их на местах. Особенно редко бывал на

посту Шпайзман. Встречаясь с ними по вечерам, в Царском саду или где-нибудь в трактире, я не раз высказывал им свое удивление. Они объясняли свое отсутствие разными причинами: то Шпайзман был нездоров, то у Школьник болит голова от уличного шума и т. п. Мне казалось, однако, что они что-то от меня скрывают. То же самое впечатление было у Зильберберга, который часто присутствовал при наших встречах. Было странно, что наблюдение тянется уже месяц, а наблюдающие систематически — еще не видели Клейгельса, между тем, как Зильберберг и я, наблюдая случайно, уже встречали его. Эта загадочность и поведение Школьник не соответствовали моему представлению о ней, как о фанатике революции, как о человеке, который во имя террора готов на всякую жертву. Однажды я вызвал ее на свидание одну, без Шпайзмана, и откровенно высказал ей свое мнение: я сказал ей, что лучше бросить дело совсем, чем вести его таким образом. Когда я кончил, я увидел на глазах ее слезы. Сильно жестикулируя, она заговорила со своим типичным еврейским акцентом.

— Ну, хорошо... Я вам скажу все... Только бога ради пусть не знает Арон.

— В чем дело?

— Арон мне не позволяет.

— Следить?

Она закрыла глаза руками:

— Он не хочет, чтобы я бросила бомбу...

Для меня это было неожиданностью: я никогда не подозревал, что Шпайзман может по каким бы то ни было причинам противиться покушению. Я сказал:

— Но ведь не вы будете бросать бомбу, а он. Вы ведь будете только в резерве.

— Все равно. Он не хочет и этого.

Я тоже не хотел этого. Но выбора не было: нужно было идти либо Школьник, либо Зильбербергу. Кроме того, я надеялся, что Клейгельс будет убит первой бомбой: бомбы были сделаны Зильбербергом, и на Крещатике не было большого движения; ничто не могло помешать метальщику подбежать к коляске. Я сказал:

— А вы, — вы этого хотите?

Она подняла на меня свои заплаканные глаза.

— Вы спрашиваете. Как вы можете спрашивать?

Через несколько дней я сказал Шпайзману:

— Я вас не вижу на улице... Может быть, вы не хотите следить? — Он смутился.

— По правде сказать, я думаю не о Клейгельсе.

— А о ком?

— О Трепове.

— Но вы ведь знаете, — мы с вами уже говорили, — для дела Трепова нужна большая организация, а ее пока

нет, и, кроме того, вам, как еврею, неудобно выступать в Петербурге.

— Да... Но что же такое Клейгельс?

Я сказал ему, что он знал заранее, что будет участвовать в покушении именно на Клейгельса, и заранее соглашался на это, даже просил об этом. Я сказал также, что принуждать его мы, конечно, не можем, и что если он не хочет работать в Киеве, то организация вернет ему немедленно свободу действий.

Шпайзман смутился еще больше:

— Вы мне предлагаете уйти из организации?

— Нет, я только не хочу вас принуждать.

Он поколебался минуту.

— Хорошо. Я иду на Клейгельса.

Такие разговоры начали возбуждать во мне сомнение в успехе дела. Я знал от Школьник, что Шпайзман продолжает уговаривать ее не следить и что дело доходит даже до того, что он силой готов ей мешать работать. Я рассказал обо всем Азефу, с которым встретился в конце июня в Харькове.

— Ну, значит, ничего из покушения не выйдет, — сказал он, подумав. — Лучше ликвидировать дело.

Я советовал подождать еще до 15 июля, дня св. Владимира, и 30 — рождение наследника. Была надежда, что в эти дни Клейгельс поедет в собор. Азеф не протестовал. Вернувшись в Киев, я, на свидании,

прямо поставил Школьник и Шпайзману вопрос, желают ли они участвовать в покушении на Клейгельса 15 или 30 июля.

Шпайзман сказал:

— Но мы еще не видели Клейгельса.

Я ответил, что времени довольно, и они, наблюдая, успеют увидеть его. Тогда Шпайзман сказал:

— Я бы предпочел Трепова.

Но Школьник перебила его:

— Мы решили Клейгельса и пойдем на него.

Я видел, что Шпайзман на Клейгельса не пойдет. Устраивать покушение с одною Школьник я по многим причинам не хотел. Дать бомбу Зильбербергу я не имел права, да если бы и имел, то не сделал бы этого, считая нецелесообразным при слабости организации жертвовать наиболее ценным работником для провинциального дела.

Покушение на Клейгельса не состоялось ни 15, ни 30 июля, Шпайзман от него отказался, и мы с ним расстались. Расстались мы и со Школьник, хотя наша уверенность в ее преданности террору не поколебалась. На прощанье Шпайзман сказал:

— А вы дадите мне бомбу, если я вас об этом буду просить?

— Зачем вам бомба?

— Быть может, я пойду на провинциальное дело.

Я удивился.

— Слушайте, Арон, для вас Клейгельс слишком ничтожен, вы хотите Трепова, не меньше, — и решаетесь на провинциальное дело?

— Я этого не сказал, я хотел только знать, дадите ли вы мне бомбу.

Я ответил, что бомбы ему не дам: распоряжаться динамитом вне пределов организации я не имею права.

Я думаю до сих пор, что Шпайзману было все равно, в каком покушении участвовать: в покушении на Трепова или на Клейгельса. Думаю также, что он, отказываясь от киевского дела, неимел в виду сохранить свою жизнь: его готовность пожертвовать ею уже тогда не подлежала сомнению. Но мне кажется, что он в то время еще не мог примириться с участием Школьник в террористическом акте, а примирился с ним много позже, оставив нашу организацию.

Действительно, через несколько месяцев, в январе 1906 г. в Чернигове было произведено покушение на жизнь местного губернатора Хвостова. Впоследствии оказалось, что его устроили Маня Школьник и Арон Шпайзман. Бомба Шпайзмана не разорвалась, бомбою Школьник губернатор был ранен. Военно-окружной суд приговорил Шпайзмана к смертной казни, и он был тогда же повешен. Школьник получила 20 лет каторжных работ. Так кончили они свою революционную карьеру.

При свиданиях со мною Азеф рассказывал мне о ходе своей работы. Она подвигалась медленно. Годных для боевой работы людей в партии было мало. Азеф отыскал пока одного нелегального партийного работника, бывшего дворника в тайной иркутской типографии, Петра Иванова. Иванов приехал в Киев.

Иванов был небольшого роста, очень застенчивый и молчаливый юноша лет 22. Было решено, что он поедет в Петербург и устроится там извозчиком.

Иванов стал первым извозчиком в возобновленном деле Трепова, и оставался им целый год, с осени 1905 года по осень 1906 г.

Тогда же Азеф сообщил мне, что, бывший член «Народной Воли», бежавшая с поселения Анна Васильевна Якимова, желает принять участие в боевой организации. Он звал меня и Зильберберга в Нижний Новгород, куда должна была приехать Якимова, и где, по его словам, тоже были подходящие люди для дела Трепова. Зильберберг съездил в Одессу и, рассказав о киевской неудаче Ирине и Рашель Лурье, выехал в Нижний Новгород. Туда же выехал и я.

В Нижнем Новгороде было три кандидата в боевую организацию: бывший студент московского университета Александр Васильевич Калашников и рекомендованные им слесари Сормовского завода, члены местной боевой дружины: Иван Васильевич Двойников и Федор Александрович Назаров. Калашников был нам мало известен. Наученные

киевским опытом, мы не решились взять его и его товарищей сразу на такое ответственное дело, как покушение на Трепова. Мы предложили им сперва попытаться убить нижегородского губернатора барона Унтерберга. Двойников и Назаров должны были торговать на улице папиросами, а Калашников должен был руководить наблюдением.

Азеф уехал по общепартийным делам. Меня он попросил съездить в Пензу, где был под надзором полиции усиленно нам рекомендованный бывший студент московского университета Борис Устинович Вноровский. Встретиться с Азефом я должен был опять в Нижнем Новгороде.

В Пензе я не без труда отыскал Вноровского. Я пришел к нему на квартиру и увидел перед собою очень красивого, широкоплечего молодого человека, с густыми черными с проседью волосами и задумчивыми светлыми глазами. Одет он был в ситцевую рубашку и высокие сапоги. Он не удивился мне, как будто давно ожидал моего появления. Я спросил его:

— Я слышал, вы хотите работать в боевой организации?

— Да.

— Можно вас спросить, почему именно?

Он дал ответ, удививший меня тогда своею простотою:

— Я социалист-революционер, признаю террор, значит должен делать его.

Он говорил мало, только отвечая на прямые мои вопросы. В его наружности было много общего со Швейцером и Зильбербергом: небольшой рост, широкие плечи, черные волосы и светлые глаза. Так же, как и они, он был молчалив и сдержанно спокоен.

Я сказал ему, что террористическая работа заключается не только в том, чтобы с бомбой в руках выйти на улицу, что она гораздо мелочнее, скучнее и труднее, чем это принято думать, что террористу приходится месяцами жить простолюдином, почти не встречаясь с товарищами и занимаясь самым трудным и неприятным делом — систематическим наблюдением.

Вноровский слушал молча. Потом он сказал:

— Я это знаю и справлюсь с этим.

Я переспросил его:

— Вы можете быть извозчиком?

Он просто ответил:

— Конечно.

Он показался мне спокойным, сильным и смелым. В его лице мы приобретали первоклассного работника.

Мы решили с ним, что он поедет в Петербург и устроится там извозчиком. Я сказал ему, что мы готовим покушение на Трепова.

В Пензе я пробыл дня три. Я надеялся увидеть еще крестьян, которые предлагали свои услуги боевой организации. К несчастью, этих крестьян мне так и не удалось увидеть, они были арестованы по своему, комитетскому, делу.

Я вернулся в Нижний. Калашников сообщил мне, что барон Унтербергер, очевидно, опасаясь покушения, почти не показывается на улице, и что Двойников и Назаров караулят его, но безрезультатно. Я остался в Нижнем ожидать Азефа. Со мною был Зильберберг.

Зильберберг был чрезвычайно огорчен киевской неудачей. Он предлагал свое непосредственное участие в покушении на Клейгельса, и был очень огорчен нашим отказом. Колебания Шпайзмана произвели на него тяжелое впечатление, эти колебания он считал преступлением.

Зильберберг был одним из тех людей, которые, быть может, более всяких других, необходимы для организации. Он исполнял всю черную работу террористического дела. На его долю приходилось наиболее скучное, но и совершенно необходимое: поездки, сношения с товарищами, паспортное бюро, доставка динамита и т. д.

Он никогда не жаловался и молчаливо и точно исполнял поручения. Скромный и аккуратный, он брался за всякую работу: он был и химик, и извозчик, и впоследствии организатор. Каковы были его задушевные мнения, — мне неизвестно. Он почти не

говорил о них, как вообще не любил касаться вопросов теории. В Киеве и в Нижнем я близко сошелся с ним и убедился, что мы были правы: он был достойный наследник Каляева, Покотилова, Сазонова и Швейцера. Было решено, что в деле Трепова он тоже примет участие, как извозчик.

Таким образом, если за лето нам не удалось выполнить первую часть нашей задачи, — убить Клейгельса, зато вторая, главнейшая, была нами выполнена. Мы могли с уверенностью сказать, что организация восстановлена, что в ней есть тот необходимый кадр испытанных и дисциплинированных людей, с которыми единственно возможно было приступить к такому трудному и сложному делу, как дело Трепова. С неменьшей уверенностью мы могли сказать, что в организации нет людей, которые своими колебаниями могут привести ее в расстройство. К концу лета состав ее определился окончательно: кроме Азефа и меня, для наблюдения было еще шесть человек: Зильберберг, Иванов, Вноровский, Калашников и Назаров, из которых Зильберберг и трое последних показали на деле свою преданность террору. Состав химической группы был также достаточно многочислен и опытен: Дора Бриллиант, Ксения Зильберберг и Рашель Лурье. Мы могли снова надеяться на успех.

Надежды эти были преждевременны.

Якимова в Минске увиделась с Татаровым и, как члену центрального комитета, сообщила ему, что едет в

Нижний Новгород на совещание со мной и Азефом. Татаров воспользовался этим случайным сведением: он указал нас полиции.

VI

В начале августа Азеф вернулся в Нижний. Первые его слова были:

— За нами следят.

Он рассказал мне, что заметил за собой филеров. Я не замечал за собой никаких признаков наблюдения и поэтому сперва не поверил ему.

Тогда он сообщил мне, что он не только сам за собой замечал филеров, но что его дважды предупредили посторонние люди: в первый раз в Москве, после свидания его с Якимовой в кофейне Филиппова, какой-то незнакомый ему человек на улице обратил его внимание на наблюдающих за ним филеров, и второй раз кондуктор железной дороги прямо указал ему в вагоне на них. Азеф решительно настаивал на том, чтобы немедленно всем нам уехать из Нижнего, но я долго еще протестовал: мне было жаль ликвидировать дело барона Унтербергера.

Дня через два Азеф и Зильберберг заметили за собой на улице филера. Я, вернувшись к себе в номера, обратил внимание на какое-то едва уловимое изменение в отношении ко мне номерной прислуги. Но я все-таки склонен был думать, что мы преувеличиваем опасности

и, в сущности, никакого наблюдения за нами не производится. Я спросил Зильберберга:

— Вы уверены, что за вами следили?

— Я не уверен, — отвечал он, — но у меня неприятное ощущение, точно с нас не спускают глаз.

В тот же день вечером, когда я с Азефом сидел в ресторане на ярмарке, мне показалось, что в залу вошел Статковский, чиновник особых поручений при петербургском охранном отделении. Я со студенческих лет не видел Статковского и, конечно, мог ошибиться, но сходство было так велико, что я обратил на это внимание Азефа.

Осторожность требовала немедленных и решительных мер. Продолжая нижегородское дело, мы могли окружить филерским кольцом всю организацию, что неизбежно привело бы ее к окончательному разгрому. Перед нами, таким образом, стояла уже не та задача, которая была раньше, — не убийство Трепова, а сохранение организации, — задача менее почетная, но не менее трудная.

Первым уехал из Нижнего Зильберберг. Ему счастливо удалось ускользнуть от наблюдения, и, по приезде в Петербург, он, купив пролетку и лошадь, стал извозчиком. Азеф скрылся. Якимова, за которой с самого Минска было учреждено строгое наблюдение, была арестована во Владимире. В «дни свобод» ее судили судебной палатой за побег из Сибири, и она по

судебному приговору была возвращена на место своей первоначальной ссылки. Со мной случилось следующее.

Азеф назначил мне через три недели свидание в Петербурге. Эти три недели мы, — каждый порознь, — должны были посвятить сокрытию своих следов. Я прибег к хитрости: я выехал из Нижнего с поездом, который приходил в Москву за полчаса до отхода с Брянского вокзала курьерского поезда в Киев. В Москве мне едва хватало времени, чтобы переехать с одного вокзала на другой. Филеры не могли знать заранее, куда я в Москве поеду. Поэтому на Нижегородском вокзале я громко велел носильщику нанять лихача на Брестский, т. е. Смоленский, а не Киевский вокзал. Отъехав на лихаче полверсты, я спросил его:

— Куда ты едешь?

— На Брестский, как приказывали.

— На Брянский, а не на Брестский. Поезжай на Брянский.

Лихач повернул. За нами не было никого, и я уехал в Киев, в уверенности, что мой отъезд никем не замечен. В Киеве я переменял костюм и решил несколько дней провести у моего товарища по университету Данилова, служившего на станции Жмеринка, между Киевом и Одессой. Я взял билет до Одессы, но в Жмеринке соскочил с третьим звонком на платформу. На мое несчастье Данилов и вся его семья уехали в Киев. Дома

была только прислуга. Я сказал ей, что я двоюродный брат Данилова и остался один в пустом доме. Так прожил я в Жмеринке дней пять, пока не приехал хозяин. В полной уверенности, что я теперь совершенно свободен от наблюдения, я решил выехать в Петербург. До условленного с Азефом срока оставалось дней семь. На всякий случай я заехал еще в имение рекомендованного мне Азефом товарища Гедды, агронома в Клинском уезде. На другой день после моего приезда встревоженная хозяйка вошла ко мне в комнату:

— За вами следят.

— Не может этого быть.

— Только что приходил садовник, говорит, что со станции приехали двое сыщиков и спрашивают о вас.

В это время приехал сам Гедда. Он рассказал, что один из железнодорожных служащих сообщил ему, что в Клину и на соседней с ним станции кого-то поджидают филеры. Очевидно, мне не удалось скрыться от наблюдения. Очевидно было и то, что дальше оставаться в имении нельзя.

В тот же вечер Гедда сам запряг лошадь и отвез меня не на станцию, а на маленький, в стороне от Клина, полустанок. Когда я садился в поезд, на полустанке этом не было, кроме сторожа, ни души. Я поехал обратно в Москву с таким расчетом, чтобы в Москве захватить курьерский поезд на Петербург. Между приходом моего поезда и отходом петербургского

оставалось 15 минут. Мне нужно было только выйти из вагона и на том же вокзале, даже на той же платформе, незаметно пройти в уже составленный поезд. Я так и сделал.

Я приехал в Петербург утром. Я не знал, следят ли за мной, или мне удалось скрыться от наблюдения. До вечера я не замечал за собой филеров. Вечером же, около 7 часов, я, выходя из Зоологического сада, заметил извозчика-лихача, который, не предлагая мне сесть, медленно тронулся за мной. Я прошел на Зверинскую улицу, он поехал за мной вслед, я свернул в Мытинский переулок, он немедленно свернул за мной. Так следил он около часа. На Церковной я круто повернул назад и пошел ему прямо навстречу. Он на моих глазах повернул лошадь и, усмехнувшись, сказал:

— Ну, что же, барин, смотрите...

Я понял, что меня арестуют.

Я вышел на Большой проспект Петербургской стороны, и он, обогнав меня, поехал по направлению к Введенской улице. Я взял извозчика и велел ему ехать на Большой проспект Васильевского острова. Я помнил, что посередине его есть бульвар, и решил воспользоваться им, чтобы скрыться.

На Тучковом мосту я услышал за собой крупную рысь. Я обернулся. Мой лихач догнал меня. На Большом проспекте я на ходу выскочил с извозчика и, перебежав бульвар, скрылся в Днепровском переулке.

Весь расчет у меня был в том, что лихач не может с лошадей пересечь бульвар, а должен его обогнуть. Таким образом, я выиграл несколько минут. Лихач, действительно, погнал свою лошадь в объезд. Я бросился бегом по Днепровскому переулку и, свернув в Академический переулок, прижался к стене какого-то дома и ждал. Прошло полчаса. Кругом не было ни души. Я решил, что мне удалось убежать. Вещей со мной не было, зайти в гостиницу поэтому было мне неудобно. Я вспомнил, что на Большом проспекте Петербургской стороны живет мой товарищ по гимназии, прис[яжный] пов[еренный] А. Т. Земель. Я позвонил к нему.

Я рассказал Земелю, что за мной следят уже две недели и спросил его, может ли он дать мне ночлег. Земель согласился без колебания.

На следующий день, утром, к Земелю пришел гражданский инженер П. М. Макаров, мой хороший знакомый: он не раз оказывал услуги боевой организации. Макаров сказал, обращаясь к Земелю:

— Почему ваш дом окружен полицией?

Дом был, действительно, окружен полицией. Было ясно, что меня все-таки проследили, и что мне едва ли уйти. Я начал с Земелем обсуждать, каким образом скрыться мне из его квартиры. Посреди разговора Земель надел шляпу и вышел на улицу за покупками. Макаров ушел давно. Я остался один. Прошел час, прошло два и три часа. Наступили сумерки. Земель не

возвращался. Я не мог понять причин его отсутствия. Зная его, я не мог думать, что он оставил меня в таком затруднительном положении, но в равной степени не мог допустить, что он арестован. Причины для ареста не было. Земеля могли взять, только обнаружив меня у него. Но полиция с обыском не являлась, и я, хотя и окруженный со всех сторон, был еще на свободе.

Часов в 8 вечера я, не дождавшись Земеля, решил выйти на улицу. Я надел его пальто и прошел мимо дворников в ворота. Дворники не обратили на меня никакого внимания. Шел дождь, началось наводнение. Филеров не было видно. Я взял извозчика и поехал на Финляндский вокзал. Как оказалось впоследствии, Земель был арестован на улице и отвезен в охранное отделение. До вечера полиция принимала его за меня. Только к ночи выяснилось, что произошла ошибка. Тогда был сделан безрезультатный обыск у него на квартире.

Я поехал на дачу в Финляндию к А. Г. Успенскому. Я был в нерешительности, что мне теперь предпринять. Об Азефе известий я не имел. Я склонялся к тому, чтобы из осторожности прожить несколько дней в Финляндии и только тогда начать поиски Азефа. Но на дачу к Успенскому на другой день приехал член петербургского комитета В. З. Гейнце. Он сказал мне, что Азеф выехал за границу. Он же сообщил мне следующее.

К члену петербургского комитета Ростовскому явилась незнакомая дама и принесла анонимное письмо: в письме этом говорилось, что инженер Азеф и «бывший ссыльный Т.» (Татаров) — секретные сотрудники департамента. Затем перечислялось, что именно тот и другой «осветили» полиции.

Письмо это не вызвало тогда во мне никаких сомнений: уже не говоря об Азефе, я и Татарова не мог заподозрить в провокации. Но я не понимал происхождения и цели этого письма и решил, поэтому, ехать за границу посоветоваться с Гоцем и Азефом. Я понимал только, что письмо это, во всяком случае, доказывает осведомленность полиции, и что нам поэтому невозможно немедленно приступить к дальнейшей работе.

Все члены боевой организации, кроме приехавшей впоследствии в Женеву Доры Бриллиант, остались в России. Для перехода через границу я обратился в Гельсингфорсе по данному мне Гейнце адресу к члену финской партии Активного Сопротивления Евве Прокопе.

В Гельсингфорсе я встретил Гапона: он жил в Скатудене у студента Вальтера Стенбека. Когда я пришел к нему вечером, он уже спал. Вокруг его дома дежурила вооруженная стража, — члены партии Активного Сопротивления.

Гапон проснулся и, увидев меня, приподнялся с кровати. Первые его слова были:

— Как ты думаешь, меня повесят?

Я удивился его вопросу. Я сказал:

— Вероятно.

— А может быть в каторгу? А?

— Не думаю.

Тогда он робко спросил:

— А в Петербург можно мне ехать?

— Зачем тебе в Петербург?

— Рабочие ждут. Можно?

— Пути всего одна ночь.

— А не опасно?

— Может быть и опасно.

— Вот и Поссе мне говорит, что опасно. Убеждает не ехать. Как ты думаешь, если вызвать рабочих сюда или в Выборг?

Я ничего не ответил. Гапон сказал:

— Паспорт у тебя есть?

— Есть.

— Дай мне.

— У меня один.

— Все равно. Дай.

— Ведь мне самому нужен.

— Ничего. Дай.

— Слушай, не могу же я остаться без паспорта.

— Дай.

Я дал ему фальшивый паспорт на имя Феликса Рыбницкого. Пряча паспорт, он повторил свой вопрос:

— Так ты думаешь, — повесят?

— Повесят.

— Плохо.

Я стал прощаться. На столике у постели лежал заряженный браунинг. Гапон взял его и потряс им над головой.

— Живым не сдамся!

Евва Прокопе направила меня в Або. Из Або я, в сопровождении члена той же финской партии Активного Сопротивления, тов. Кувшинова, проехал на Аландские острова. На Аландских островах был снаряжен парусный бот, принадлежащий местному помещику Альфтану. Альфтан, Кувшинов, крестьянин Линдемман и студент гельсингфорсского университета Виоде составили экипаж бота. Мы прошли таможду под флагом яхт-клуба и к вечеру остановились на маленьком острове в финских шхерах. На заре мы опять снялись с якоря и через сутки были уже в шведских водах. Меня высадили на шведский маяк. Финны сказали смотрителю маяка, что я француз-турист, и с его помощью я нанял парусную лодку до Фюрюзунда, маленького курорта под Стокгольмом. К вечеру я был в Фюрюзунде и еще через день в Стокгольме.

Я не могу забыть той любезности и того радушия, с которыми встретили меня тогда эти финны. В моем лице они, по их мнению, оказывали услугу русской революции и делали это с тем большей готовностью, что справедливо считали себя товарищами русских революционеров.

В начале сентября я приехал в Женеву.

VII

В Женеве я нашел Гоца. Он по-прежнему лежал в постели больной. Гоц внимательно выслушал мой рассказ о положении дел в боевой организации и сказал, что текст упомянутого письма уже доставлен ему из Петербурга. Он спросил меня, что я думаю об этом письме.

— Что я думаю? Ничего.

— А Татаров?

Я сказал, что знаю Татарова давно и не могу допустить мысли, чтобы он мог стать провокатором. Гоц задумался.

— По-моему, — заговорил он медленно, — письмо несомненно полицейского происхождения. За ним кроется какая-то интрига. Кроме того, мне кажется, в партии есть провокатор. Чем иным объяснить, например, наблюдение за нами в Нижнем?

— Что же вы думаете? — перебил я его.

Он не скоро ответил. Наконец, он сказал:

— По-моему, нужно расследовать дело.

Татаров жил в это время в Париже. Он предпринял в России издание легальным путем статей, появлявшихся разновременно в «Революционной России», и уже напечатал в русских газетах объявление об этом издании.

В объявлении этом были перечислены имена Гоца, Шишко, Чернова, Минора, Баха и других видных социалистов-революционеров. Такое перечисление имен могло только повредить делу: оно обращало на себя внимание читателей и цензуры. Татаров не мог об этом не знать.

Не один Гоц смотрел мрачно на положение дел в партии. Присутствие провокатора чувствовалось многими. Многих также смущало, что в указанном письме упоминался Татаров. Татаров произвел на большинство заграничных товарищей неприятное впечатление, хотя, конечно, никаких поводов к его обвинению быть еще не могло.

В начале сентября Гоц собрал находившихся в Женеве членов центрального комитета и близких к комитету людей. На этом собрании были Минор, Чернов, Тютчев, я и некоторые другие. Гоц, открывая собрание, сказал:

— Я много думал. Положение очень серьезное. Мы, мне кажется, должны стоять на единственно

революционной точке зрения: для нас не может быть ни имен, ни авторитетов. В опасности партия, поэтому будем исходить из крайнего положения, — допустим, что каждый из нас находится в подозрении. Я начинаю с себя. Моя жизнь известна. Кто может что-нибудь возразить? Он остановился потом на жизни каждого из присутствовавших и спросил:

— Может быть, кто-нибудь определенно подозревает кого-либо?

Встал Чернов. Он долго и горячо говорил, доказывая, что, по его мнению, подозрителен Н., человек самостоятельных и оппозиционных центральному комитету взглядов, но хорошо всем известный и несомненно стоявший выше всяких подозрений. Когда Чернов кончил свою речь, все рассмеялись, и он рассмеялся первый. До того обвинение Н. было непохоже на правду.

Когда наступило молчание, Гоц сказал:

— Я не хочу сказать ничего дурного, но не могу и скрыть своих подозрений; Татаров, по моим подсчетам, издержал на дела своего издательства за шесть недель более 5000 руб. Откуда у него эти деньги? Ни партийных, ни личных сумм у него нет, о пожертвовании он должен был бы сообщить центральному комитету. Я спрашивал его, откуда у него деньги, и он отвечал, что ему дал 15 тысяч руб. известный общественный деятель Чарнолуцкий. Не скрою, я начинаю сомневаться в этом.

Все мы слушали Гоца со вниманием.

Помолчав, он заговорил снова:

— Итак, издательство это не обеспечено материально. По крайней мере, я не думаю, чтобы у Чарнолусского могли быть такие деньги или чтобы к нему поступило пожертвование в таких размерах на литературное дело, тем более, то это дело начинает мало известный в литературных кругах Татаров. Но это не все: его издательство не обеспечено или, вернее, чересчур обеспечено с цензурной стороны. Татаров человек практичный и умный. Как понять его печатное заявление об участии моем, Чернова, Минора? Ведь такое заявление должно губить дело. Мне неясна роль Татарова, и я бы предложил ее выяснить... Как ее выяснить? Я предлагаю послать кого-либо в Петербург со специальной целью, — узнать у Чарнолусского, давал ли он деньги Татарову, и если давал, то в каком именно размере. Если Татаров сказал мне правду, я откажусь от своих слов. Мы, во всяком случае, ничем не рискуем.

Все присутствовавшие согласились с Гоцем, и тогда же было решено послать в Петербург А. А. Аргунова, члена центрального комитета.

Аргунов уехал в Петербург и явился к Чарнолусскому. Чарнолусский сказал ему, что денег Татарову не только не давал, но и не обещал. Кроме того, он был весьма удивлен, что Татаров пользуется его именем.

В отсутствие Аргунова, Татаров приехал в Женеву. Гоц предложил и настоял, чтобы за Татаровым было учреждено наблюдение. Наблюдение это я взял на себя, и мне в нем помогали Александр Гуревич и Василий Сухомлин. Наше наблюдение не дало никаких результатов, зато Тютчеву и Чернову удалось случайно установить, что Татаров дал центральному комитету неверный адрес в Женеве. В гостинице, на которую он указал, его не было.

Недели через две вернулся Аргунов и передал нам ответ Чернолуцкого.

Татаров сказал Гоцу неправду.

Тогда, по инициативе Гоца и по постановлению центрального комитета, была избрана комиссия для расследования дела Татарова. В нее вошли: Бах, Тютчев, Чернов и я.

Татаров не подозревал ничего. Он возобновил со мною старые отношения. Приходил ко мне на дом и много расспрашивал о боевой организации. Я не отвечал, ссылаясь на профессиональную тайну. Он интересовался также делами моих родных, их возможным участием в революции. Я отговаривался незнанием. Он несколько раз спрашивал, следили ли за мною в России. Я отвечал, что давно не выезжал из Женевы.

Он бывал не у меня одного. В Женеве он расспрашивал всех и обо всем. Ему доверяли.

Центральный комитет молчал о своих подозрениях. Это было необходимо, ибо, конечно, была возможность ошибки. Высказанное же громко подозрение уже губило Татарова. Вскоре он знал слишком много.

Татаров собирался уехать в Россию и на прощанье решил устроить обед товарищам. На этом обеде было много народу, в том числе Чернов и я.

Татаров был оживлен и весел. Товарищи, не знавшие об обвинении, которое над ним тяготело, желали ему удачи в России. После обеда, когда гости стали расходиться, Чернов и я подошли к Татарову:

— Когда вы хотите ехать?

— Сегодня вечером.

— Сегодня вечером это невозможно.

Татаров быстро спросил:

— Почему?

— У центрального комитета к вам дело.

— Но я должен уехать. Какое дело?

— Мы уполномочены просить вас остаться.

Татаров пожал плечами.

— Центральный комитет просит вас.

Он опять пожал плечами.

— Ну, хорошо, я останусь. Но это странно... Почему вы раньше не предупредили меня?

На следующий день состоялось в Женеве, на квартире О. О. Минора, первое заседание упомянутой выше комиссии. Мы сказали Татарову, что центральный комитет занят ревизией партийных дел. По его поручению, мы просим выяснить нам финансовую и цензурную сторону нового издания, ибо центральный комитет желает взять его под свое руководство. Татаров ответил, что деньги в размере 15 тысяч рублей он получил, как пожертвование, от Чарнолуцкого. Дальнейшую помощь ему обещали тот же Чарнолуцкий и киевский издатель Цитрон.

Чернов вел допрос. Не возражая Татарову, он осведомился об его адресе в Женеве.

Произошел следующий разговор:

Чернов. Вы говорите, что остановились в Hotel des Voyageurs. Под какой фамилией?

Татаров. Плевинский.

Чернов. Номер комнаты?

Татаров. Кажется, 28.

Чернов. Мы спрашивали. Ни в N 28, ни вообще в Hotel des Voyageurs Плевинского нет.

Татаров. Я ошибся. Я живу в Hotel d'Angleterre.

Чернов. Под фамилией Плевинского?

Татаров. Я не записался еще.

Чернов. Номер комнаты?

Татаров. Не помню.

Чернов. Мы справлялись и в Hotel d'Angleterre. Вас там нет.

Татаров. Я не помню названия гостиницы. Быть может, это и не Hotel d'Angleterre.

Чернов. Вспомните.

Татаров. Не помню.

Чернов. На какой улице эта гостиница?

Татаров. Не помню.

Чернов. Хорошо. Запишем в протокол: не помнит ни названия гостиницы, ни улицы, ни номера комнаты, и фамилии еще не имеет.

После недолгого молчания Татаров говорит:

— Я вам солгал.

Чернов. Почему?

Татаров. Мы не дети. Я живу с женщиной. Скрывая свой адрес, я защищаю ее честь. Впрочем, хотите — я назову вам ее.

Чернов. Нет.

Татаров волнуется. Ответы его становятся еще страннее.

Чернов. Скажите, чем обеспечено ваше издание в отношении цензуры?

Татаров. Мне обещал покровительство один из людей, имеющих власть.

Чернов. Кто именно?

Татаров. Один князь.

Чернов. Какой князь?

Татаров. Князь.

Чернов. Мы просим сообщить нам его фамилию.

Татаров. Зачем? Я сказал князь. Этого довольно.

Чернов. По постановлению центрального комитета мы предлагаем вам сказать его фамилию.

Татаров. Ну, хорошо, это граф...

Чернов. Граф?

Татаров. Это неважно, граф или князь. Да и вообще зачем фамилия?

Чернов. Центральный комитет приказывает вам.

Татаров. Граф Кутайсов.

Чернов. Отец или сын?

Татаров. Сын.

Чернов. Вы знакомы с сыном Кутайсова?

Татаров. Да.

Чернов. Где вы с ним познакомились?

Татаров. У его отца.

Чернов. В Иркутске или Петербурге?

Татаров. В Петербурге.

Чернов. Вы бывали у Кутайсова в Петербурге?

Татаров. Да.

Чернов. Что же вы там делали?

Татаров. Я знаком с ним еще по Иркутску. В Иркутске мне не раз приходилось просить его за товарищей.

Чернов. Да, но зачем вы возобновили знакомство в Петербурге?

Татаров молчит.

Чернов. Вы бывали в доме Кутайсова и не сообщили об этом центральному комитету. Знаете, что партия одно время готовила на него покушение?

Татаров молчит.

Чернов. Что же, сын Кутайсова сочувствует революции, если обещал вам помощь?

Татаров молчит.

Чернов. Я вам должен сказать, что вы нам солгали, не только скрывая свой адрес. Чарнолусский не давал вам ни копейки денег и не обещал. Фамилию Цитрона вы слышали в первый раз три дня тому назад от Минора и в сношениях с ним поэтому быть не могли.

Татаров. Нет, Чарнолусский дал мне 15 тысяч.

Чернов. Не спорьте. Доказано, что вы денег от него не получали.

Татаров. Это недоразумение. Я получил.

Чернов. Один из членов центрального комитета был у Чарнолусского в Петербурге. Вы денег не получили.

После долгого колебания Татаров говорит:

— Я вам солгал. Деньги мне дал мой отец.

Чернов. Сколько?

Татаров. Десять тысяч.

Чернов. Разве ваш отец так богат?

Татаров. Он занял для меня под вексель.

Чернов. Вы можете это доказать?

Татаров. Я представлю удостоверение от моего отца.

Чернов. Почему вы прямо не сказали, что деньги вам дал отец? Мы бы удовлетворились этим ответом.

Татаров. Мой отец не сочувствует революции. Я не хотел здесь упоминать его имя... Но в чем вы меня обвиняете?

Чернов. Вы знаете сами.

Татаров. Нет.

Тютчев. В предательстве.

Чернов. Лучше, если вы сознаетесь. Вы избавите нас от необходимости уличить вас.

Татаров молчит. Молчание длится минут десять. Его прерывает Бах:

— Дегаеву были поставлены условия. Хотите ли вы, чтобы и вам они были поставлены?

Татаров не отвечает. Молчание длится еще минут десять. Все время Татаров сидит, положив руки на стол и на руки голову. Наконец, он подымает глаза:

— Вы можете меня убить. Я не боюсь смерти. Вы можете меня заставить убить. Но даю честное слово: я не виновен.

Допрос продолжался еще несколько дней. Выяснилось еще, что Татаров: 1) узнал от А. В. Якимовой в Минске, что в Нижнем Новгороде летом 1905 г. предполагался съезд членов боевой организации; 2) знал петербургский адрес Волошенко-Ивановской перед арестом 17 марта; 3) имел свидание с Новомейским и бывшим членом «Народной Воли» Фриденсоном перед арестом Новомейского; 4) виделся с Рутенбергом перед арестом его в Петербурге (июнь 1905 г.) и много других подробностей.

Все эти были подробности лишены в наших глазах большого значения. Общий характер допроса был тот же: Татаров был постоянно уличаем во лжи.

Мы дважды пытались выяснить роль Татарова помимо заседаний комиссий. Частным образом в гостинице его посетили сначала Чернов, потом я.

Когда я вошел к Татарову, он сидел в кресле, закрыв лицо руками. Мы не поздоровались. Он не обернулся ко мне. Я сказал ему, что, зная его давно, не могу верить в его предательство; что я с радостью защищал бы его в комиссии; что характер его показаний лишает меня этой возможности; что я прошу его помочь мне, — объяснить в его поведении многое, нам непонятное. Я сказал ему также, что только полная его откровенность может дать этому делу благоприятный исход.

Татаров молчал, не отрывая рук от лица. По сотрясению его плеч я видел, что он плачет.

Наконец, Татаров сказал:

— Когда я говорю с вами, я чувствую себя подлецом. Когда я один, — совесть моя чиста.

Больше я от него ничего не услышал.

Чернов имел не больше успеха.

Вместо обещанного удостоверения, Татаров представил в комиссию клочок бумаги, на котором было написано приблизительно следующее: «Мой милый сын, я дал тебе 10 тысяч рублей. Твой отец Ю.Татаров».

Рассмотрев все имевшиеся в ее распоряжении материалы, комиссия единогласно постановила:

В виду того, что:

- 1) Татаров солгал товарищам по делу и о деле,
- 2) имел личное знакомство с гр[афом] Кутайсовым, не использовал его в целях революционных и даже не довел о нем до сведения центрального комитета,
- 3) не мог выяснить источника своих значительных средств,
- 4) устранить Татарова от всех партийных учреждений и комитетов, дело же расследованием продолжать.

Гоц одобрил это решение. Все члены комиссии единогласно вынесли уверенность, что Татаров состоял в сношениях с полицией. Характер же и цели этих

сношений остались нескрытыми. Поэтому пока не могло быть и речи о лишении Татарова жизни.

Однако многие из товарищей остались недовольны нашим постановлением. Они находили, что Татаров уже уличен.

Татаров уехал в Россию. Из Берлина он прислал в комиссию несколько писем. В них он пытался объяснить свое поведение:

«...Вы не можете представить, — писал он нам, — какой ужас — выставленные вами обвинения для человека, который, кроме трех лет тюремного заключения (в три приема) и первых полугода лет ссылки, остальные восемь с половиной лет своей революционной деятельности жил непрерывной мучительной революционной работой, которая была для него всем. Теперь я думал идти на работу на жизнь и на смерть, и вот удар. Я не могу ничего говорить, не могу писать. Я только перечислю вам голые факты и сухие доводы, и вы сами разберетесь в них по совести:

Типографию в Иркутске поставил я, и вел ее с большим риском и успехом я один, до самого отъезда, т. е. до конца января 1905 г., значит, не было ничего против меня.

В 17 марта я не мог быть повинен, так как никого не знал, кроме П. И. ^[2], от которого ничего не знал. А о Новомейском не подозревал, что он занимается революционными делами (кроме „Возрождения“). Значит, и о марте нет речи.

В Одессе я был в половине июня, за несколько дней до Потемкинских дней, бывал на собраниях центрального комитета. Видел и знал всех главных людей, знал роль каждого из них, хотя не знал дел и предприятий... И с июня не было никого, о ком можно было бы подумать, что я повредил ему.

Наконец, уже за границей Минор и Коварский видели близко, как все время и все заботы у меня были поглощены издательством. И так не работает и не ведет себя человек, вредящий партии.

...Все эти обстоятельства вы можете и обязаны проверить, если не в моих, то в своих интересах.

И то, что (в обвинениях) упоминается целый ряд обстоятельств, имен и предприятий, очень важных и мне совсем неизвестных. И то, что в каких-то донесениях фигурирует мое имя, а иногда это имя скромно умалчивается, приводит меня к одному убеждению, — что есть лицо, которому глубже и ближе знакомы партийные дела, чем знаю их я, и которое, чтобы отвлечь внимание от себя, попробовало бросить тень на другого (я, конечно, не подозреваю здесь центральный комитет). Так как мое знакомство с Кутайсовым, при желании, может быть истолковано в разных смыслах, то прием был сделан удачный.

У меня нет и не было на совести никакого греха против революции, против нашей партии. Как ни тяжело оправдываться, я говорю вам это прямо.

В заключение скажу: я знаю, что это письмо, вероятно, не рассеет ваших подозрений. И у меня к вам одна просьба: не спешите позорить меня, дайте мне срок, чтобы время и обстоятельства могли вполне реабилитировать меня. И сами помогите мне в этом.

А затем единственное, что мне остается после всего ужаса, пережитого в эти дни: я уйду от революции и не буду никого видеть, никого знать, и все свои силы посвящу выполнению (террористического) акта, без чьей-нибудь помощи, без чьего-нибудь участия. Если вы отнесетесь ко мне с большим доверием после этого письма и согласитесь помочь мне реабилитировать себя, я все-таки уйду от людей и от работы, так как жить и работать мне теперь с людьми невозможно".

В другом письме Татаров писал:

«...Не забудьте, что я много лет провел в среде своей семьи, бесконечно далекой и враждебной по своим убеждениям, с которой я, все-таки, вместе с тем тесно был связан любовью. В обстановке этой семьи приходилось не один год вести революционную работу — обманывать, скрывать, молчать, — убийственно молчать, чтобы ничего не знали. Из этой же обстановки пришлось бежать на нелегальное положение и, оставаясь нелегальным полтора года, поддерживать обман, что я не в революцию ушел, что я учусь за границей. Нужно было бы собрать сотни случаев, сотни мелочей из этой долгой двойственной жизни, чтобы понять, как молчание,

скрытность, неправда крепко въелись в душу. Но нетрудно ведь понять, что все эти личные недостатки, наиболее мучительные для меня самого, были результатом того, что, как ни дороги лично мне были некоторые родные, но революция для меня была святыня, выше жизни, выше всего и ради нее для меня не существовала личность, ради нее неважны были никакие личные недостатки. Долгая, мучительная, конспиративная работа не могла способствовать ослаблению указанных свойств. Много тяжелых личных ударов только усиливали их. Недоверие к людям, замкнутость свыше всякой меры, — все это сделалось основными моими свойствами. Я часто говорил неправду (не в революционных делах), но мне всегда казалось, что не вредную неправду, — неправду, вытекавшую из привычки к конспирации и страшной, прямо болезненной замкнутости. Как только вопрос казался мне вторжением, хотя бы самым слабым, или в революционные дела, или в мою личную жизнь, или даже просто казался лишним, — я всегда готов был или совсем не ответить, или ответить уклончиво, или сказать неправду. Но я не знаю случая, чтобы моя неправда носила дрянной характер когда-нибудь или чтобы она допускалась в революционной работе. Пусть все-таки это было нехорошо, но страдал-то я один от этого. Благодаря этим качествам, я не знал того, что называется личной жизнью, лично был всегда только в муку себе и другим. Кроме революции, ничто никогда не озаряло мою жизнь. Но если я говорил неправду, то я не умел ходить кривыми путями, не умел лицемерить... Я не боялся знакомства с Кутайсовым, как не боялся бы знакомства со всяким высокопоставленным лицом. Я настолько жил всегда

мыслью о революции, что никакое знакомство меня не могло унижить. Заводя такое знакомство, я всегда думал бы, что я не должен избегать того, что может быть как-нибудь выгодно для дела. Я не искал таких знакомств, но я и не бежал от них. Одна мысль — польза революционного дела — сознательно или бессознательно руководила мной во всем. Личного интереса я не знал. И я не унижался. Напротив, я говорил все прямо, а передо мной оправдывались (Кутайсов)... Когда я брался за дело, я отдавался ему весь, и я неоднократно убедился, что, начав дело, всегда можно его довершить. Так я взялся в Иркутске в один месяц поставить типографию, хотя не имел еще ни людей, ни прочего. Так я всегда работал. А в делах издательства я в полтора месяца положил очень большое начало, и у меня был обеспечен не только „первый“, но и „второй“ шаг. Я поражаюсь, что вам не ясно это. Еще прошу вас, не удивляйтесь, что многое я не могу вспомнить точно. У меня всегда была очень скверная память, кроме профессиональной, т. е. кроме памяти на те революционные дела, которые нужно запомнить. И я часто был очень рассеян».

Цитированные выше письма эти не объяснили нам ничего. Подлинный протокол допроса гласил:

«Материальным основанием предприятия Татарова является сумма в 10 тысяч рублей, занятая отцом его, затем обещание денежной поддержки со стороны Чарнолуцкого в размерах, которые в разговорах не определялись. Вообще формальная сторона положения Чарнолуцкого в издательстве не

определялась; из разговоров было ясно лишь, что он отдает себя всецело в распоряжение издательства, и выражал готовность взять на себя соредакторство. В последнее время Татаров списался через Б. с одним одесским капиталистом^[3], который предлагал капитал для подобного же издательства, причем пока еще ответа от него не имеется. Имеются в виду также переговоры с одним денежным лицом в Киеве. Объявление об издательстве было послано в „Сын Отечества“, а Чарнолуускому одновременно было послано уведомление с предложением, если он найдет нужным, вычеркнуть свой адрес. Относительно окончательной редакции объявления об издательстве Татаров ни с кем не советовался. Татаров рассматривал издательство, как дело партийное только по своему содержанию, но чисто личное с организационной стороны. Что касается связей, которые могут помочь в деле проведения издания сквозь цензуру, то здесь Татаров рассчитывал на посредничество Чарнолууского и сына Кутайсова, с которым он виделся в Петербурге (но никаких определенных разговоров с ним по этому поводу не имел). С отцом Кутайсова он был знаком в Иркутске, бывая в его доме. Отец познакомил его с сыном в Петербурге.

Официально кооптирован был Татаров в центральных комитет в Одессе на собрании, состоявшем из П. Я.^[4], Л.^[5] и П.^[6], причем от первого он получил все пароли и шифры.

Что касается утверждения Чарнолууского, что никакого участия в деле ни он, ни кто-либо через его посредство, хотя бы в форме обещания, не принимает, и что его

прикосновенность ограничивается лишь готовностью помочь некоторыми техническими указаниями, разного рода советами и т. п., то Татаров утверждает, что из всех переговоров и писем, напротив того, вынес убеждение, что Чарнолуцкий отдает себя всецело в распоряжение издательства. На основании этого убеждения Татаров считал возможным обратиться к нему с просьбой об участии в покрытии сделанных расходов, если бы в этом представилась надобность.

Подробностей разговоров с А. теперь Татаров не помнит. Помнит лишь, что А. сообщил ему об имеющейся в С[анкт]П[етер]Б[ургском] комитете возможности сделать покушение на Трепова. В это время, как и вообще, Татаров держался того взгляда, что местный комитет не должен заниматься такими предприятиями, как против Трепова или даже против царя, так как это дело боевой организации, и поэтому ни за себя, ни за центральный комитет Татаров не мог дать на это согласие.

Татаров знает теперь, что Новомейский жил в одних меблированных комнатах с Ивановской (этот факт передавал, между прочим Ш. в Женеве, на квартире у Гоца), но в каких именно — не знает. Не может определить („не помнит ни времени, когда узнал об этом, ни лиц, от которых это узнал, ни города, где узнал. Думает, что в Петербурге, Ялте или Киеве“.). В Петербурге Татаров был одновременно с сестрой Новомейского летом, приблизительно в июне. С Новомейским никаких переговоров и деловых революционных сношений в

это время не имел, но в присутствии Татарова такие переговоры с Новомейским вел Ф. [7]: 1) об отношениях между организацией „Возрождения“ и п. с.-р., 2) Новомейский говорил, что имеет возможность доставать динамит из Сибири. Специально в этот разговор Татаров не вслушивался и деталей его не знает. К чему положительному привели эти разговоры, и привели ли, Татаров не знает. Говорил ли при этом Новомейский, что живет в одних меблированных комнатах с Ивановской, Татаров не помнит, но, кажется, нет. У Татарова осталось такое впечатление, что Ф. не знал, где живет Ивановская. К Новомейскому Ф., кажется, ездил.

На другой или на третий день после отъезда П., Татаров приехал с Т. в Петербург и в это время, кажется, узнал, что Ивановская была на квартире П.Ив.[8] Татаров знает от „хромого“ [9], что он привез из Сибири в Нижний динамит, кажется, из склада И. Кажется, „хромой“ говорил, что привез печать для свидетельства на получение динамита (это было приблизительно в конце июня).

В Киеве в самое первое время после арестов 17 марта Татаров слышал передаваемое в виде слуха предположение, что, кажется, кто-то из арестованных выдает. Слышал это он в сферах революционных, от кого именно — не помнит.

Якимова говорила, что собирается скоро быть в Нижнем, и поводится там с Валентином и еще с кем-то, кажется, с Павлом Ивановичем, и что там будет разговор о возможности

созыва общепартийного съезда (это было в июле) после объезда ею некоторых мест (каких именно — Татаров, кроме Кавказа и Одессы, не знает). Знает еще, что раньше Якимова была в Киеве, в Нижнем, в Москве. Разговор этот происходил в Петербурге.

Якимова говорила, что порознь у каждого из имеющих быть там есть связи и силы, неиспользованные и другим неизвестные. Поэтому решено съехаться в Нижнем, выработать план и — между прочим — обсудить вопрос о большом съезде (представителей разных мест).

Об Унтербергере она ничего в это время не говорила.

Татаров жил в Женеве в Hotel des Voyageurs или в Hotel des Etrangers, близко от вокзала, но не около самого вокзала. Этот отель на улице, идущей направо от rue Mont Blanc, не доходя до почты, кажется, в N 28. Он в этом отеле не записывался. Отель стоит на левой стороне улицы. В этом отеле он прожил всего несколько дней, дня два-три.

После вопроса относительно причины, почему эти данные противоречат совершенно указаниям, данным Татаровым в разное время разным трем лицам о своем адресе, Татаров разъяснил, что вследствие причины чисто интимного характера он, с самого начала, живя только в Hotel d'Angleterre, чтобы отделаться от вопросов, на которые было неудобно отвечать, дал неверный адрес».

Много позже, уже в России, обнаружались следующие факты:

По манифесту 17 октября был освобожден из тюрьмы Рутенберг. Он рассказал, что незадолго до своего ареста имел свидание в Петербурге с Татаровым. Прощаясь, Татаров предложил ему увидеться снова через два дня и сам назначил квартиру для этой встречи. Эти два дня Рутенберг прожил в Финляндии и не имел сношений с товарищами. Утром в назначенный день он прибыл с поездом в Петербург и с вокзала зашел к своему знакомому, А. Ф. Сулиме-Самуйло. У Сулимы-Самуйло хранился его чемодан. Он переоделся, взял ключ от своего чемодана и в условленный час был на месте свидания.

В указанной Татаровым квартире он никого не застал. Он опять вышел на улицу и заметил, что дом окружен полицией. Через два часа он был арестован на Марсовом поле. Ключ был найден при нем. Сулима-Самуйло не без основания полагал, что, в случае предварительного за ним наблюдения, полиция необходимо проследила бы и чемодан. Она едва ли пренебрегла бы такой находкой. Можно было подумать, что агенты получили точное указание, где и когда можно арестовать Рутенберга.

По сличении рассказа Рутенберга с рассказом о том же Татарова, оказалось, что Татаров сказал неправду.

Значительнее были сообщения Новомейского. Новомейский членом партии социалистов-

революционеров не состоял, никакого участия в делах боевой организации не принимал и услуг ей не оказывал.

Мне он был совсем неизвестен. Арестован он был по делу 17 марта и содержался в Петропавловской крепости. Освобожденный по манифесту 17 октября, он заявил, что предъявленные ему в жандармском управлении допросные пункты навели его на некоторые подозрения. Его связь с боевой организацией выразилась единственно в следующем: на свидании в ресторане Палкина он, через Татарова и Фриденсона, предложил доставить из Сибири несколько пудов динамита. При разговоре этом больше никто не присутствовал. Динамит Новомейский доставить не успел, разговор же стал известен жандармскому управлению в мельчайших подробностях. Даже порядок предъявленных обвинений соответствовал порядку разговора. Не оставалось сомнения, что полиция была осведомлена через секретного сотрудника.

Обстановка свидания исключала всякую мысль о подслушивании. Фриденсон был человек слишком известный, старый и безупречный работник. Подозрение, естественно, падало на Татарова.

Более того, Новомейский заявил, что в крепости его предъявляли какому-то человеку для опознания. Лица этого человека он разглядеть не успел. Фигурой же он напомнил ему Татарова; к этому Новомейский

прибавил, что если бы он не знал, что Татаров был в эти дни за границей, он бы ручался, что это был он.

Мы навели справки. В эти дни Татаров был еще в Петербурге.

Фриденсон решил выяснить это дело. Подозрение не могло коснуться его, но он все-таки считал свою честь затронутой. Вместе со старым своим товарищем, покойным Крилем, он поехал в Киев, где тогда жил Татаров. Фриденсон сказал Татарову, что разговор с Новомейским у Палкина известен полиции; что Новомейский в этом, очевидно, виноват быть не может, и что, следовательно, вина падает либо на него, Фриденсона, либо на Татарова. Он просил Татарова объясниться.

Татаров в ответ сообщил следующее.

Защищая свою честь от позорящих ее обвинений, он обратился к первоисточнику. Его сестра замужем за полицейским приставом Семеновым. Семенов, по родству, обещал ему навести справку в департаменте полиции о секретных сотрудниках в партии социалистов-революционеров. Сделал он это через некоего Ратаева, бывшего помощника Рачковского. [\[10\]](#) Оказалось, что полиция, действительно, имеет агента в центральных учреждениях партии.

Агент этот Азеф. На него и ложится ответственность за все аресты, в том числе и арест семнадцатого марта. Татаров же оклеветан.

В объяснении этом многое казалось невероятным.

Было невероятно, что полицейский пристав мог быть посвящен в тайны департамента полиции. Было невероятно, что член центрального комитета, имея связи в полиции, не только не использовал их в целях партийных, но даже не сообщил о них никому. Наконец, было невероятно, что товарищ может строить свою защиту на обвинении в предательстве одного из видных вождей партии.

Все эти обстоятельства убедили Чернова, Тютчева и меня, что Татаров предатель.

Четвертый член комиссии, т. Бах, был за границей.

Я предложил центральному комитету взять на себя организацию убийства Татарова.

Я сделал это по двум причинам. Я считал, во-первых, что Татаров принес вред боевой организации и в ее лице всему террористическому движению в России. Он указал полиции Новомейского и через Новомейского и Ивановскую (Ивановская жила в одних меблированных комнатах с Новомейским. См. обвинительный акт по делу 17 марта). Указание это привело к арестам 17 марта. Ему было известно о «съезде» боевой организации в Нижнем Новгороде летом 1905 года. После этого съезда началось наблюдение за Азефом, Якимовой и за мной. Наблюдение это привело к ликвидации дела барона Унтербергера и приостановке покушения на Трепова.

Таким образом, Татаров фактически прекратил террор с весны 1905 г. по октябрьский манифест.

Я считал, во-вторых, что распространение позорящих слухов о главе боевой организации Азефе задевает честь партии, в особенности честь каждого из членов боевой организации. Защита этой чести являлась моим партийным долгом.

Центральный комитет согласился на мое предложение и ассигновал необходимые средства.

VIII

В Женеве я познакомился с минно-машинным квартирмейстером Афанасием Матюшенко, бывшим командиром революционного броненосца «Князь Потемкин-Таврический». Придя летом 1905 г. с восставшим кораблем в румынский порт Констанцу и убедившись, что его товарищи-матросы не будут выданы русским властям, он поехал в Швейцарию, но не примкнул ни к одной из партий. Впоследствии он определенно склонился в сторону анархизма. Гапон вел с ним сложную интригу. Он хотел привлечь его в свой полумифический «Рабочий Союз». На первых порах интрига эта имела успех.

Вскоре после моего приезда в Женеву, Матюшенко зашел ко мне на дом. На вид это был обыкновенный серый матрос, с обыкновенным серым скуластым лицом и с простонародной речью.

Глядя на него, нельзя было поверить, что это он поднял восстание на «Потемкине», застрелил собственной рукой нескольких офицеров и сделал во главе восставших матросов свой знаменитый поход в Черном море. Придя ко мне, он с любовью заговорил о Гапоне:

— А батюшка-то вернулся.

— Вернулся?

— Да. Два месяца в Петербурге прожил, «Союз» устроил.

— Кто вам сказал?

— Да он и сказал.

Гапон сказал Матюшенке неправду. Я знал, что Гапон в Петербурге не был, а, прожив в Финляндии дней десять, вернулся за границу, причем никакого «Союза» не учредил, а ограничился свиданием с несколькими рабочими. Я не сказал, однако, об этом Матюшенке. Он продолжал:

— Эсэры... Эсдеки... Надоели мне эти споры, одно трепание языком. Да и силы в вас настоящей нету. Вот у батюшки дела так дела...

— Какие же у него дела?

— А «Джон Крафтон»?

— Какой «Джон Крафтон»?

— Да корабль, что у Кеми взорвался.

— Ну?

— Так ведь батюшка его снарядил.

— Гапон?

— А то кто же? Он и водил, он и во время взрыва на корабле находился. Едва-едва жив остался.

Как я упоминал выше, Гапон никакого отношения к экспедиции «Джона Крафтона» не имел. Действительно, из денег, пожертвованных в Америке, часть должна была пойти на гапоновский «Рабочий Союз», в виде оружия, но этим и ограничивалось «участие» Гапона.

— Вы уверены в этом?

— Еще бы: сам батюшка говорил!

— Гапон говорил вам, что он был на корабле?

— Да, говорил: и я, говорит, в Ботническом море был, едва спасся.

— Вы хорошо помните?

— Ну, конечно.

Не оставалось сомнения, что Гапон не брезгает никакими средствами, чтобы привлечь в свой «Союз» Матюшенко. Но я все-таки еще ничего не сказал последнему. Насколько же скептически Матюшенко относился к революционным партиям, видно из следующего его характерного письма к В. Г. С. из Бухареста:

«...Поймите, что вся полемика, которая ведется между партиями, страшно меня возмутила. Я себе представить не могу, за что они грызутся, чорт бы их забрал. И рабочих ссорят между собой, и сами грызутся. Вы знаете мое положение в Женеве, что я там был совершенно один. Все как-будто любят и уважают, а на самом деле видят во мне не товарища, а какую-то куклу, которая механически танцевала и будет еще танцевать, когда ее заставят. Иной говорит: вы мало читали Маркса, а другой говорит: нужно читать Бебеля. Для них непонятно, что каждый человек может мыслить так же сам, как и Маркс. Сидя в Женеве, я бы окончательно погряз в эти ссоры и раздоры. Там партии ссорятся, чье дело на „Потемкине“, а здесь люди сидят без работы и без хлеба, и некому пособить. Чудно: что сделали, то нужно, а кто сделал, те не нужны».

Он был, конечно, прав. За границей было много ненужных трений, и для него, матроса, глубоко верящего в революцию, эмигрантские разговоры были чужды и непонятны. По эмиграции он судил и о деятельности партий в России. Гапон ловко пользовался этим настроением его. Несколько позже, когда обнаружился обман Гапона, и Матюшенко, возмущенный, отдалился от него, я как-то задал ему такой вопрос:

— А скажите, Илья Петрович (так звали Матюшенко за границей), какое вам дело до всех этих споров?

— Да никакого, конечно.

— Так зачем вы слушаете их?

— А что же мне делать?

— Как что? Дело найдется.

Матюшенко исподлобья взглянул на меня:

— Какое дело?

— Террор, Илья Петрович.

— Террор? Террор — верно, настоящее дело. Это не языком трепать... Да не для меня это.

— Почему?

Он задумался.

— Массовой я человек, рабочий... Не могу я в одиночку. Что хотите, а не могу.

Я, конечно, не убеждал его. Впоследствии он уехал в Америку, а еще позже, летом 1907 года, был арестован в г. Николаеве с бомбами. Его судили военным судом и тогда же повесили.

Через несколько дней после моего первого разговора с Матюшенкой я случайно встретил Гапона. Я сказал ему, что он лжет, рассказывая о своем участии в экспедиции «Джон Крафтон», и что я могу уличить его в этом.

Гапон покраснел. В большом гневе, он сказал:

— Как ты смеешь говорить мне, Гапону, что я лгу?

Я ответил, что настаиваю на своих словах.

— Так я, Гапон, по-твоему, лжец?

Я ответил, что да, он, Гапон, по-моему, несомненный лжец.

— Хорошо. Будешь помнить. Я все про тебя расскажу.

— Что ты расскажешь? — спросил я.

— Все. И про Плеве, и про Сергея.

— Кому?

Он махнул рукой в ответ.

Гапон считал себя оскорбленным мной. Он послал в заграничный комитет партии письмо, в котором требовал третейского суда между мной и им.

Я от суда отказался. Эта встреча была моей последней встречей с Гапоном. Гоц, которому я ее рассказал, улыбнулся.

— И хорошо сделали. Конечно, Гапон лжет, где, кому и когда может.

— Но ведь ему верят.

— Не очень. А скоро перестанут верить совсем.

Таково было отношение мое и Гоца к Гапону уже осенью 1905 г., но ни Гоц, ни я, конечно, не могли предвидеть конца его сложных интриг.

Дело Татарова было выяснено. Азеф приехал в Женеву (во время следствия над Татаровым он жил в Италии), и мы вместе с ним и Гоцем приступили к обсуждению дальнейших боевых планов.

В Женеву приехала даже Дора Бриллиант. Из Петербурга мы получили известие, что Зильберберг и Вноровский ликвидировали свои закладки, и что извозчиком остался один Петр Иванов.

Все трое по нашему поручению были предупреждены о временной приостановке дела Трепова младшим братом Гоца, Абрамом Рафаиловичем, уже тогда предлагавшим свои услуги боевой организации.

Был октябрь в середине. В заграничных газетах стали появляться известия о забастовках в России. Известия эти становились все многочисленнее и все важнее, и, наконец, появилась телеграмма, что забастовала железнодорожная сеть. Волей-неволей приходилось переживать забастовку в Женеве.

Манифест 17 октября оживил эмиграцию. Его приветствовали, как начало новой эры: в окончательной революции никто не сомневался. Ежедневно устраивались многолюдные митинги. Ораторы говорили о значении совершающегося переворота, и все, или почти все, искренно верили в этот переворот. На одном из таких митингов мне пришлось говорить речь о значении террористической борьбы в истории русской революции.

Когда появились телеграммы, — сперва из крепости — об освобождении почти всех арестованных 15 марта, а потом из Шлиссельбурга — об освобождении шлиссельбуржцов, то даже и скептики начали верить, что правительство вступило на путь

реформ. Падение Шлиссельбурга было залогом близкого падения самодержавия.

В партии и в центральном комитете стали раздаваться голоса, что принятая партией тактика не соответствует политическому моменту, и что она требует изменения. Я подхожу теперь еще к одной причине, сыгравшей, по моему мнению, видную роль в упадке боевой организации, я в ее лице — всего центрального террора. Я говорю о тактике, принятой центральным комитетом непосредственно после 17 октября.

Аресты 17 марта и раскрытие приемов уличного наблюдения, как я уже говорил выше, дали правительству перевес над террором. Кроме того, измена Татарова остановила естественный рост боевой организации и парализовала ее деятельность с марта по октябрь 1905 года. Но измена эта теперь была обнаружена, и Татаров был устранен от каких бы то ни было дел.

С другой стороны, растерянность правительства в момент октябрьского манифеста была невиданно велика. Устранение Татарова и слабость полиции, казалось, давали боевой организации возможность возродиться во всей своей силе и нанести окончательное поражение самодержавию. Случилось, однако, иное. Мнение членов боевой организации, по крайней мере, большинства их ^[11], вступило в резкий конфликт с мнением партии в лице ее центрального комитета, и центральный комитет одержал в этом

конфликте верх. Боевая организация в своем большинстве (за исключением Азефа) стояла на той точке зрения, что единственная гарантия приобретенных свобод заключается в реальной силе. Такой силой, во всяком случае, могло явиться активное воздействие террора. С этой точки зрения террор не только не должен был быть прекращен, но, наоборот, пользуясь благоприятным моментом, необходимо было его усилить и предоставить в распоряжение боевой организации возможно больше людей и средств. Большинство партии, в лице подавляющего большинства центрального комитета, находило, однако, что террор, как крайняя мера, допустим лишь в странах неконституционных, там, где нет свободы слова и печати; что манифестом 17 октября в России объявлена конституция, и что поэтому всякие террористические акты с этого момента принципиально недопустимы. Что же касается гарантии уже приобретенных страной свобод, то центральный комитет полагал, что народ сумеет защитить свое право. Всеобщая забастовка, многотысячные митинги и демонстрации укрепили товарищей в этом мнении.

Предварительное совещание центрального комитета по вопросу о прекращении террора произошло еще в Женеве, на квартире у Гоца. На совещании этом присутствовало много народу, ибо центральный комитет, до реорганизации его первым партийным съездом, был чрезвычайно многочислен; он считал в то

время до 30 членов. На заседании этом голоса разделились. Подавляющее большинство говорило против продолжения террористической борьбы. В этом смысле долго и сильно говорил Чернов. Сущность его речи заключалась в том, что террористические акты после 17 октября по принципиальным причинам недопустимы, но что, действительно, правительству верить нельзя, и единственной гарантией завоеванных прав является реальная сила революции, т. е. сила организованных масс и сила террора. Поэтому, по его мнению, боевую организацию распустить было невозможно, следовало, как он выражался, «держат ее под ружьем». В случае контрреволюции сохраненная под ружьем боевая организация имеет обязанность выступить с народом и на защиту народа.

Точка зрения Чернова была чисто теоретическая. На практике она сводилась к полному упразднению боевой организации, против которого возражал оратор. Для меня было совершенно ясно, что «держат под ружьем» боевую организацию невозможно, и что такое предложение может сделать только человек, совершенно незнакомый с техникой боевого дела. Существование террористической организации, каковы бы ни были ее задачи, — центрального или местного характера, — невозможно без дисциплины, ибо отсутствие дисциплины неизбежно приводит к нарушению конспирации, а таковое нарушение в свою очередь неизбежно влечет за собой частичные или

общие всей организации аресты. Дисциплина же в террористической организации достигается не тем, чем она достигается, например, в армии, — не формальным авторитетом старших; она достигается единственно признанием каждого члена организации необходимости этой дисциплины для успеха данного предприятия. Но если у организации нет практического дела, если она не ведет никаких предприятий, если она ожидает в бездействии приказаний центрального комитета, словом, если «она находится под ружьем», т. е. люди хранят динамит и ездят извозчиками, не имея перед собой непосредственной цели и даже не видя ее в ближайшем будущем, то неизбежно слабеет дисциплина: отпадает единственный импульс для поддержания ее. А с ослаблением дисциплины организация становится легкой добычей полиции. Таким образом, предложение Чернова, на первый взгляд как бы разумное, на самом деле, благодаря незнакомству автора его с предметом, сводилось к тому, что боевая организация неизбежно отдавалась в руки полиции.

Азеф понял это и, возражая Чернову, высказался в пользу полного прекращения террористической деятельности и немедленного роспуска боевой организации. Гоц тоже склонялся к этому мнению.

Я упорно возражал Гоцу, Азефу и Чернову. Я доказывал, что прекращение террористической борьбы будет грубой исторической ошибкой, что нельзя

руководствоваться только параграфом партийной программы, воспреещающей террор в конституционных странах, но необходимо считаться и с особенностями политического положения страны. Я резко настаивал на продолжении деятельности боевой организации.

Неожиданно я встретил частичную поддержку в лице Тютчева. Он заявил, что в общем согласен с мнением центрального комитета, но полагает, что нужно сделать исключение для некоторых лиц, в особенности для Трепова, виновника 9 января, смерть которого будет понятна массам и не вызовет нареканий на партию. К этому мнению, после долгих споров, присоединился и Азеф. В России он отказался и от этой уступки.

На следующий день после этого заседания ко мне пришла Дора Бриллиант. Она молчала, но я видел, что она опечалена.

— Что с вами, Дора?

Она опустила глаза:

— Правда ли, что террор хотят прекратить?

— Правда.

— А боевую организацию распустить?

— Правда.

— И вы позволили это? Вы тоже думаете так?

В ее голосе были слезы.

Я сказал ей свой взгляд и сообщил, что происходило на заседании. Она долго молчала в ответ.

— Значит, кончен террор?

— Значит, кончен.

Она встала и вышла, не говоря ни слова.

В начале ноября в Петербурге состоялось вторичное заседание центрального комитета по тому же вопросу. Голоса опять разделились. Громадное большинство, в том числе Чернов, Потапов, Натансон, Ракитников и Аргунов, держались той точки зрения, что террор следует временно прекратить, а боевую организацию «держат под ружьем». Немногие, в том числе Азеф, настаивали, что такая формула невозможна, и что боевую организацию следует упразднить. Я держался прежнего мнения и, не видя ни в ком поддержки, продолжал утверждать, что партия обессилит себя таким шагом и совершит непоправимую в истории ошибку.

Одну из наиболее сильных речей в пользу полного прекращения террора произнес на этом совещании И. И. Фундаминский. Он доказывал, что главнейшая и насущная задача партии состоит в разрешении аграрного вопроса, что именно в этом заключается ее историческая миссия и ее историческое величие; что теперь, когда политическая свобода уже завоевана, все силы партии должны быть направлены на эту цель; что террористическая борьба отжила свое время; что она, отнимая людей и средства, только ослабит партию и помешает решить экономическую проблему во всей ее полноте. Фундаминский говорил с редким

красноречием, и речь его произвела сильное впечатление.

Большинство центрального комитета склонялось к формуле компромисса, предложенного Черновым. Товарищи не отдавали себе отчета в том, что формула эта губит боевую организацию и уничтожает всякую надежду на центральный террор в близком будущем. Тогда Азеф поднялся и сказал:

— «Держать под ружьем» невозможно. Это — слова. Я беру на свою ответственность: боевая организация распущена. Центральный комитет согласился с его мнением. Я считал и считаю это решение центрального комитета ошибкой. Опрошенные мной товарищи-террористы держались одного мнения со мной. Но выбора не было. Нам приходилось либо подчиниться центральному комитету, либо идти на открытый разрыв со своей партией. Мы выбрали первое, как наименьшее из двух зол. Наша самостоятельная от партии деятельность была тогда невозможна: организация была слаба, собственных средств у нас не было и поддержки в обществе при господствовавшем оптимистическом настроении мы ждать не могли.

Таким образом, был пропущен единственный благоприятный в истории террора момент. Вместо того, чтобы воспользоваться паникой правительства и усилением престижа партии и попытаться возродить боевую организацию во всей ее прежней силе, центральный комитет из теоретических соображений

воспрепятствовал развитию террора. Члены боевой организации разъехались по провинции, боевая организация распалась. Были отдельные люди, принимавшие участие в отдельных террористических актах, но не было единого целого, сильного своим единством. Я должен оговориться. В моих глазах вина этого постановления ни в коем случае не лежит на центральном комитете. Центральный комитет добросовестно выражал в этот момент взгляды громадного большинства партии, и не его, конечно, вина, если партия в решительную минуту оказалась не террористической и недостаточно революционной.

1. [↑](#) Впоследствии в «Новом Времени» появилось известие, что пожертвование это было сделано не американцами, а японским правительством. Жонни Циллиакус опровергал это, и центральный комитет не имел оснований отнестись с недоверием к его словам
2. [↑](#) Тютчев
3. [↑](#) Цитрон
4. [↑](#) А. И. Потапов
5. [↑](#) А. В. Якимова
6. [↑](#) В. В. Леонович
7. [↑](#) Фриденсон
8. [↑](#) Тютчев
9. [↑](#) Гомель
10. [↑](#) заведующий политическим розыском. — Ред.
11. [↑](#) Я с уверенностью могу сказать, что такого мнения, кроме меня, держались еще: Лева и Ксения Зильберберг, Вноровский, Дора Бриллиант, Рашель Лурье, Калашников и выпущенные из крепости Моисеенко и Шиллеров. Мнение же Иванова, Двойникова и Назарова мне неизвестно

Глава I. Покушение на

Дубасова и Дурново

I

Ноябрь и половину декабря я прожил в Петербурге. После роспуска военной организации, по настоянию Азефа, был учрежден особый боевой комитет. Задача этого боевого комитета состояла в технической подготовке вооруженного восстания, и членами его были Азеф и я. Мне было также поручено заведывание петербургской военной организацией.

Я никогда не имел дела с матросами и солдатами, с офицерской средой я был мало знаком. Я чувствовал себя неподготовленным к этой новой для меня, во всех отношениях, работе. Кроме того, у меня не было веры в успех военных восстаний. Я не видел возможности планомерного и совместного выступления армии и народа, а только такое совместное выступление, по

моему мнению, могло обеспечить победу. Подумав, я отказался от предложения. Азеф настаивал.

— Военная организация слаба, нужны люди. У тебя есть боевой опыт. Ты не вправе отказываться от предложения. Как партийный человек, ты должен его принять.

На такой аргумент я не мог возразить ничего. Я вошел в комитет военной организации, но пробыл в нем, однако, не более трех недель. Слухи о московском восстании положили конец моей военной работе.

Я жил на Лиговке в меблированных комнатах, под именем Леона Роде и ежедневно с утра уходил в редакцию «Сына Отечества» на Среднюю Подъяческую улицу. Я не знаю, было ли известно полиции о моем пребывании в Петербурге. Думаю, однако, что ей нетрудно было меня арестовать, тем более, что амнистия коснулась меня только отчасти. Но не было никогда никакой попытки к моему задержанию, более того — я никогда не замечал за собой наблюдения. Я жил, не скрываясь; в «Сыне Отечества» все знали мою фамилию, и товарищи, приходившие по делу ко мне, спрашивали меня просто по имени.

Личная неприкосновенность, полная свобода печати, многочисленные митинги и собрания, наконец, открытое на глазах у всех, существование совета рабочих депутатов — вселяли во многих товарищей преувеличенные надежды. Многие верили в возможность успешной третьей забастовки и не менее

успешного вооруженного восстания в Петербурге и Москве. Я не разделял этих надежд. Мне были известны все боевые силы Петербурга. Я видел, что их очень немного, и я плохо верил в революционный подъем рабочих масс. В боевой неподготовленности пролетариата меня убедил следующий случай.

С боевой точки зрения, Петербург делился на районы. В каждом районе была своя боевая дружина. Одной из таких дружин заведывал П. М. Рутенберг. Однажды вечером я пошел с Рутенбергом в рабочий квартал. Я хотел лично убедиться, действительно ли эти дружины представляют собою крупную силу и действительно ли рабочие массы готовы с оружием в руках защищать завоеванную свободу.

В маленькой рабочей накуренной комнате собралось человек 30. Рутенберг сказал короткую речь. Он сказал, что в Москве началось восстание, что не сегодня-завтра восстание начнется и в Петербурге, и приглашал товарищей приготовиться теперь же ко всем случайностям. Рутенберга внимательно слушали, и я заметил, что он пользуется большим влиянием. Когда он кончил свою речь, я в свою очередь сказал несколько слов. Я сказал, что участие в восстании может быть троякого рода: либо, во-первых, боевая дружина или отдельные члены ее попытаются произвести ряд террористических актов (нападение на дом гр[афа] Витте, взрыв правительственных учреждений и зданий, убийство высших военных чинов и т. д.), либо, во-

вторых, боевая дружина, как часть революционной армии, направится в город и сделает попытку овладеть им и крепостью, либо, наконец, в-третьих, она останется для защиты своего же квартала. Я не скрыл от присутствующих, что партия надеется на них и что в решительный момент все товарищи должны стать под одно общее знамя. В заключение я спросил, на кого именно и в чем может рассчитывать центральный комитет.

Собрание состояло из организованных партийных рабочих, по доброй воле и собственному желанию вошедших в боевую дружину. Нарвская боевая дружина считалась одной из лучших в Петербурге. На мой вопрос присутствующие ответили с полным сознанием серьезности момента и с полной искренностью. Эта искренность и серьезность, я помню, тогда меня поразили. Я привык уже к тому, что революционеры из интеллигенции часто невольно преувеличивают свои силы, что они из ложного самолюбия переоценивают свою боевую готовность. Такого преувеличения я не заметил на этом собрании. Наоборот, каждый, видимо, хотел по совести дать себе отчет в своих силах и ответить на мой вопрос, отбросив личное самолюбие. Двое молодых рабочих предложили себя на акты единичного террора, около трети выразило согласие с оружием в руках идти в город и в крепость, большинство же категорически заявило, что они готовы драться только в том случае, если правительство

устроит погром, иными словами, согласились участвовать в самообороне.

Когда я уходил, произошел маленький эпизод. Эпизод этот лучше всего показывает ту степень добросовестности, с которой рабочие отнеслись к вопросу, поставленному перед ними центральным комитетом. Поднялся пожилой, с проседью, ткач и, сбиваясь, путаясь и краснея, заговорил:

— Вот вам Христос... Как свеча перед истинным... Рад бы вот хоть сейчас умереть за землю и волю... Да, ведь, дети! Поймите, товарищи, пятеро ребят на руках... Господи, неправду давеча я сказал: не могу, и в обороне быть не могу... Освободите, ради Христа. Видит бог — что умереть?..

У него на глазах были слезы. Рутенберг подошел и пожал ему руку.

Причины упадка настроения рабочих были, конечно, понятны. Петербург выдержал две забастовки. Принять участие в третьей — значило идти на вооруженное восстание. А для этого были необходимы и глубокое недоверие к правительству, и не менее глубокая вера в силу начавшейся революции. Рабочие не были вооружены. В Петербург были стянуты войска. Силы были, очевидно, неравные, и призыв совета рабочих депутатов к третьей забастовке был не менее очевидной ошибкой. При обсуждении этого вопроса в центральном комитете я с полным убеждением присоединился к большинству, высказывавшемуся против такого

призыва. К сожалению, мнение партии социалистов-революционеров не встретило сочувствия в совете рабочих депутатов. В Москве началось восстание, но на баррикадах дралось всего несколько сот человек: массы не приняли участия в революции.

Насколько настроение петербургских рабочих не соответствовало историческому моменту, настолько же и войска не были подготовлены пропагандой: не было никакого сомнения, что гвардия зальет кровью всякую попытку восстания в Петербурге. Я убедился в этом, присутствуя на собрании, специально посвященном вопросу о войсках.

Собрание это состоялось в начале декабря в Петербурге почему-то при особо конспиративных условиях: мы собрались ночью, на Лиговке, в особняке кн[язя] Барятинского. Кроме меня и другого представителя партии социалистов-революционеров — члена центрального комитета А. А. Аргунова, — присутствовали еще: от российской социал-демократической партии — Л. Дейч, от союза союзов — г. г. Лутугин и Чарнолусский и от офицерского союза — некий поручик NN. Целью собрания было установить, какие именно из войсковых частей, главным образом, гвардии, откажутся стрелять в народ и какие могут перейти открыто на сторону революции. Я знал состояние нашей военной организации. Знал, что в ее состав входят отдельные солдаты почти из всех батальонов, эскадронов и батарей, расположенных в

Петербурге, но я знал также, что эти разбросанные по отдельным войсковым частям единицы не представляют собою никакой силы. Даже если бы все солдаты, члены военной организации, отказались стрелять, то и тогда это было бы в массе стреляющих совершенно незаметно. Период военных восстаний тогда еще не наступил, да и впоследствии в этих военных восстаниях гвардия почти не участвовала. В Петербурге же гарнизон состоял, главным образом, из гвардейских частей. Seriously рассчитывать можно было единственно на матросов Балтийского флота, но революционные экипажи находились в Кронштадте, и поэтому их значение сводилось к нулю.

Таково было положение военной организации партии социалистов-революционеров. Я полагал, не без основания, что у социал-демократов дело обстоит не лучше. Вопрос был только за офицерским союзом, в котором, по словам его представителя, числилось около 60 офицеров, преимущественно флота и гвардии.

Собрание открылось докладом именно этого представителя. Он сообщил, что во всех полках гвардии имеются сочувствующие офицеры, что таких офицеров особенно много в гвардейской артиллерии и что они не остановятся перед самыми решительными действиями в пользу революции. Закрадывалось сомнение, не преувеличил ли докладчик сил офицерского союза, не представил ли он положение дел не в том виде, в каком оно есть на самом деле, а в том, в каком ему хочется его

видеть. В дальнейшем эти предположения подтвердились. На прямой вопрос, какие же именно полки или батареи откажутся стрелять в революционеров, докладчик не мог дать ответа. Он должен был сознаться, что сочувствие отдельных офицеров революционному движению еще ни в малой мере не доказывает, что солдаты не будут стрелять в народ, более того, что сами эти офицеры откажутся от своей военной присяги. Опыт Семеновского полка в Москве подтвердил этот вывод: мне неизвестно, были ли среди семеновцев сочувствующие офицеры, но я знаю, что в полку были отдельные солдаты-революционеры. Несмотря на это. Семеновский полк прославился своим усмирением Москвы, и революционные его элементы, несомненно, принимали участие в этом усмирении.

В социал-демократической партии военная работа стояла не лучше, чем у нас. Из сообщения Л.Дейча можно было убедиться, что ни на какие значительные войсковые части рассчитывать нельзя. Нужно сказать, что и его доклад отличался тем же оптимизмом, которым был проникнут доклад офицерского союза. Оптимизм этот легко мог ввести партии в заблуждение относительно истинной силы революционных военных организаций.

У меня от этого собрания, в противоположность результатам рабочего собрания за Нарвской заставой, осталось самое грустное впечатление. Не говоря уже о

том, что воочию выяснилось, что революция ни в коем случае не может рассчитывать в Петербурге на поддержку войск, самый характер собрания не соответствовал моему о нем представлению: собрание закончилось разговором на тему, как, где и из кого можно организовать кружки для пропаганды среди офицеров.

Таким образом, у меня уже не оставалось сомнения в том, что успешное массовое восстание в Петербурге невозможно. Была, однако, надежда, что удастся поддержать московскую революцию удачным террором. Но боевая организация была распущена. Наличный ее состав, кроме Азефа, Доры Бриллиант, выпущенного из тюрьмы Моисеенко и меня, разъехался из Петербурга. Моисеенко был занят освобождением из больницы Николая-чудотворца психически заболевшего Дулебова, Дора Бриллиант могла быть полезной, главным образом, своими химическими познаниями, Азеф и я, отчасти вместе с Рутенбергом, занялись рассмотрением возможностей немедленных террористических актов.

Первым таким актом являлся взрыв моста на Николаевской железной дороге. Такой взрыв, во-первых, отрезал бы Москву от Петербурга, а во-вторых, заставил бы бастовать Николаевскую железную дорогу. Была надежда, что если Николаевская железная дорога забастует, то забастует и весь петербургский железнодорожный узел, а с ними и все рабочее население Петербурга. Этот взрыв взял на себя

железнодорожный союз. Мы передали его представителю, Соболеву, бомбы и динамит, но покушение не состоялось: его участники едва не были арестованы на месте.

Все другие планы, как, например, взрыв охранного отделения, взрыв электрических, телефонных и осветительных проводов, арест гр[афа] Витте и прочее, тоже не могли быть приведены в исполнение, отчасти потому, что в некоторых пунктах намеченные места охранялись так строго, как будто полиция была заранее предупреждена о покушении. Тогда же со мной произошел странный случай, убедивший меня, что полиция узнала о моем пребывании в Петербурге, но почему-то не желает арестовать.

Однажды после свидания с Азефом и Рутенбергом на квартире инженера П. И. Преображенского я, спускаясь с лестницы, заметил через стеклянные двери, что у подъезда стоят околоточный и двое филеров. Швейцар распахнул передо мной дверь и, пропустив меня, стал позади. Я очутился в ловушке. Выйдя на улицу, я заметил, как один филер сделал движение руками, как будто желая схватить меня, но тотчас же я услышал голос, вероятно, околоточного надзирателя:

— Никаких мер не принимать.

Я, не оборачиваясь, прошел по переулку до ближайшего извозчика. Филеры не последовали за мной.

Дня за два до московского восстания Азеф уехал в Москву. Мне как члену боевого комитета была поручена «техническая подготовка восстания» в Петербурге. Я немедленно устроил две динамитные мастерские. Обе они были арестованы неожиданно и по непонятным причинам, но я в аресте их не заподозрил тогда провокации. Первая мастерская помещалась в Саперном переулке. В ней должны были работать товарищи Штолтерфорт, Друганов и Александра Севастьянова, жившая у Штолтерфорт в качестве прислуги. Севастьянова во время ареста настолько удачно разыграла роль горничной, что ее оставили на свободе. Штолтерфорт и Друганов по приговору суда были лишены всех прав состояния и сосланы в каторжные работы на 15 лет. Одновременно, в ту же самую ночь, была арестована и вторая мастерская. Она помещалась в Свечном переулке, на квартире у Всеволода Смирнова, моего товарища по университету, впоследствии члена боевой организации. Он жил по своему паспорту, но не был под наблюдением полиции. В одной квартире с ним жила молодая девушка, Бронштейн. Квартира эта служила передаточным местом для переезда из Финляндии оружия. Я знал об этом, но я не мог в короткий срок и при почти полном отсутствии нелегальных работников снять квартиру на нелегальное имя. Кроме того, я знал также, что финский транспорт оружия неизвестен полиции, и надеялся, что четыре-пять дней можно работать и в такой, грешащей против строгой конспирации, квартире.

Химиком в одну из мастерских предназначалась Дора Бриллиант. На ее обязанности было сделать, с помощью Бронштейн и Смирнова, несколько десятков бомб македонского образца.

Еще не было приступлено к работе, как мастерская была обнаружена. Смирнов и Бронштейн, предупрежденные дворником, успели скрыться. На квартире была арестована Дора Бриллиант с оболочками для бомб и член финской партии Активного Сопротивления Онни Николайнен. Он принес туда с вокзала несколько револьверов.

Эти аресты не коснулись меня. Меня не только не арестовали, но даже не учредили за мной наблюдения. Я тогда не мог объяснить себе причин этого. Я непосредственно сносился с Дорой Бриллиант, встречался со Смирновым, Бронштейн, Другановым. Я не мог также объяснить себе совпадения обоих арестов, как и того, что они произошли до начала работ в мастерских, когда, следовательно, не было еще повода к подозрению. Но в виду других, более крупных событий, обстоятельства этих арестов забылись. Они так и остались неразъясненными. Этими двумя мастерскими и ограничилась попытка «подготовки восстания» в Петербурге. Динамита в городе было много, но готовых снарядов почти не было вовсе. Было также оружие, главным образом, револьверы систем Браунинга и Маузера, но оружие это было разбросано по складам, и

им трудно было распорядиться в нужную минуту. Боевых сил было не больше.

Впоследствии Николайнен был сослан в Сибирь и оттуда бежал за границу. Дора Бриллиант, после долгого заключения в Петропавловской крепости, психически заболела и умерла в октябре 1907 года.

Дора Владимировна (Вульфовна) Бриллиант (по мужу Чиркова) родилась в 1879 или 1880 г. в еврейской купеческой семье, в Херсоне. Она получила образование в херсонской гимназии, затем на акушерских курсах при юрьевском университете. В партию она вошла в 1902 г. и работала первоначально в киевском комитете. С марта 1904 г. она приняла участие в деле Плеве. В ее лице боевая организация лишилась одной из самых крупных женщин террора.

II

После неудачного московского восстания снова был поднят вопрос о боевой организации. Не могло быть сомнения, что правительство окончательно вступило на путь реакции, а следовательно, не могло быть сомнения и в необходимости террора. Однако, решение этого вопроса было отложено до окончания работ первого общепартийного съезда. Съезд этот состоялся в самом конце 1905 г. и в первых числах января 1906 г. в гостинице «Turisten» на Иматре.

Гостиницу эту содержал член финской партии Активного Сопротивления Уно Серениус. В Финляндии еще не был принят тогда закон о выдаче политических преступников, и члены съезда могли, не боясь за свою безопасность, спокойно работать в течение нескольких дней. На съезде не поднимался вопрос о центральном терроре, — он был решен в заседании избранного съездом центрального комитета, куда вошли по выбору: М. А. Натансон, В. М. Чернов, Н. И. Ракитников, А. А. Аргунов и Азеф. Впоследствии в состав этого комитета были кооптированы еще: П. П. Крафт (умер в 1907 г. в Петербурге), С. Н. Слетов и я. Я присутствовал на заседаниях съезда в качестве одного из представителей боевой организации, но в дебатах участия не принимал.

Съезд, после долгих прений, выработал программу партии социалистов-революционеров и ее организационный устав. Он, кроме того, единогласно принял постановление о бойкоте первой Государственной Думы и выборов в нее. Из отдельных его эпизодов я считаю важнейшим дебаты по поводу предложения, внесенного В. А. Мякотиним, А. В. Пешехоновым и Н. Ф. Анненским — впоследствии основателями народно-социалистической партии.

В вечернем заседании 30 декабря 1905 года, посвященном вопросу об организационном уставе,

попросил слова тов. Рождественский (В. А. Мякотин). Он сказал:

«...Наша жизнь пришла к моменту, когда требуется выступление открытой политической партии, но устав обходит этот вопрос. Между тем, можно ли сомневаться, что только такая открытая партия, организованная на демократических началах, что только она может создать новые формы жизни? Разрушительная работа может еще производиться небольшими группами, работа же созидательная должна совершаться большими организованными массами, — и такая работа нам предстоит... Кто останется с кружками, — те останутся в стороне. Речь идет не об одном выборном начале, — это сравнительно мелочь; речь может идти только о том, переходить ли на путь открытой политической партии или нет».

В. А. Мякотин предлагал совершенно новый принцип организации. Он звал партию из подполья на широкую политическую арену, он требовал замены конспиративной кружковщины открытой и, по манифесту 17 октября, легальной агитацией в массах. Только такая агитация могла, по его мнению, привести к созданию сильной и связанной с народом партии. Н. Ф. Анненский поддерживал его предложение:

«...Теперь везде играют роль массы, и с одним сочувствием далеко не уйти. Партия не всегда могла быть в курсе, как настроена масса, хотя бы по вопросу о забастовке;

уверенности в настроении массы не было, было только угадывание, как эта масса чувствует. Надо сплотить массу. До сих пор приискивали по одному человеку; когда будет организована масса, она сама начнет выделять силы, в интересах борьбы выделять пропагандистов. Массу нельзя связать с конспиративной организацией, вовлечь в конспирацию. Единственный путь: существующую организацию конспиративную сохранить и рядом с ней строить другую. Говорят, что сейчас это несвоевременно; но после 17 октября был период, когда этого не сказал бы никто, и мы тогда, предвидя реакцию, настаивали перед центральным комитетом на открытой партии. Центральный комитет не решился тогда взять на себя ответственность за это и отказался... Мы полагаем, что за организацию новой партии должны взяться люди, стоящие во главе существующей организации; если они возьмутся за это, то они и придадут новой партии необходимую окраску, создадут настроение, и тогда должна будет определиться равнодействующая обеих организаций. Надо сохранить существующую организацию, улучшить ее, как деловую, и в то же время, пользуясь имеющимися силами, качать организацию новой большой партии... Когда масса организуется и обратится в партию, ока будет иметь громадную силу».

Анненскому и Мякотину возражали многие товарищи. Сущность этих возражений сводилась к следующему:

«Понимание необходимости при первой же возможности организовать открытую партию у нас есть, но оно дополняется еще другим пониманием, — необходимости упорного расчищения пути суровой борьбой, натиском организованных конспиративно-боевых сил. Мы работаем для будущей открытой организации даже тогда, когда по внешности пользуемся противоположным методом, — уходим в подполье, кропотливо, во тьме, куем оружие и втайне готовим удары врагу. Но, может быть, настало время проститься с нелегальностью главной части работы? Ничего подобного; напротив: организации, выступившие открыто и легально, как, например, крестьянский всероссийский союз, железнодорожный союз и т. д., теперь загоняются в подполье. Я ставлю товарищам первый вопрос: считаем ли мы возможным обойтись дальше без террора? Если же это очевидно невозможно, то возможна ли организация такой партии, в программе которой стоит террор? А если это невозможно, то что же возможно? Здесь-то и выступает следующее предложение товарищей; параллельно открытой партии почему не быть партии конспиративной, сохраняющей прежние приемы борьбы? Удвоим себя, будем существовать „в двух лицах“. Затруднение, по-видимому, устранено, но только по-видимому. На его место встает новое затруднение: каждая партия должна иметь определенную тактику, на каждый вопрос партия должна отвечать открыто. Как же стали бы отвечать обе партии на самые больные, самые острые вопросы? Если они будут отвечать одинаково, то, следовательно, это будет одна партия, и двойное существование ее никого не обманет. Если будут отвечать

различно или если одна будет на известные вопросы отвечать, а другая умалчивать, то дело неизбежно кончится их расхождением... Неизбежно возникнут трения и борьба. Да разве мыслимо быть рядом в двух партиях?»

Оратор закончил свою речь следующими словами, которые были покрыты аплодисментами: «Мы говорили, что рабочий класс должен быть верховным законодателем, но путь к такой организации, которая осуществит „прямое народное законодательство“, лежит через Кавдинские ущелья, а через эти ущелья необходимо идти сомкнутым строем, тесными группами, в них пройдешь широко развернутым фронтом» (речь В. М. Чернова).

После долгих дебатов В. А. Мякотин внес на суждение съезда следующую резолюцию:

«Признает ли съезд желательным, сохраняя пока существующую организацию активных сил партии, приступить при их деятельном участии, к созданию открытой политической партии, как особой организации, построенной на широких демократических началах?»

Большинством всех голосов против одного при семи воздержавшихся съезд по поводу этой резолюции высказался отрицательно. Затем была принята резолюция И. А. Рубановича и М. А. Натансона:

«Партия социалистов-революционеров, представительница интересов городского пролетариата и трудового крестьянства, объединяемых ею в единый рабочий класс, борющийся непримиримо против всех классов эксплуататоров и партий, их представляющих, как бы ни были радикальны политические программы последних, — стремится всей своей деятельностью к установлению такого режима, при котором эта борьба могла бы происходить в самых широких размерах, в самом тесном общении и единении с трудящимися массами, на вполне открытой арене и в кадрах открытой организации.

В виду современных политических условий и потребностей текущей борьбы, немедленный переход от конспиративной организации к вполне открытой партии социалистов-революционеров признается еще невозможным».

В обоих случаях я воздержался от голосования. Я не мог голосовать за резолюцию Пешехонова, Анненского и Мякотина, потому что считал задачу, намеченную ими, практически в данное время неосуществимой: правительство несомненно не допустило бы легального существования партии социалистов-революционеров, даже если бы боевые ее силы были выделены в особую, совершенно самостоятельную организацию. Опыт партии народных социалистов доказал впоследствии невозможность существования в России открытой социалистической партии: сами основатели ее, я думаю, должны признать, что, благодаря преследованиям

правительства, ее влияние на массы было невелико, а ее политическое значение — ничтожно.

Я не мог также голосовать за резолюцию центрального комитета. Я считал, что предложение Пешехонова, Анненского и Мякотина было в принципе верно, и что, наоборот, съезд, в лице центрального комитета, не уловил того противоречия в партийной тактике, которое впоследствии не раз давало себя чувствовать и не раз ставило партию и, в частности, террор в тяжелое положение. Большинство партийных работников стремилось ко всеобщему вооруженному восстанию, как конечному и победоносному завершению начавшейся революции. Это вооруженное восстание казалось им возможным и близким. «Принимая во внимание, — гласит одна из резолюций съезда, — что, по нашему общему убеждению, крупный аграрный взрыв, если не полное крестьянское восстание, в целом ряде местностей почти неизбежен, съезд рекомендует всем учреждениям партии быть к весне в боевой готовности и заранее составить целый план практических мероприятий, вроде взрыва железных дорог и мостов, порчи телеграфа, распределить роли в этих предприятиях и т. д., наметить административных лиц, устранение которых может внести дезорганизацию в среду местной организации, и т. д.» (принято без прений).

Такой взгляд диктовал, конечно, и определенную тактику. Террор центральный и местный отходил на

второй план. Наоборот, «техническая подготовка восстания» приобретала первостепенное значение. Не меньшее значение приобретала и революционная агитация в массах. Отсюда бойкот первой Думы, как средство для такой агитации, отсюда участие во второй Думе, как использование думской трибуны в тех же целях. Отсюда, далее, — подчинение террора агитационным задачам и агитационных задач — подготовке восстания. В этом взгляде была, конечно, своя логика, но нельзя не признать, что реальные условия жизни разрушили ее. Конспиративно и кружковщиной нельзя серьезно воздействовать на массы: в пределах нелегальной партии агитация всегда ограничена, неизбежно захватывает только узкие слои народных масс. И дальше, — «подготовка восстания», «план практических мероприятий» при отсутствии стихийного взрыва, исключающего нужду в такой подготовке, — осуществимы только конспиративной организацией, заговором. Большинство партийных работников в своей тактике попадало, поэтому, в заколдованный круг: только открытая агитация может дать желательный результат, только заговор может результат этот использовать технически. Соединение того и другого в одной партии неизбежно ведет ее к ослаблению — либо агитация замыкается в рамки подпольных комитетов, либо «подготовка восстания» сталкивается с открытой или полукрытой агитацией и теряет тогда характер заговора. Пешехонов, Мякотин и

Анненский понял это противоречие и пытались его устранить. Я не мог не согласиться с ними.

Далее. Самые надежды на близость всеобщего восстания могли казаться преждевременными. Не было признаков, знаменующих высокий подъем революционного настроения в крестьянстве. Поэтому едва ли разумно было строить партийную тактику на уверенности в близости крупного аграрного взрыва. Наоборот, можно было прийти к необходимости медленной и долгой, упорной социалистической работы, работы созидания партии легальным путем. 17 октября был дан известный минимум политической и гражданской свободы. Немедленное использование этого минимума в целях мирной социалистической пропаганды, с одной стороны, и закрепления легальных партийных форм, с другой, — такова была, по мнению Анненского, Пешехонова и Мякотина, одна из насущных задач только что пережитого момента. И в этом пункте я не мог с ними не согласиться.

Наконец, в дебатах на съезде было вскользь упомянуто еще об одном вопросе — о центральном терроре. Необходимостью его Чернов аргументировал невозможность разделения партии на две части. Если бы я даже мог признать, что всеобщее восстание неизбежно и близко, то и тогда я не присоединился бы к мнению партийного большинства. В моих глазах партия даже в то время была недостаточно сильна, чтобы ставить перед собою две одинаково трудные

практические задачи: задачу «подготовки восстания» и задачу террора. Неизбежно силы партии разбились бы. Неизбежно террор пострадал бы в своей интенсивности и широте. Неизбежно «техническая подготовка» лишилась бы многих ценных работников. Отказ же от вооруженного восстания и соединение в одной партии боевых функций с мирной социалистической агитацией не привел бы к результатам лучшим, чем те, которые получились от тактики, принятой большинством съезда. Террор неизбежно мешал бы мирной работе, отвлекая от нее силы и средства. Он неизбежно компрометировал бы ее, как компрометировал социально-революционную фракцию во второй Думе. И, наоборот, мирная социалистическая агитация в пределах той же партии неизбежно препятствовала бы развитию террора: интересы партийной агитации взяли бы верх над интересами террора и революции. Так случилось впоследствии, когда террор был неоднократно прекращаем и возобновляем центральным комитетом по причинам политическим, т. е. по условиям данного преходящего момента.

Вот почему я, не голосуя за предложение Анненского, Пешехонова и Мякотина, не голосовал также и за формулу центрального комитета. Я находил, что надежды на всеобщее восстание преждевременны, что только террор является той силой, с которой правительство будет серьезно считаться и которая может вынудить его на значительные уступки; что

партийная тактика должна, поэтому, прежде всего исходить из пользы террора; что польза террора, как равно и интересы мировой социалистической агитации, требуют в настоящий момент разделения партии на две идейно связанные, но организационно независимые части: на партию полулегальной или даже конспиративной социалистической агитации, но не в целях всеобщего в близком будущем восстания, а в целях распространения партийных идей, и на организацию, которая, сосредоточив в себе все боевые социально-революционные элементы, поставила бы своей целью развитие центрального и местного широкого террористического движения.

Мнение Анненского, Пешехонова и Мякотина осталось в меньшинстве. Они все трое ушли из партии. Я, немедленно после съезда, вместе с Азефом приступил к воссозданию боевой организации.

III

Базой для нашей террористической деятельности мы избрали Финляндию. Как я уже говорил, в Финляндии тогда не могло быть и речи о выдаче кого-либо из нас русскому правительству, а если бы такой вопрос и возник, то мы немедленно были бы извещены и, значит, имели бы время скрыться. Во всех финских правительственных учреждениях и даже в полиции

были члены финской партии Активного Сопротивления или люди, сочувствующие ей. Финны эти оказали нам много ценных услуг.

Мы находили у них приют, они покупали для нас динамит и оружие, перевозили его в Россию, доставляли нам финские паспорта и прочее. Особенно близко сошлись мы с четырьмя «активистами», людьми, горячо преданными русской революции, смелыми и энергичными. Хотя они и не вступили в боевую организацию, но каждый из нас всегда мог рассчитывать на их помощь, даже если бы эта помощь была связана с большим риском. Эти четверо были: учительница лицея Айно Мальмберг, служащая в торговой конторе Евва Прокопе, архитектор Карл Франкенгейзер и студент гельсингфорсского университета Вальтер Стенбек, принимавший в 1905 году непосредственное участие в освобождении из тюрьмы убийцы прокурора Ионсона, Леннарта Гогенталя. Можно без преувеличения сказать, что только свободным условиям Финляндии и помощи названных лиц мы были обязаны быстрым и не сопряженным с жертвами восстановлением боевой организации.

Как только стало известным, что партия решила возобновить террор, старые члены боевой организации стали съезжаться в Финляндию. Некоторые из них успели за это короткое время принять участие в отдельных боевых актах в провинции; так, Борис

Вноровский участвовал в освобождении Екатерины Измаиловны из минской тюрьмы. Кроме него, Азефа и меня, в Гельсингфорс приехали еще: Моисеенко, Шиллеров, Рашель Лурье и Зильберберг. В Петербурге остался только Петр Иванов, извозчик.

Центральный комитет решил, что боевая организация предпримет одновременно два крупных покушения: на министра внутренних дел Дурново и на московского генерал-губернатора Дубасова, только что «усмирившего» Москву. Из соображений политических нам, однако, было поставлено условие, чтобы оба эти покушения были закончены до созыва первой Государственной Думы. Это условие сильно стесняло нас: оба дела были трудные и требовали долгого времени для своей подготовки. Кроме того, наличный состав боевой организации был слишком малочислен, чтобы в такой короткий срок совершить хотя бы одно из этих покушений. Поэтому первой нашей заботой было пополнить наш состав новыми членами.

К весне 1906 г. в боевую организацию входили, кроме перечисленных выше, еще следующие лица: Владимир Азеф (брат Евгения Азефа), Мария Беневская, Владимир Вноровский (брат Бориса Вноровского), Борис Горинсон, Абрам Рафаилович Гоц (брат Михаила Гоца), Двойников, Александра Севастьянова, Владимир Михайлович Зензинов, Ксения Зильберберг, Кудрявцев («Адмирал»), Калашников, Валентина Колосова (урожденная Попова), Самойлов, Назаров, Павлов,

Пискарев, Всеволод Смирнов, Зот Сазонов (брат Егора Сазонова), Павла Левинсон, Трегубов, Яковлев и некий рабочий «Семен Семенович», фамилия которого мне неизвестна. Всего в боевой организации было тогда около 30 человек. Я считал, что такое переполнение организации только вредит делу, и не раз указывал на это Азефу. Азеф не соглашался со мной: по его инициативе и только с его одобрения были приняты некоторые из перечисленных мною лиц. Лица эти, достойные всякого уважения и готовые на всякое боевое дело, были, однако, лишними в наших планах и оставались в бездействии.

Из новых товарищей мое внимание в особенности обратили на себя четыре лица: Абрам Гоц, «Адмирал», Федор Назаров и Мария Беневская. Каждый из них представлял собою не только крупную боевую силу, но и оригинальную, не похожую на других, индивидуальность и каждый из них сыграл, по-своему, заметную роль в боевой организации.

Абрам Гоц был сын очень богатого купца. Молодой человек лет 24, крепкий, черноволосый, с блестящими черными глазами, он во многом напоминал своего старшего брата. У него был неиссякаемый источник революционной энергии, а отсутствие опыта заменялось большим практическим умом. От него постоянно исходила инициатива различных боевых предприятий, он непрерывно был занят составлением всевозможных террористических планов. Убежденный

последователь Канта, он относился, однако, к террору почти с религиозным благоговением и брался с одинаковой готовностью за всякую, самую неблагоприятную террористическую работу.

По своим взглядам он был правоверный социалист-революционер, любящий массу, но любовь эту он сознательно принес в жертву террору, признавая его необходимость и видя в нем высшую форму революционной борьбы. Его ожидала судьба всех даровитых террористов: он был арестован слишком рано и не успел занять в терроре то место, на которое имел все данные, — место главы боевой организации.

«Адмирал» был выше среднего роста, блондин, с большими светло-голубыми глазами. Он сразу привлекал к себе своей спокойной силой. В нем не было блестящих задатков Гоца, но он был одним из тех редких людей, на которых можно целиком положиться в уверенности, что они не отступят в решительную минуту. Больше, чем кто-либо другой, он вносил в организацию дух братской любви и дружеской связи.

Федор Назаров, рабочий Сормовского завода, по характеру был полной противоположностью «Адмиралу». Он тоже принадлежал к тем людям, которые, однажды решившись, без колебания отдадут свою жизнь, но мотивы его решения были иные. «Адмирал» верил в социализм, и террор был для него неотделимой частью программы партии социалистов-революционеров. У Назарова едва ли была твердая вера.

Пережив сормовские баррикады, демонстрацию рабочих под красным знаменем и шествие тех же рабочих за трехцветным национальным флагом, он вынес с завода презрение к массе, к ее колебаниям и к ее малодушию. Он не верил в ее созидательную силу и, не веря, неизбежно должен был прийти к теории разрушения. Эта теория шла навстречу его внутреннему чувству: в его словах и делах красной нитью проходила не любовь к униженным и голодным, а ненависть к унижающим и сытым. По темпераменту он был анархист и по мировоззрению далек от партийной программы. Он имел свою, вынесенную им из жизни, оригинальную философию, в духе индивидуального анархизма. В терроре он отличался из ряда вон выходящей отвагой и холодным мужеством решившегося на убийство человека. Организацию и каждого из членов ее он любил с тем большей любовью, чем сильнее было его презрение к массе и чем озлобленнее была ненависть к правительству и буржуазии. Он едва ли сознавал истинные размеры своих сил.

Мария Беневская, знакомая мне еще с детства, происходила из дворянской военной семьи. Румяная, высокая, со светлыми волосами и смеющимися голубыми глазами, она поражала своей жизнерадостностью и весельем. Но за этою беззаботною внешностью скрывалась сосредоточенная и глубоко совестливая натура. Именно ее, более чем

кого-либо из нас, тревожил вопрос о моральном оправдании террора. Верующая христианка, не расстававшаяся с евангелием, она каким-то неведомым и сложным путем пришла к утверждению насилия и к необходимости личного участия в терроре. Ее взгляды были ярко окрашены ее религиозным сознанием, и ее личная жизнь, отношение к товарищам по организации носили тот же характер христианской незлобивости и деятельной любви. В узком смысле террористической практики она сделала очень мало, но в нашу жизнь она внесла струю светлой радости, а для немногих — и мучительных моральных запросов.

Однажды в Гельсингфорсе я поставил ей обычный вопрос:

— Почему вы идете в террор?

Она не сразу ответила мне. Я увидел, как ее голубые глаза стали наполняться слезами. Она молча подошла к столу и открыла евангелие.

— Почему я иду в террор? Вам неясно? «Иже бо аще хочет душу свою спасти, погубит ю, а иже погубит душу свою мене ради, сей спасет ю».

Она помолчала еще:

— Вы понимаете, не жизнь погубит, а душу...

Назаров говорил иное. Я встретился с ним впервые в Москве, в ресторане «Волна», в Каретном ряду. Он пил пиво, слушал машину и спокойно, почти лениво, отвечал на мои вопросы:

— По-моему, нужно бомбой их всех... Нету правды на свете... Вот во время восстания сколько народу убили, дети по миру бродят... Неужто еще терпеть? Ну, и терпи, если хочешь, а я не могу.

«Адмирал» не говорил ничего. Товарищ М. А. Спиридоновой, крестьянский партийный работник, он видел еще перед своими глазами реки крови и возы розог. Он помнил еще Луженовского, помнил Жданова и Абрамова и не мог простить Лауницу усмирения Тамбовской губернии. За этим молчанием мне чудился тот же вопрос, который поставил Назаров:

— Неужто еще терпеть?

Военная организация еще не сорганизовалась, и еще не все товарищи приехали в Гельсингфорс, когда Азеф неожиданно отказался от участия в терроре. Мы обсуждали втроем, — он, Моисеенко и я, — план нашей будущей кампании. В середине разговора Азеф вдруг умолк.

— Что с тобой?

Он заговорил, не подымая глаз от стола:

— Я устал. Я боюсь, что не могу больше работать. Подумай сам: со времени Гершуни я все в терроре. Я имею право на отдых.

Он продолжал, все еще не подымая глаз:

— Я убежден, что ничего на этот раз у нас не выйдет. Опять извозчики, папиросники, наружное

наблюдение... Все это вздор... Я решил: я уйду от работы. «Опанас» (Моисеенко) и ты справитесь без меня.

Мы были удивлены его словами: мы не видели тогда причин сомневаться в успехе задуманных предприятий. Я сказал:

— Если ты устал, то, конечно, уйди от работы. Но ты знаешь, — мы без тебя работать не будем.

— Почему?

Тогда Моисеенко и я одинаково решительно заявили ему, что мы не чувствуем себя в силах взять без него ответственность за центральный террор, что он — глава боевой организации, назначенный центральным комитетом, и еще неизвестно, согласятся ли остальные товарищи работать под нашим руководством, даже если бы мы приняли его предложение.

Азеф задумался. Вдруг он поднял голову:

— Хорошо, будь по-вашему. Но мое мнение, — ничего из нашей работы не выйдет.

Тогда же был намечен следующий план. Было решено сосредоточить главные силы в Петербурге: дело Дурново нам казалось труднее дела Дубасова. В обоих случаях был принят метод наружного наблюдения. Из соображений конспиративных, петербургская наблюдающая организация разделилась на две самостоятельные и связанные только в лице Азефа группы: на группу извозчиков (Трегубов, Павлов, Гоц),

с которой непосредственно должен был сноситься Зот Сазонов, и на смешанную группу из пяти человек, куда входили извозчики — «Адмирал» и Петр Иванов, газетчик Смирнов и уличные торговцы Пискарев и Горинсон. С этой последней группой должен был все сношения вести я. Параллельно с этим учреждалось, под моим руководством, наружное наблюдение в Москве за адмиралом Дубасовым (Борис и Владимир Вноровские, Шиллеров). Кроме того, Зензинов уехал в Севастополь, чтобы на месте выяснить возможность покушения на адмирала Чухнина, усмирившего восстание на крейсере «Очаков»; Самойлов и Яковлев предназначались для покушения на генерала Мина и полковника Римана, офицеров лейб-гвардии Семеновского полка; Зильберберг стал во главе химической группы, куда вошли, кроме него, его жена Ксения, Беневская, Левинсон, Колосова, Лурье, Севастьянова, «Семен Семенович». Группа эта наняла для лаборатории дачу в Териоках. Наконец, Моисеенко, Калашников, Двойников и Назаров оставались пока в резерве и жили в Финляндии.

Прошел весь январь, пока организация приступила к работе. Азеф и я жили в Гельсингфорсе: Азеф на квартире у Мальмберг, я снимал комнату в незнакомом финском семействе по паспорту Леона Роде. Мне приходилось бывать в этой комнате очень редко: я был в постоянных разъездах между Москвой и Петербургом.

Я приезжал в Гельсингфорс только для совещания с Азефом.

IV

С начала февраля установилось правильное наблюдение за Дубасовым. Шиллеров и оба брата Вноровские купили лошадей и сани и, как некогда Моисеенко и Каляев, соперничали между собою на работе. Все трое мало нуждались в моих указаниях. Одинаково молчаливые, одинаково упорные в достижении поставленной цели, одинаково практичные в своих извозчичьих хозяйских делах, они зорко следили за Дубасовым. Дубасов, как когда-то Сергей Александрович, жил в генерал-губернаторском доме на Тверской, но выезжал реже великого князя, и выезды эти были нерегулярны. Наблюдение производилось обычно на Тверской площади и внизу, у Кремля. Вскоре удалось выяснить внешний вид поездок Дубасова: иногда он ездил с эскортом драгун, иногда, реже, в коляске, один со своим адъютантом. Этих сведений было, конечно, мало, и мы не решались еще приступить к покушению.

Первоначально наблюдение производилось только Шиллеровым и Борисом Вноровским. Владимир Вноровский заменил собою Михаила Соколова,

впоследствии шефа максималистов. Соколов одно время состоял членом боевой организации.

Однажды в Гельсингфорсе, на одну из наших конспиративных квартир, явился высокий мускулистый, крепко сложенный молодой человек. Мне бросилась в глаза «особая примета» — несколько родинок на правой щеке. Азеф познакомил меня с ним. Это был «Медведь» — Михаил Соколов.

На этом первом свидании Соколов сказал нам, что он не во всем согласен с программой партии социалистов-революционеров, что он придает решающее значение террору; что боевая организация — единственное сильное террористическое учреждение и что поэтому он хочет работать с нами, несмотря на свои программные разногласия.

Я много слышал о Соколове. Я слышал о нем, как об одном из вождей московского восстания, как о человеке исключительной революционной дерзости и больших организаторских способностей. Личное впечатление оставалось от него самое благоприятное: он говорил обдуманно и спокойно, и за словами его чувствовалась глубокая вера и большая моральная сила. Я обрадовался его предложению.

Азеф говорил мне, и я видел сам, что Соколов более, чем кто-либо другой, способен внести в организацию энергичную инициативу и даже взять на себя руководство всеми ее делами. Ему не хватало опыта. Таким опытом могло служить московское дело.

Он должен был, в качестве извозчика, руководить наблюдением.

Соколов согласился на эту роль не без некоторого колебания.

— Меня знают в Москве, знает вся Пресня. Я легко могу встретить филеров, которые раньше знали меня.

Я сказал ему, что опыт показывает безопасность таких непредвиденных встреч. Не только филер, но даже близкий товарищ не могут узнать в извозчике и на козлах то лицо, которое привыкли видеть студентом или в статском костюме. Я указал на пример Бориса Вноровского, москвича, который, однако, не видит риска в своем пребывании в Москве. Соколов, выслушав меня, согласился со мною.

Недели через полторы я приехал в Москву и не нашел его на условленной явке. Я обратился к Слетову. Слетов в это время был агентом боевой организации для Москвы: он доставлял деньги и паспорта, собирал сведения о Дубасове, проверял кандидатов, предлагавших себя на террор, и был звеном между нами и всеми, имевшими до нас дело. Через Слетова я разыскал Соколова на какой-то даче в Сокольниках. Соколов встретил меня недружелюбно:

— У нас дело, видимо, плохо стоит, если вы решились дать мне работу в Москве. Здесь меня многие знают: это не безопасно.

Я отметил, что он сам согласился на предложенную ему в Гельсингфорсе роль.

— Я передумал, — сказал Соколов, — кроме того, наш способ работы отжил свой век. Теперь нужно действовать партизански, а не сидеть по полгода на козлах. Я должен сказать вам, что выхожу из вашей организации.

Я не пробовал его убеждать. Я сказал только, что, мне кажется, он неправ: центральный террор всегда требует долгой и тяжелой подготовительной работы и что только тесно сплоченная организация может развить достаточную для победы энергию.

Мы расстались. Я услышал впоследствии о нем, как об организаторе взрыва на Аптекарском острове дачи премьер-министра Столыпина в августе 1906 г. и кровавой экспроприации в Фонарном переулке осенью того же года. Вскоре после этой экспроприации я встретился с ним, во второй и последний раз, опять в Гельсингфорсе.

Он показался мне утомленным. Видимо, напряженная террористическая деятельность не прошла для него даром. В его словах звучали грустные ноты.

— Вы были правы. Одним партизанством немного сделаешь. Нужна крепкая организация, нужен предварительно большой и тяжелый труд. Я убедился в этом. Эх, если бы у нас была ваша дисциплина...

Я хотел ему в ответ сказать, что у нас зато нет инициативы и решимости максималистов, но я сказал только:

— Слушайте, мы беседуем, как частные лица... Скажите, почему мы не можем работать вместе? Что касается меня, то я не вижу препятствий к этому. Мне все равно, — максималист вы, анархист или социалист-революционер. Мы оба террористы. В интересах террора — соединение боевой организации с вашей. Что вы имеете против этого?

Он задумался.

— Нет, конечно, я, лично я, ничего не могу иметь против. Нет сомнения, для террора такое соединение выгодно и полезно. Но захотят ли товарищи, ваши и мои?

Я ответил ему, что за своих товарищей я ручаюсь; что, разумеется, придется установить известное техническое соглашение, но что программные разногласия нас не могут смущать, — что мы, террористы, не можем расходиться из-за вопроса о социализации фабрик и заводов.

Соколов махнул рукой.

— Мои не согласятся ни за что... Нет, что сделано, — не воротишь. Террор был бы сильнее, работай мы вместе, но теперь это невозможно: вы нам объявили войну.

— Не мы, а партия социалистов-революционеров.

— Все равно, вы — часть партии.

Я опять не пытался убедить его, и мы снова расстались. Через месяц он был арестован на улице в Петербурге. Его судили военно-полевым судом и приговорили к смерти. Он повешен 2 декабря 1906 г.

Шиллеров и оба брата Вноровские продолжали свое наблюдение. Они хорошо узнали Дубасова в лицо, отметили все особенности его выездов, но регулярности их отметить не могли. В самом конце февраля Дубасов уехал в Петербург, и мы решили попытаться устроить на него покушение на возвратном его пути, в Москве. Такие поездки совершались впоследствии Дубасовым неоднократно, и в марте мы сделали несколько безрезультатных попыток на улице, по дороге с вокзала в генерал-губернаторский дом. Химиками для приготовления снарядов были «Семен Семенович» и позднее Рашель Лурье. По поводу химиков у меня произошло резкое столкновение с Азефом.

Приехав в Гельсингфорс, я сообщил Азефу, что, по моему мнению, на Дубасова возможно только случайное покушение и что одной из случайностей может быть его поездка в Петербург. Я сказал, что поэтому нужно быть всегда готовым к его возвращению.

Азеф сказал:

— Поезжай в Териоки. Там ты найдешь Валентину (Колосову-Попову). Предложи ей поехать с тобою в

Москву. Она приготовит бомбы.

В тот же вечер я уехал в Териоки. Химическая лаборатория помещалась на даче, у взморья. Хозяином ее был Зильберберг, прислугой — Александра Севастьянова. Лаборатория не возбуждала никаких подозрений ни у полиции, ни у соседей. Рашель Лурье, Колосова и Беневская обучались приготовлению снарядов. Во всех комнатах лежали готовые и неготовые жестяные оболочки, части запальных трубок, динамит и гремучая ртуть. Ранее, до устройства этой лаборатории, Зильберберг один, без помощников, приготовил несколько бомб на квартире у члена финской партии Активного Сопротивления, судьи Фурутьельма, в Выборге.

В Териоках я впервые увидел Валентину Попову. Она была больна. Заметив это, я удивился, что Азеф мог именно ее назначить для работы в Москве. Лурье и Беневская легко могли заменить ее. Они обладали не меньшими техническими знаниями.

Я вернулся в Гельсингфорс к Азефу, и у нас произошел следующий разговор.

Я сказал Азефу, что Попова больна и что ее болезненное состояние должно вредно отразиться на ее работе, — беременная женщина не может вполне отвечать за себя в таком трудном, опасном деле, как приготовление снарядов. Я сказал также, что я не могу мириться с опасностью для жизни не только матери, но и ребенка: я хотел бы поэтому иметь в своем

распоряжении в Москве не Попову, а Беневскую или Лурье. Азеф равнодушно сказал:

— Какой вздор... Нам дела нет, здорова ли Валентина или больна. Раз она приняла на себя ответственность, мы должны верить.

Я возразил, что недостаточно одного желания Поповой. Мы, как руководители, отвечаем за каждую деталь общего плана, и на нас лежит обязанность сообразоваться не только с готовностью члена организации, но и с прямыми интересами дела.

Азеф ответил:

— Ну, я знаю Валентину. Она приготовит снаряды, и не о чем толковать.

Я не мог удовлетвориться этим ответом. Я сказал, что тоже совершенно не сомневаюсь в знаниях, преданности делу и самоотверженности Поповой, но что я не могу согласиться, чтобы в одной организации со мной, с моего ведома и одобрения, беременная женщина подвергалась крупному риску. Я заявил в заключение, что я не поеду в Москву, если Поповой будет предложено приготовление снарядов.

Азеф сказал:

— Это — сентиментальность. Поезжай в Москву. Теперь поздно менять.

Я стоял на своем и решительно заявил Азефу, что не только не поеду в Москву, но даже выйду совсем из организации, если он не примет моего условия.

Тогда Азеф уступил, и было решено, что вместо Поповой в Москву поедет Рашель Лурье.

В Москве я, как раньше в деле великого князя Сергея, сделал попытку воспользоваться сведениями со стороны, из кругов, чуждых организации. Шиллеров познакомил меня со своей знакомой, г-жей Х. Г-жа Х. имела непосредственные сношения с дворцом великой княгини Елизаветы. Во дворце этом она узнала из полицейского источника день и час возвращения Дубасова из Петербурга.

Эти сведения оказались неверными. Я не знаю, сознательно ли она была введена в заблуждение, или полицейский чин, сообщивший об этом, сам не знал в точности намерений Дубасова. Как бы то ни было, я еще раз убедился, как осторожно следует относиться ко всем указаниям, не проверенным боевою организацией.

V

Первые попытки покушений на Дубасова произошли 2 и 3 марта. В них участвовали Борис Вноровский и Шиллеров: первый — простолюдином, второй — извозчиком на козлах. Дубасов уехал в Петербург, и они оба ждали его на обратном пути в Москве, по дороге с Николаевского вокзала в генерал-губернаторский дом, к приходу скорого и курьерского поездов. Вноровский занял Домниковскую улицу, Шиллеров —

Каланчевскую. В обоих случаях они не встретили Дубасова. Вторая серия покушений относится к концу марта. В них принимал участие также и Владимир Вноровский. 24, 25 и 26 числа метальщики снова ждали возвращения Дубасова из Петербурга и снова не дождались его приезда. Опять были замкнуты Уланский переулок и Домниковская, Мясницкая, Каланчевская и Большая Спасская улицы. Борис Вноровский давно продал лошадь и сани и жил в Москве под видом офицера Сумского драгунского полка. У него не было паспорта и ему часто приходилось оставаться без ночлега. Из осторожности он избегал ночевать на частных квартирах и проводил ночь частью на улице, частью в ресторанах и увеселительных садах...

Я и до сих пор не могу вспомнить без удивления выносливости и самоотвержения, какие показали в эти дни покушений Шиллеров и в особенности Борис Вноровский. Последнему принадлежала наиболее трудная и ответственная роль; он становился на самые опасные места, именно на те, где по всем вероятностям должен был проехать Дубасов. Для него было бесповоротно решено, что именно он убьет генерал-губернатора, и, конечно, у него не могло быть сомнения, что смерть Дубасова будет неизбежно и его смертью. Каждое утро 24, 25 и 26 марта он прощался со мною. Он брал тяжелую шестифунтовую бомбу, завернутую в бумагу из-под конфет, и шел своей легкой походкой к назначенному месту, — обычно на Домниковскую

улицу. Часа через два он возвращался опять так же спокойно, как уходил. Я видел хладнокровие Швейцера, знал сосредоточенную решимость Зильберберга, убедился в холодной отваге Назарова, но полное отсутствие аффектации, чрезвычайная простота Бориса Вноровского, даже после этих примеров, удивляли меня. Однажды я спросил:

— Скажите, вы не устали?

Он удивленно взглянул на меня:

— Нет, не устал.

— Но ведь вы почти не спите ночами.

— Нет, я сплю.

— Где же?

— Вчера я ночевал в Эрмитаже.

Он замолчал.

— А вот скользко, — продолжал он в раздумьи, — я без калош. Того и гляди — упаду.

— Не упадете.

Он улыбнулся.

— Я тоже так думаю. А все-таки, боишься, — нет, нет — упадешь.

Он говорил очень спокойно. Я представил себе, как он два часа ходит взад и вперед по скользкому тротуару в ожидании Дубасова и снова спросил его:

— Не хотите ли, можно ведь вас сменить?

Он опять улыбнулся.

— Нет, ничего. Только рука устала: ведь все время несешь на весу.

Мы помолчали опять.

— Слушайте, — сказал я, — а если Дубасов поедет с женой?

— Тогда я не брошу бомбы.

— И значит будете еще много раз его ждать?

— Все равно: я не брошу.

Я не возражал ему: я был с ним согласен.

Остаток дня обычно мы проводили вместе. Он мало рассказывал о своей прошлой жизни, а если говорил, то только о своих родителях и семье. Я редко встречал такую любовь, такую сыновнюю привязанность, какая сквозила в его неторопливых спокойных словах об его матери и отце. С такой же любовью говорил он и о своем брате Владимире.

Кто не участвовал в терроре, тому трудно представить себе ту тревогу и напряженность, которые овладели нами после ряда наших неудачных попыток. Тем значительнее были неизменное спокойствие и решимость Бориса Вноровского.

Рашель Лурье во многом напоминала Дору Бриллиант. Она жила в гостинице «Боярский Двор» и так же, как Дора, работала у себя в номере. Она так долго ждала случая активно принять участие в терроре,

так истомилась ожиданием на конспиративных квартирах, что чувствовала себя теперь почти счастливой. Я говорю «почти», потому что и в ней была заметна та же женственная черта, которая отличала Дору Бриллиант. Она верила в террор, считала честью и долгом участвовать в нем, но кровь смущала ее не менее, чем Дору. Она редко говорила о своей внутренней жизни, но и без слов было видно это глубокое и трагическое противоречие ее душевных переживаний. 29 марта она приняла личное участие в покушении: она сопровождала Бориса Вноровского на Николаевский вокзал. В этот день Дубасов должен был ехать из Москвы в Петербург. Но и на этот раз Дубасов избег покушения.

В самом конце марта я съездил в Гельсингфорс к Азефу. Я хотел посоветоваться с ним о положении дел в Москве. Я повторил ему, что, по данным нашего наблюдения, Дубасов не имеет определенных выездов; что наши неоднократные попытки встретить его на пути с вокзала кончились неудачей; что все члены московской организации, однако, верят в успех и готовы принять все, даже самые рискованные меры, для того, чтобы ускорить покушение; что, наконец, срок, назначенный центральным комитетом, — до созыва Государственной Думы, — близится к концу. Я предложил ему, поэтому, попытку убить Дубасова в тот день, когда он неизбежно должен выехать из своего дома, — в страстную субботу, день торжественного

богослужения в Кремле. Я сказал, что мы имеем возможность замкнуть трое кремлевских ворот: Никольские, Троицкие и Боровицкие, и спрашивал его, согласен ли он на такой план. Азеф одобрил мое решение.

Я вернулся в Москву и встретил одобрение этому плану также со стороны всех членов организации. Мы стали готовиться к покушению. Борис Вноровский снял офицерскую форму и поселился по фальшивому паспорту в гостинице «Националь» на Тверской. В среду днем я встретился с ним в «Международном Ресторане» на Тверском бульваре. Наше внимание обратили на себя двое молодых людей, прислушивавшихся к нашему разговору. Когда мы вышли на улицу, они пошли следом за нами.

В четверг о подозрительном случае наблюдения сообщил Шиллеров. Я у своей гостиницы тоже заметил филеров.

Мы все еще не оставляли надежды. Мы не знали, какой характер имеет это наблюдение, и, не понимая его причины, полагали, что оно, быть может, случайно. В страстную пятницу вечером у нас состоялось собрание в ресторане «Континенталь». На собрании этом присутствовали Рашель Лурье и Борис Вноровский. С Шиллеровым, Владимиром Вноровским и «Семеном Семеновичем» я должен был увидаться на следующий день, в субботу утром...

По случаю страстной недели ресторан был почти пуст. Мы вскоре заметили, что зала начала наполняться. Приходили по одиночке старые и молодые прилично одетые люди и садились так, чтобы мы им были видны. Мы вышли на улицу. Я вышел первый. Я увидел, как вслед за мной вышли Рашель Лурье и Вноровский. Они сели на лихача. На моих глазах от извозничьей биржи отделилось еще двое лихачей, и на них село трое филеров. Я долго смотрел, как мчался лихач, увозя Вноровского и Лурье, и как за ним гнались филеры. В уверенности, что меня в эту ночь арестуют, я вернулся к себе в гостиницу и заснул.

Лурье и Вноровский целую ночь спасались от погони. К утру им удалось скрыться. По совету Вноровского Лурье не вернулась в гостиницу. В «Боярском Дворе» остался ее динамит.

Прислуга, не дождавшись возвращения Лурье, снесла его вместе со всеми ее вещами в подвал. В подвале этот динамит много месяцев спустя взорвался от близости к калориферу. К счастью, взрыв этот не причинил никому вреда и только испортил стены подвала.

В субботу, в кондитерской Сиу, я встретил Шиллерова и «Семена Семеновича». Я опять вышел первым и увидел, что за ними обоими наблюдают филеры. Не оставалось сомнения, что вся организация накануне разгрома.

Тогда передо мною стал вопрос уже не о покушении на Дубасова, а о сохранении организации. В 5 часов у

меня было назначено свидание в «Альпийской Розе» с Борисом Вноровским. Я хотел посоветоваться с ним. Владимира Вноровского я мог предупредить еще раньше: он, извозчик, должен был ожидать меня в час дня в Долгоруковском переулке.

Я оглянулся. Сзади и впереди меня, с боков и по другой стороне Кузнецкого моста, сновали филеры. Их было несколько человек, и по их откровенным приемам я понял, что есть приказ о моем аресте.

Было 12 часов. Я надеялся, что если меня не арестуют немедленно, то я скроюсь в пролетке Владимира Вноровского. Так и случилось. В час дня я в Долгоруковском переулке издали заметил знакомую мне белую, в мелких яблоках лошадь и маленького ростом, коренастого, с добродушным лицом кучера. Я вскочил к Вноровскому и обернулся. Я видел, как филеры заматались по переулку: поблизости не было ни одного свободного «Ваньки».

Я сказал Владимиру Вноровскому, чтобы он продавал пролетку и лошадь и уезжал в Гельсингфорс. Я объяснил ему, что за нами следят. Он ответил, что не замечал за собой наблюдения.

В «Альпийской Розе» меня ждал Борис Вноровский. После бессонной ночи и ночной погони, он был, как всегда, спокоен. Я не заметил никаких следов тревоги или волнения на его лице. Он выслушал меня молча и молча же согласился со мною, что дело продолжать невозможно и, для спасения организации, всем членам

ее необходимо немедленно уехать в Финляндию. Когда был решен этот вопрос, он неожиданно обратился ко мне:

— А динамит Кати (Рашель Лурье)?

— Какой динамит?

— Тот, что остался в «Боярском Дворе».

— Ну?

— Я пойду и получу его обратно.

Я с удивлением посмотрел на него:

— Послушайте, ведь вас наверно арестуют.

Он улыбнулся.

— Почему же наверно? Попытка не пытка...

Мне удалось убедить его не делать такой попытки. В тот же день я известил о нашем решении Шиллерова и «Семена Семеновича». Борис Вноровский известил Лурье.

Через несколько дней мы все собрались в Гельсингфорсе.

VI

Я рассказал Азефу о происшедшем в Москве и объяснил ему причины нашего решения временно ликвидировать дело. Азеф отнесся к моим словам с недоверием.

— Ты говоришь, — за вами следили... Вам показалось, что за вами следят. Если бы следили, то, наверно, и арестовали бы. Ты поторопился уехать из Москвы.

В «Новом Времени» была напечатана заметка, в которой сообщалось, что «шайка злоумышленников» готовила покушение на адмирала Дубасова, но приготовления эти были своевременно раскрыты полицией, члены же шайки скрылись. Я показал эту заметку Азефу.

Пыхтя папироской и, как всегда, лениво роняя слова, он сказал:

— Ну, значит, верно. Пережди несколько дней и поезжай обратно в Москву. Нужно закончить дело.

Я ответил, что, по-моему, посылать меня снова в Москву, — значит подвергать московскую организацию напрасному риску; что если возможно меня заменить, то это следует сделать, тем более, что, постоянно бывая в Москве, я реже, чем того требовало покушение на Дурново, бывал в Петербурге, что он, Азеф, ни разу за все это время в Москве не был; что его там не знают и что, следовательно, целесообразнее, если поедет он.

Азеф сказал:

— Нет, поезжай ты. К тебе привыкли товарищи и ты знаешь их. Ты будешь более полезен, чем я.

Я сказал на это в ответ, что, по моему мнению, такой риск не разумен и что я вообще предложил бы заменить

кого можно из тех товарищей, которые уже работали в Москве. Если братья Вноровские и Шиллеров необходимо должны вернуться в Москву, ибо только они знают в лицо генерал-губернатора, то нет нужды посылать с ними Рашель Лурье, которую легко может заменить Беневская. «Семен Семенович» не приехал в Гельсингфорс и скрывался где-то под Москвою. Я предложил заменить и его.

Азеф внимательно выслушал. Потом он сказал:

— Хорошо. Я поеду в Москву.

Было решено, что Шиллеров и Беневская наймут квартиру где-нибудь в Замоскворечьи, — в той части города, где мы вообще редко появлялись. Одну комнату они сдадут Владимиру Вноровскому, как жильцу. Борис Вноровский с паспортом мещанина должен был поселиться тоже в Замоскворечьи. Азеф должен был приехать, когда все приготовления будут закончены.

В первой половине апреля все поименованные товарищи, кроме Азефа, уехали в Москву. Зильберберг дал Беневской последние указания, как нужно готовить бомбы, и, по предложению Азефа, вручил Борису Вноровскому один готовый снаряд. Дубасов был в это время в Петербурге. Со дня на день ожидалось его возвращение в Москву. Вноровский мог его встретить в курьерском поезде. Я был против этого плана, находя его слишком рискованным: при малейшей неосторожности снаряд мог взорваться в вагоне и убить посторонних людей. Азеф настоял на своем. Бомбу

Вноровского, если бы он не встретил Дубасова в поезде, должна была разрядить Беневская в Москве.

Шиллеров под именем мещанина Евграфа Лубковского снял 10 апреля квартиру из трех комнат в доме церкви св. Николая на Пыжах, в Пятницкой части, а 15 апреля, когда Шиллерова не было дома, Беневская, разряжая принесенную ей Вноровским бомбу, сломала запальную трубку. Запал взорвался у нее в руках. Она потеряла всю кисть левой руки и несколько пальцев правой. Окровавленная, она нашла в себе столько силы, чтобы, когда вернулся Шиллеров, выйти из дому и, не теряя сознания, доехать до больницы. Шиллеров на квартиру не вернулся и приехал с известием о взрыве в Финляндию.

Шиллеров много раз на работе показал примерное мужество и находчивость. Его наблюдение давало всегда ценный и проверенный результат. Его участие в неудачных мартовских покушениях не оставляло сомнения в его полной готовности. Оставление им квартиры было, несомненно, несчастием, ибо в квартире осталась фотографическая карточка Дубасова. Эта карточка на суде значительно отягчила участь Беневской, доказав ее связь с покушением на генерал-губернатора. Мне думается, однако, что было бы несправедливо обвинить Шиллерова в растерянности или недостатке мужества. Осторожность требовала, чтобы он не возвращался обратно в квартиру: нельзя было предположить, как это случилось в

действительности, что она не будет открыта в течение нескольких дней. Шиллеров поступил по всем правилам конспирации, но, поступив так, был чрезвычайно огорчен, что не имел ни возможности, ни права рискнуть вернуться в квартиру. Он изменился лицом до неузнаваемости и настойчиво требовал немедленного, с бомбой в руках, участия в покушении на Дубасова.

Официальный источник (обвинительный акт о потомственной дворянке Марии Аркадиевне Беневской) так описывает взрыв в квартире Лубковского 15 апреля 1906 г.:

«21 апреля, перед вечером, дворник Имохин, приведя к Лубковским какого-то нанимателя, желавшего посмотреть комнату, нашел квартиру их незапертою и пустою, а в передней заметил окровавленное полотенце. Об этом немедленно было заявлено полиции, которая, при осмотре, обнаружила, что передняя, кухня и те две комнаты, которые занимали жильцы, залита кровью. В особенности в этом отношении выдавалась комната в одно окно, обращенная к тупику и служившая, по-видимому, спальней женщины. Эта же комната и находившаяся там мебель носили на себе следы разрушения. Так, ножки деревянного стола, стоявшего около окна, имели несколько свежих выбоин; венский стул у стола был без сиденья, тоже с выбоинами и царапинами, причем в круге стула торчали осколки жести; обломки от сиденья и самый стул были испачканы кровью, а к спинке, в нижней

части опаленной, пристали кусочки мышц. В расстоянии шага от стола линолеумовая покрывка пола была пробита насквозь и в обнаженном полу виднелись вонзившиеся кусочки жести и осколок кости. Около пробитого отверстия находилась лужа крови, от которой по направлению к двери в переднюю и с разветвлением к печке, что близ этой же двери, шли зигзагами сплошные пятна крови. По кафлям печи, с высоты одного аршина от пола, тянулось книзу несколько линейных стоков крови, образовавших на полу лужу. Задвижка и ручка на двери со стороны спальни были сильно испачканы кровью и от них по полотну двери книзу шла струя крови. Затем кровавые следы по полу передней вели в кухню к раковине с водопроводным краном, а оттуда к стене, где укреплена полка с посудой. В передней и комнатах валялось три смоченных кровью полотенца. По всей спальне были усмотрены разбросанные как бы по радиусам и прилипшие к полу, потолку и стенам, а больше всего — к углу у окна, сгустки крови, частицы мышц, сухожилий и костей. В разных местах этой комнаты нашли: указательный палец левой руки женщины, оторванный, по мнению присутствовавшего при осмотре врача, за несколько дней до 21 апреля; ноготь с пальца руки и крышку от конфетной коробки с приставшими к внутренней стороне ее куском кожи и сухожилиями, небольшой осколок кости и кусочки жести.

В соседней со спальней комнате, где, по-видимому, помещался мужчина, от двери, ведущей из спальни, к противоположной стене, у которой стоял большой стол, шел след крови. Кровью же был испачкан стул около стола и абажур на лампе,

находившейся на другом столе. К потолку близ двери прилипли сгустки крови и частицы мышц, а на полу подобрали кусочек пальца с ногтем.

В жилых комнатах квартиры Лубковских были обнаружены следующие, служащие к разъяснению настоящего дела, предметы: сверток с 2 пакетами гремучего студня, весом около 5 фунтов; 4 стеклянных трубочки с шариками, наполненными серной кислотой, с привязанными к трубочкам свинцовыми грузиками; две цилиндрической формы жестяных коробки с укрепленными внутри капсулами гремучей ртути; две крышки к этим коробкам; одна закрытая крышкой и залитая парафином, подобная указанным выше, коробка, представляющая из себя, как выяснилось потом, вполне снаряженный детонаторный патрон; крышка от жестяного цилиндра и деформированный кусок жести, коробка со смесью из бертолетовой соли и сахара, два мотка тонкой проволоки; 10 кусков свинца; медная ступка; аптекарские весы и граммовый разновес; записная книжка с условными записями и вычислениями; три конфетных коробки, сверток цветной бумаги; два мотка цветных тесемок; пучок шелковых ленточек; фотографическое изображение вице-адмирала Дубасова и несколько номеров московских и петербургских газет за время с 10 по 14 апреля включительно, причем за 14 апреля имелась петербургская газета „Речь“, которая могла быть приобретена в Москве не раньше 15 апреля.

Приглашенные эксперты, подполковник Колонтаев и титулярный советник Тисленко, высказали мнение, что в

квартире Лубковских произошел взрыв детонаторного патрона во время снаряжения его, вызванный неловким или неосторожным движением лица, занимавшегося означенной работой. Взрыв этот причинил работавшему повреждения, на которые указывали обнаруженные при осмотре следы крови и оторванные пальцы. Все найденные материалы и взрывчатые вещества предназначались для изготовления ударноразрывных снарядов подобно тому, который был брошен в коляску генерал-губернатора.

При розыске лиц, проживавших в доме церкви св. Николая под фамилией Лубковских, выяснилось, что предъявленный ими паспорт был подложный. Несмотря на все принятые меры, личность мужчины, нанявшего квартиру, осталась в точности неустановленной и он разыскан не был; женщину же, которую он выдавал за свою жену, удалось задержать.

Данными дознания и предварительного следствия было установлено, что 15 апреля, вечером, в частную лечебницу Шульмана на Пятницкой улице явилась окровавленная женщина, у которой на левой кисти руки отсутствовали все пальцы, исключая большого, висевшего на маленьком куске кожи, а на правой руке несколько пальцев были повреждены. По оказании первоначальной помощи, женщину из лечебницы Шульмана отправили в первую городскую больницу, где она назвалась мещанкой города Полтавы Шестаковой и предъявила соответствующий паспорт, который, однако, потом оказался подложным. В больнице было констатировано, что у Шестаковой на левой руке пальцы фаланги и пястной кости

частью совершенно отсутствуют, частью в раздробленном виде торчат в разорванной мышечной ткани; на правой ладони находится несколько ушибленно-рваных ран с темными омертвевшими кожными лоскутами и две фаланги большого и среднего пальца совершенно обнажены; на лбу одна, а на груди несколько ран и помимо того на лице, груди и животе масса мелких и точечных темного цвета ранений. Шестакова происхождение повреждения объяснила взрывом керосинки. В больнице Шестаковой произвели операцию и несколько дней после того она находилась там на излечении. 21 апреля какие-то мужчина и женщина, оставшиеся неразысканными, перевезли Шестакову из первой городской больницы в Бахрушинскую городскую больницу, где она назвалась уже тетюшской мещанкой Яковлевой и объяснила, что неделю тому назад пострадала от взрыва бензинки.

По справкам выяснилось, что и паспорт на имя Яковлевой, который больная предъявила в Бахрушинской больнице, также был подложный. 28 апреля Яковлева была арестована».

Моисеенко, узнав о взрыве, немедленно поехал в Москву и с помощью Р. И. Гавронской перевез Бенеvскую из лечебницы Шульмана в Бахрушинскую больницу, где служил личный знакомый Бенеvской, доктор Огарков. После ареста Бенеvской вскоре случайно был арестован и Моисеенко.

Бенеvскую судили осенью 1906 г. в Москве в судебной палате с участием сословных представителей по обвинению в участии в тайном сообществе и в

приготовлениях к покушению на адм[ирала] Дубасова. Защищали ее прис[яжные] пов[еренные] Жданов и Малянтович. Суд вынес ей приговор: лишение всех прав состояния и ссылка в каторжные работы на 10 лет. Моисеенко, против которого не было никаких улик, был выслан административным порядком из пределов Европейской России и, женившись на Бенеvской, последовал за ней в Восточную Сибирь.

VII

Несмотря на взрыв 15 апреля, нами было решено продолжать покушение на адм[ирала] Дубасова. 20 и 21 оба брата Вноровские и Шиллеров, при химике «Семене Семеновиче», снова безрезультатно ожидали приезда генерал-губернатора в Москву у Николаевского вокзала. Только к 23 апреля в Москву приехал Азеф.

23 апреля был царский день. Дубасов неизбежно должен был присутствовать на торжественном богослужении в Кремле. План покушения, принятый сперва Азефом и мной в Гельсингфорсе, а затем непосредственными его участниками в Москве, состоял в следующем.

Предполагалось замкнуть три главных пути из Кремля к генерал-губернаторскому дому. Борис Вноровский в форме лейтенанта флота должен был занять наиболее вероятную, по нашим соображениям,

дорогу — Тверскую улицу от Никольских ворот до Тверской площади. Владимир Вноровский, одетый простолюдином, должен был находиться на углу Воздвиженки и Неглинной, чем замыкались Троицкие ворота. Шиллеров, тоже одетый простолюдином, замыкал Боровицкие ворота со стороны Знаменки. Таким образом, единственным открытым путем оставались Спасские ворота и объезд через Никольскую, Большую Дмитровку и Козьмодемьянский переулок к генерал-губернаторскому дому. Казалось, на этот раз успех был обеспечен вполне.

О том, как произошло покушение 23 апреля, я узнал впервые от Азефа, в Гельсингфорсе. Он рассказал мне следующее.

Согласно плана, братья Вноровские и Шиллеров, каждый с бомбой в руках, заняли около 10 часов утра назначенные посты. Дубасов в открытой коляске, сопровождаемый своим адъютантом гр[афом] Коновницыным, выехал из Кремля через Боровицкие ворота и проехал по Знаменке мимо Шиллерова. Шиллеров случайно стоял спиной к нему и его не заметил. Переулками и по Большой Никитской Дубасов затем выехал в Чернышевский переулок. Он не остановился около ворот генерал-губернаторского дома, выходящих на переулок, а выехал на Тверскую площадь. Борис Вноровский был в это время случайно как раз на Тверской площади, хотя мог так же случайно находиться и посередине Тверской, и у Никольских

ворот, внизу. Не ожидая появления Дубасова со стороны Чернышевского переулка и уверенный, что Троицкие и Боровицкие ворота замкнуты, он сосредоточил все свое внимание на Тверской. Тем не менее он заметил Дубасова и мимо дворцовых часовых бросился к коляске. Его бомба взорвалась. Взрывом были убиты сам Вноровский и граф Коновницын. Дубасов был ранен. Азеф в момент покушения находился в кофейне Филиппова недалеко от генерал-губернаторского дома.

Недели через три, уже направляясь в Севастополь, я в Харькове виделся с Шиллеровым. Я спросил его:

— Скажите, как могли вы не заметить коляски Дубасова?

— Я ее и не видел.

— Вы ее не видели, но она проехала мимо вас.

Шиллеров изумился.

— Как мимо меня? Дубасов проехал через Троицкие ворота, мимо Льва (Владимира Вноровского).

— Почему же он не бросил бомбы?

Шиллеров изумился еще более:

— Потому что ее у него не было. Бомбы были только у Пушкина (Борис Вноровский) и у меня.

И Шиллеров рассказал мне следующее.

Накануне покушения химик «Семен Семенович» заявил, что у него испортилась часть динамита и что он может приготовить только 2 бомбы. Хотя покушение с

двумя метальщиками было очень рискованно, все-таки было решено не откладывать дела и замкнуть хотя бы Боровицкие и Никольские ворота. Борис Вноровский, действительно, наблюдал за Тверской, и появление Дубасова со стороны Чернышевского переуллка могло быть для него неожиданным, хотя он и знал, что Троицкие ворота свободны.

Таким образом, я услышал два противоречащие друг другу рассказа: Шиллеров не подтвердил мне того, что рассказал Азеф.

Обвинительный акт по делу Беневской так рассказывает о покушении 23 апреля:

«23 апреля 1906 года в городе Москве было совершено покушение на жизнь московского генерал-губернатора, генерал-адъютанта, вице-адмирала Дубасова. В первом часу дня, когда он вместе с сопровождавшим его корнетом Приморского драгунского полка гр[афом] Коновницыным подъезжал в коляске к генерал-губернаторскому дому на Тверской площади, какой-то человек в форме флотского офицера, пересекавший площадь по панели против дома, бросил в экипаж на расстоянии нескольких шагов конфетную, судя по внешнему виду, фунтовую коробку, обернутую в бумагу и перевязанную ленточкой. Упав под коляску, коробка произвела оглушительный взрыв, поднявший густое облако дыму и вызвавший настолько сильное сотрясение воздуха, что в соседних домах полопались стекла и осколками своими покрыли землю. Вице-адмирал Дубасов, упавший из разбитой

силой взрыва коляски на мостовую, получил неопасные для жизни повреждения, гр[аф] Коновницын был убит. Кучер Птицын, сброшенный с козел, пострадал сравнительно легко, а также были легко ранены осколками жести несколько человек, находившихся близ генерал-губернаторского дома. Злоумышленник, бросивший разрывной снаряд, был найден лежащим на мостовой, около панели, с раздробленным черепом, без признаков жизни. Впоследствии выяснилось, что это был дворянин Борис Вноровский-Мищенко, 24 лет, вышедший в 1905 г. из числа студентов императорского московского университета».

Газета «Путь» (от 25/IV 1906 г., N 43) сообщала следующие подробности:

«Адмирал Ф. В. Дубасов, отстояв обедню в Успенском соборе, раньше чем ехать в ген[ерал]-губернаторский дом, заехал навестить в Кремлевском дворце заведующего дворцовой частью гр[афа] Олсуфьева, чтобы дать разойтись собравшимся в Кремле богомольцам. Выйдя от гр[афа] Олсуфьева, адмирал сел с гр[афом] Коновницыным в коляску и поехал в генерал-губернаторский дом по заранее намеченному маршруту, через Чернышевский переулок, чтобы въехать во двор через ворота.

Гр[аф] Коновницын, обыкновенно составлявший расписание маршрута при поездках генерал-губернатора по городу и на этот раз сообщивший, по обыкновению, предполагаемый маршрут градоначальнику, когда коляска миновала ворота генерал-губернаторского дома, не дал приказа ехать во

двор. Коляска, вопреки маршруту, поехала дальше по Тверской, миновав установленное у ворот наблюдение.

Когда лошади поворачивали из Чернышевского переуллка на Тверскую, от дома Варгина сошел на мостовую молодой человек в форме морского офицера. В одной руке у него была коробка, перевязанная ленточкой, как перевязывают конфеты; в, ленточку был воткнут цветок, — не то левкой, не то ландыш. Приблизившись к коляске, он взял коробку в обе руки и подбросил ее под коляску. Она была в это время против третьего окна генерал-губернаторского дома. Лошади понесли, адмирал, поднявшись с земли, пошел к генерал-губернаторскому дому; тут его подхватили городовые и еще некоторые лица, личность которых нельзя было установить, и помогли ему дойти до подъезда. Гр[афа] Коновницына выбросило на левую сторону; у него было повреждено лицо, раздроблена челюсть, вырван левый бок, раздроблены обе ноги и повреждены обе руки. Он тут же скончался. Адмирал, войдя в вестибюль, почувствовал такую адскую боль, что просил отнести его наверх, так как он дальше идти не мог. Пользующий адмирала врач Богоявленский нашел, что у него порваны связки левой ноги. Боли не давали адмиралу уснуть все время. На ноге оказалась целая сеть мелких поранении, из которых сочится кровь; полагают, что эти поранения причинены мелкими осколками разорвавшейся бомбы; на сапоге адмирала дырочки, точно от пореза ножом; над глазом у него кровоподтек, на руках ссадины, вероятно, вследствие того, что, когда он упал, коляска протащила его. Когда адмирала внесли наверх, лицо у него было черно-желтое; от

удушливых газов разорвавшегося снаряда он не мог дышать. Человек, покушавшийся на жизнь адмирала, пал тут же жертвой своей бомбы... У него снесло верхнюю часть черепа; при нем найдены два паспорта, оба фальшивые. Один на имя Метца. На вид он молодой человек, лет 27. Мундир на нем совершенно разорван, а под мундиром оказалась фуфайка, которую обыкновенно носят люди достаточного класса. На убийце были черные носки и ботинки со шнурками; на погонах мундира был штемпель магазина гвардейского экономического общества; ногти у него тщательно обточены. Все это показывает, что он человек из интеллигентного класса. Коляска с бешено мчавшимися лошадьми была задержана в Кисельном переулке. Лошади ушибли стоявшего на углу генерал-губернаторского дома городского.

От взрыва пострадал кучер Птицын, получивший легкие поранения, и дворник генерал-губернаторского дома, получивший ушибы. Часовой, стоявший на углу генерал-губернаторского дома за рогаткой, оглушен вследствие повреждения барабанной перепонки, и один из прохожих получил ожог под глазом и ожог уха.

В окнах генерал-губернаторского дома выбиты стекла в IV этаже; в нижнем этаже пострадали больше наружные стекла, а в верхнем — внутренние. В коляске найдено золотое оружие Дубасова».

Так умер Борис Вноровский. После него остался черновой набросок его автобиографии и последнее

письмо к родителям. Вот это письмо:

«Мои дорогие!

Я предвижу всю глубину вашего горя, когда вы узнаете о моей судьбе. Для вас тяжело будет и то, что ваш сын сделался убийцей. Верьте, если бы возможно было мне сохранить свою жизнь для вас, я это бы сделал. Сколько раз в юношестве мне приходило в голову лишить себя жизни и всякий раз я отбрасывал эту мысль, зная, какое горе вызвал бы мой поступок. Я оставался в живых и жил для вас. Теперь я живу для вас, для народа, для всего человечества, и теперь я приношу свою жизнь не в жертву расстроенным нервам, а для того, чтобы улучшить, насколько это в моих силах, положение отчизны, чтобы удовлетворить вас не как родных, а как граждан. Знайте, что и мне самому в моем акте, кроме вашего горя, страшно тяжел факт, что я становлюсь убийцей. И если я не погибну от брошенной мною же бомбы, то в тюрьме мне будут рисоваться ваши опечаленные лица и растерзанный труп моей жертвы. Но иначе нельзя. Если бы не эти два обстоятельства, то, уверяю вас, трудно было бы найти человека счастливее меня. Невыразимое спокойствие, полная вера в себя и надежда на успех, если не воспрепятствуют посторонние причины, наполняют меня. На казнь я пойду с ясным лицом, с улыбкой на устах. И вы должны утешаться тем, что мне будет так хорошо. Ведь вы в своей любви ко мне должны стремиться не к тому, чтобы я был обязательно жив, а к тому, чтобы я был счастлив. О моей любви к вам не буду говорить — вы ее знаете. Прощайте же, дорогие. Будьте

счастливы, насколько можете, без горячо любимого сына и брата. Спасибо вам за вашу любовь, за ваши заботы, за самую жизнь, которую я приношу трудящейся России, как дар моей любви к правде и справедливости.

Целую крепко, крепко всех вас четверых.

Ваш Боря».

«Родился я, — пишет в своей автобиографии Вноровский, — 13 декабря 1881 г. Родители мои, принимавшие участие в революционном движении 80-х годов, были в это время прикреплены к Костроме, где я и прожил почти безвыездно — уезжая только на лето к знакомым в деревню, до 18 лет, до университета. Отец мой занимался уроками, мать, главным образом, по хозяйству. Старше меня — почти на два года — был только брат, с ним я всегда был очень дружен. Двух лет я перенес страшный дифтерит, сделавший меня болезненным на всю жизнь. Грамоте я выучился шутя около пяти лет от роду, году на седьмом начал правильно учиться. О социализме узнал из разговоров матери, когда мне было не больше шести лет. Благодаря общей культурности нашей семьи, никогда не переживал религиозных сомнений и помню, еще перед гимназией, проповедывал атеизм одному товарищу детства, причем затруднялся только вопросом — „откуда же все взялось“, так как не имел представления о вечности. Знакомые родителей, большей частью бывшие ссыльные, своими разговорами на общественные темы, рассказы родителей о своей бывшей деятельности, хороший подбор книг, — все это

соединилось для того, чтобы заложить, так сказать, фундамент будущего революционера и, во всяком случае, сделать идеи веротерпимости, национализма (отец поляк), антимилитаризма настолько близкими мне, что над ними я никогда не задумывался. Такие предпосылки оказались весьма полезными мне, когда я поступил в гимназию, где я не получил положительно ни одной светлой идеи и где старательно, по временам, изгонялось все неподходящее под общую мерку. Когда мне было 18 лет, — родилась сестра. Мать занялась ею, отец, поступивши к этому времени в земство, принужден был, как честный работник, целиком уйти в свою бухгалтерию, и мы с братом целиком в своей духовной жизни были предоставлены самим себе. В это время произошел случай, оставивший большой след на направлении работы моей мысли: застрелился, несмотря на несоответствие лет — друг моего детства, гимназист третьего класса. Вопрос цели жизни встал передо мной. Насколько припоминаю — служение народу являлось одним из приходявших мне в голову ответов на него. Я представлял себе, что я сделался либо очень богатым, либо царем и что я все свои богатства, всю свою власть приношу на пользу народу. Припоминаю также, что тогда я увлекся идеей жизни личным физическим трудом и решил, когда сделаюсь большим, оставить культурное общество, сделаться простым работником — чаще всего почему-то извозчиком — и показать своим примером, что правда жизни — в работе. Упорная, замкнутая умственная работа привела к сильному нервному расстройству. Учился я в гимназии средне, ничего не делая. Впрочем, поскольку казенная наука представляла из себя что-нибудь живое, я ее

знал. Из гимназии, в конечном счете, вынес отвращение к усидчивому труду, частичную потерю способностей и отвращение ко всему размеренному, прилизанному и угодливому. По окончании ее в 1900 г. поступил на математический факультет московского университета. Первую половину учебного года посвятил, главным образом, опере. Красота во всех формах производила и производит на меня всегда большое впечатление. В опере я не столько слушал музыку, сколько думал под музыку, и эти внутренние переживания, могу сказать, дали мне много счастья. Во второй половине года (в начале 1901) происходили студенческие волнения. Я почти не принимал в них никакого участия до ареста сходки в университете, затем пустился, так сказать, во всю: целые дни торчал у манежа, ходил с демонстрантами, одну ночь принужден был провести в манеже, меня арестовали, утром выпустили.

В этом году мне попадалась социал-демократическая литература, но симпатий моих не вызывала. Выстрел Карповича^[1] произвел на меня огромное впечатление. Летом этого года я полюбил одну замужнюю женщину — это была моя первая и, надеюсь, последняя любовь. Обойду этот период молчанием. Скажу только, что любовь моя осталась чистой и что я пережил очень, очень много во время ее. Не дай бог никому. В 1902 г. в Москве происходили снова студенческие волнения. С самого начала я бывал на всех сходках и пошел, разумеется, 9 января. Помню несколько комичную, но рисующую мое тогдашнее настроение, фразу, которую я сказал удерживавшей меня любимой женщине: „Я

прокляну тебя, если опоздаю к товарищам“. Сходка 9 января дала России много революционеров. С нее я считаю также и свою революционную карьеру. Ею я перешел грань, делавшую невозможным возвращение назад. Цель жизни определилась. Оставалось найти определенную программу. Из Бутырок я с братом и несколькими товарищами были отправлены в Вологду. Там в спорах, еще не будучи знаком со взглядами с.-р., я защищал мелкое крестьянство от нападков марксизма. Исторический материализм меня не удовлетворял. К террору я всегда относился очень сочувственно. Понятно, поэтому, что, когда после тюрьмы, я, с целью учиться в каком-нибудь университете, очутился за границей и получил возможность узнать программу с.-р., я без всяких колебаний принял ее и вступил в партию. Это было приблизительно в октябре 1902 г. До июня я мог кое-как удовлетворяться заграничной работой: продажей литературы, карточек, рассылкой их, столкновением с с.-д. (я читал рефераты) и т. д. Но дальше я не мог выдержать и вернулся в Россию с мыслью работать там. К сожалению, некоторая заминка в получении рекомендаций (я уехал из-за границы внезапно) отсрочила для меня возможность немедленно приступить к делу. К тому же общие антигигиенические условия, в каких я жил в Бельгии, а также болезненность, о которой я упоминал, сделали меня неработоспособным и заставили даже уехать из Москвы. У меня началось что-то вроде чахотки: по настоянию родителей я, вместе с матерью и сестрой, отправился в Ялту. Страшная физическая слабость, делавшая затруднительной небольшую прогулку, неимение связи с товарищами, мысль о том, что я так и останусь бесполезным инвалидом, все это делало мою

жизнь там крайне тяжелой. Спасла только моя способность заполнять свою жизнь внутренними переживаниями. Я занялся выработкой стройной этической теории для себя. Исканиям этим помогло знакомство с одной особой, не революционеркой. В попытках доказать ей, что только революционная деятельность носит в себе самооправдание и обязательность, я нашел самого себя. Трудно сказать, сколько счастья дали мне эти искания, несмотря на весь внешний ужас моего положения. Весною 1904 г., немного оправившись, я вернулся в Москву и к осени случайно нашел товарищей. С этого момента жизнь моя богата более внешними фактами, чем внутренними переживаниями, за исключением момента, когда мне предложили вступить в боевую организацию. Вначале я работал в качестве пропагандиста при московском комитете, затем, продолжая (начало 1905 г.) эту работу, перешел в ряды оппозиции по вопросам тактики. Мне казалось, что необходимо немедленно готовиться к вооруженному восстанию, что если бы у нас была только сотня решительных людей в Москве, то и тогда следует сделать попытку поднять восстание.

Пусть эти люди все погибнут, но другие увидят, с каким личным самоотвержением должно бороться. Я, вместе с одной госпожой, начал работу в этом направлении; но после убийства Сергея 4 февраля мы оба были арестованы. Насколько я отчасти был прав, показывают московские декабрьские события. В тюрьме я познакомился ближе с сочинениями Лаврова. Припоминаю, как я наслаждался там его „Опытом истории мысли“. Философией я занимался

раньше порядочно. По выходе из тюрьмы я попал в Пензу. Там, поскольку не был в разъездах, принимал участие в местной работе. Читал рефераты, занимался с кружками молодежи и рабочих. Ездил я много с целью устроить динамитную мастерскую для приготовления бомб к массовому выступлению. Идею о попытке вооруженного восстания я не оставлял и своими разъездами пробовал подготовить одну из деталей. Во время сношений моих по этому поводу с центром, я через одно лицо получил предложение вступить в боевую организацию. На это предложение я ответил отказом, но на другой день взял его обратно. Мотивы моего согласия следующие: теоретически я признаю террор, я знаю, что у меня достаточно хладнокровия и смелости для какого угодно страшного акта, значит, я не имею права отказаться. Что из того, что я не чувствую призвания убивать людей (я никогда даже не охотился, находя это занятие зверским), что мне, может быть, дорога моя жизнь? Я сумею умереть, как честный солдат. Между моментом моего согласия и моментом, когда меня поставили на подготовительную работу, прошло около месяца. Время это я употребил на переживание моего нового положения. И я перед лицом своей совести, перед лицом смерти, навстречу которой я сейчас иду, могу сказать — я победил совершенно страх смерти, я хладнокровно застрелю себя, если мой снаряд не взорвется, не изменившись ни в одном мускуле лица, и, не побледнев, я взойду на эшафот в случае успеха. И это будет не насилие над собой, не последнее напряжение сил и волн, — это будет вполне естественный результат того, что я пережил. До 17 октября я работал в боевой организации, затем

временно прекратил эту деятельность, и, когда отчасти выяснилось направление правительственного курса, занялся организацией террористических актов от имени летучего боевого отряда. Товарищам, выступившим при моем участии, мой привет! Когда же вновь начала свою деятельность боевая организация, я попросился в Москву. Теперь осталось меньше двух суток до моего выступления. Я спокоен. Я счастлив.

Б.Вноровский».

Боевая организация издала по поводу покушения 23 апреля следующую, написанную неизвестным мне лицом, прокламацию:

«Партия социалистов-революционеров.

„В борьбе обрешь ты право свое!“

23 апреля, в 12 час. 20 мин. дня, по приговору боевой организации партии социалистов—революционеров, была брошена бомба в экипаж московского генерал-губернатора вице-адмирала Дубасова при проезде его на углу Тверской улицы и Чернышевского переулка, у самого генерал-губернаторского дома. Приговор боевой организации явился выражением общественного суда над организатором кровавых дней в Москве. Покушение, твердо направленное и выполненное смелой рукой, не привело к желаемым результатам вследствие роковой случайности, не раз спасавшей врагов народа. Дубасов еще жив, но о неудаче покушения говорить не приходится. Оно удалось уже потому,

что выполнено в центре Москвы и в таком месте, где охрана всех видов, казалось, не допускала об этом и мысли. Оно удалось потому, что при одной вести о нем вырвался вздох облегчения и радости из тысячи грудей, и молва упорно считает генерал-губернатора убитым.

Пусть это ликование будет утешением погибшему товарищу, сделавшему все, что было в его силах.

Боевая Организация Партии Соц.-Рев.»

Типография Московского Комитета П. С.-Р.

VIII

Я упоминал выше, что расследование о Татарове, произведенное в России, убедило трех членов следственной комиссии — Чернова, Тютчева и меня (четвертый, Бах, был за границей и о результатах расследования не знал) — в виновности обвиняемого. Я предложил центральному комитету взять на себя организацию убийства Татарова, и центральный комитет дал на это свое согласие.

В феврале 1906 г. Моисеенко выехал из Гельсингфорса с поручением разыскать Татарова. Несмотря на обязательство сообщать комиссии о своих передвижениях, Татаров скрылся. Моисеенко

безрезультатно справлялся о нем у его родных в Петербурге и Киеве и, наконец, нашел его в Варшаве. В Варшаве Татаров жил у своего отца, протоиерея, настоятеля униатской церкви.

С этим известием Моисеенко вернулся в Финляндию.

Я хотел поставить дело так, чтобы Азеф не принимал в нем никакого участия. Татаров обвинял Азефа, обвиняло его и анонимное, уже цитированное мною письмо, полученное в августе 1905 года Ростковским. Центральный комитет и все члены боевой организации считали это обвинение ни на чем не основанной клеветой. Нам казалось необходимым избавить Азефа от тяжелых забот по убийству оклеветавшего его провокатора.

Я был вполне убежден в виновности Татарова. Я был вполне убежден, что именно благодаря ему боевая организация потерпела большой урон 17 марта 1905 года и временно должна была прекратить свою деятельность. Я считал убийство его необходимым и справедливым. И, несмотря на это, я ни к одному покушению не приступал с таким тяжелым чувством, как к убийству этого агента полиции.

В приготовлениях к этому убийству была еще одна очень щекотливая сторона. Из членов боевой организации только я участвовал в следственной комиссии, только я знал все детали обвинения, значит, только я один мог составить себе самостоятельное убеждение. Между тем интерес партии и организации

требовал, чтобы убийство это произошло по возможности без жертв. Соблюсти же это условие было возможным только привлечением к делу нескольких товарищей, т. е. лиц, самостоятельного суждения не имевших, таких лиц, согласие которых поневоле обуславливалось только полным доверием к центральному комитету и ко мне, как инициатору этого дела. После долгих колебаний я остановился на товарищах, мне лично и давно хорошо известных, связанных со мною не только долголетней дружбой, но и общностью взглядов, на Моисеенко и Бенеvской.

Я рассказал им во всех подробностях о роли Татарова в партии, о первых подозрениях, о допросах следственной комиссии за границей и о результатах расследования в России. Оба они слушали молча. Наконец, Моисеенко спросил:

— Ты убежден, что он провокатор?

Я ответил, что у меня не остается в этом сомнения.

Тогда Моисеенко сказал:

— Значит, нужно его убить.

Бенеvская все еще не отвечала. Я обратился к ней.

— А вы, что вы думаете?

Она не сразу ответила:

— Я?.. Я всегда в распоряжении боевой организации.

Двоих товарищей было мало. Подумав, я решил привлечь к делу еще Калашникова, Двойникова и

Назарова. Все трое жили в Финляндии в резерве.

Я и им рассказал подробности обвинения. Все трое задали мне тот же вопрос, что и Моисеенко, — убеждены ли я в виновности Татарова? Я ответил им утвердительно.

Тогда все трое согласились принять участие в убийстве Татарова.

Наш план состоял в следующем: Моисеенко и Беневская должны были нанять уединенную квартиру в Варшаве. К ним вечером должны были прийти Калашников, Двойников и Назаров, вооруженные браунингами и финскими ножами. Я должен был явиться к Татарову на дом и пригласить его на свидание в эту квартиру.

Моисеенко и Беневская не должны были принимать участия в самом убийстве. Выждав в квартире прихода Калашникова, Двойникова и Назарова, они должны были с первым поездом выехать из Варшавы. Так как исполнителей было трое, и квартира была уединенная, то исполнители легко могли скрыться. Я условился с каждым отдельно, как и куда он после убийства уедет.

Азеф знал об этом плане. Знал о нем и Чернов, принимавший участие в его обсуждении.

В конце февраля Моисеенко, Беневская, Калашников, Двойников и Назаров выехали из Гельсингфорса в Варшаву. Моисеенко должен был телеграфировать мне в Москву, когда все приготовления по найму квартиры

будут закончены. К этому времени я и должен был приехать в Варшаву для свидания с Татаровым.

В начале марта я получил условную телеграмму. Непосредственно после неудачных покушений на Дубасова, 2 и 3 марта, я выехал в Варшаву. В Варшаве я на назначенной явке — в главном почтамте — встретил Моисеенко.

Квартира была уже нанята, — по фальшивому паспорту на имя супругов Крамер, на улице Шопена. Я назначил последнее свидание Моисеенко и Беневской в ресторане Бокэ.

Всегда радостная, оживленная и светлая, Беневская была на этот раз задумчива и печальна. Молчаливый, немного угрюмый Моисеенко, по обыкновению, говорил очень мало. Я долго рассматривал все возможности предполагаемых убийства и бегства. Когда я кончил, наступило молчание.

Мы не находили темы для разговора: деловая сторона была исчерпана до конца. Но мы и не расходились. Наконец Беневская подняла свои голубые глаза:

— Значит, завтра?

— Да, завтра.

Она примолкла опять. После долгого промежутка, Моисеенко сказал:

— Ты вернешься в Москву?

— Да, в Москву.

Мы опять замолчали. Тогда я простился с ними и пошел на условленное свидание к Калашникову, Двойникову и Назарову в Уяздовские аллеи.

Я издали заметил их. Все трое были одеты по-русски и резко выделялись своими картузами и сапогами бутылками на улицах Варшавы. Назарову шел этот костюм. Высокий, сильный, стройный — он казался в нем еще стройнее и выше ростом. Двойников — маленький, скуластый и черный, сильно напоминал по типу московского фабричного, каким он и был на самом деле. Калашников — высокий студент с бледным лицом, в пенсне, видимо, чувствовал себя неловко в непривычном костюме. Мы гуляли в Лазенках. Двойников говорил, волнуясь:

— К такому делу в чистой рубашке нужно... Может, я еще не достоин за революцию умереть, как, например, Каляев. Что я в жизни видал? Пьянство, ругань, побои. Как я, значит, из черносотенной семьи и отец у меня черносотенный, — чему он мог меня научить? А в терроре будь, как стеклышко, иначе нельзя. Правда ли, Федя?

Федя (Назаров) не отвечал. Высоко подняв голову, он смотрел вдаль, на полузамерзший пруд и белую статую Яна Собесского. Я спросил:

— О чем ты думаешь, Федя?

— Так, ни о чем. Если сказано, что убить, — значит, нужно убить... Сколько народу он загубил...

Калашников говорил только о подробностях убийства. Он был наиболее ответственным лицом всего предприятия: на квартире, встретив Татарова, он должен был сыграть первую роль, — нанести первый удар. На его ответственности лежало устроить бегство Двойникову, Назарову и себе.

На следующее утро я позвонил у квартиры Татарова.

Мне открыла его мать, седая старуха. Я спросил, дома ли Николай Юрьевич?

— Дома, зайдите сюда.

Я прошел в невысокую, длинную, уставленную цветами, залу. Я ждал недолго. Минут через пять на пороге появилась плотная, очень высокая фигура Татарова. Увидев меня, он смутился:

— Чем могу вам служить?

Я сказал, что я проездом в Варшаве; что все члены следственной комиссии, кроме Баха, тоже в Варшаве; что необходимо устроить еще раз допрос; что мы хотим дать ему, Татарову, полную возможность защититься; что получены новые сведения, которые сильно могут изменить его положение, и что, наконец, товарищи поручили мне зайти к нему и спросить, желает ли он явиться в комиссию для дачи дополнительных показаний.

Татаров сидел против меня по другую сторону небольшого круглого столика; он сидел, опустив глаза и

заметно волнуясь: на щеках у него выступили красные пятна, и руки его сильно дрожали.

— Я ничего не могу прибавить к тому, что я говорил и писал, — ответил он мне.

Я сказал, что есть новые факты. Так, например, мы слышали, что он в свою защиту приводит указание на другого, по его сведениям, провокатора.

— Я хотел лично услышать от него обвинение против Азефа. Татаров сказал:

Да, здесь печальная ошибка. Я справлялся. В партии есть провокатор, но не я, а так называемый «Толстый» (Азеф).

Я спросил:

— Откуда у вас эти сведения?

Татаров сказал:

— Эти сведения достоверны. Я имею их непосредственно из полиции. Им можно верить.

— Как из полиции?

— Моя сестра замужем за приставом Семеновым. Я просил его, в виде личной услуги, осведомиться о секретном сотруднике в партии. Он справлялся у Ратаева. Ратаев сказал, что провокатор — «Толстый».

Татаров повторил мне то, что сказал раньше Крилю и Фриденсону и что я считал клеветой на Азефа и оскорблением боевой организации.

Тогда я сказал:

— Сегодня вечером на улице Шопена состоится заседание комиссии. Вы придете?

Татаров взволновался еще более:

— А кто там будет?

— Чернов, Тютчев и я.

— Больше никого?

— Никого.

— Хорошо. Я приду.

В передней он заглянул мне в глаза, покраснел и сказал:

— Я вас не понимаю. Вы подозреваете меня в провокации, значит, думаете, что я в любой момент могу выдать вас. Как вы не боялись прийти ко мне на квартиру?

Я ответил, что для меня вопрос о виновности его еще недостаточно ясен и что я считал своим долгом лично расспросить его о сведениях, касающихся Азефа. Он сказал:

— Что же, вы верите, что «Толстый» служит в полиции?

Я сказал, что я ничего не знаю. А если знаю, то только одно: что в центральных учреждениях партии есть провокатор. Он протянул мне руку, и я пожал ее.

В тот же вечер Татаров явился на квартиру Крамер на улице Шопена. Назаров видел, как он, войдя в ворота, вызвал дворника и о чем-то долго с ним разговаривал.

Наверх в квартиру Татаров не поднялся, а, поговорив с дворником, вышел на улицу и скрылся.

Наш план, таким образом, рушился; Татаров понял, в чем дело.

Предстояло на выбор две комбинации: либо учредить за Татаровым постоянное наблюдение и убить его на улице, либо убить его на дому. То и другое имело свои особенности.

Учреждая за Татаровым наблюдение, нужно было содержать в Варшаве, состоявшей на военном положении, организацию, по крайней мере, из трех человек, т. е. подвергать трех товарищей постоянному риску. Риск этот не вознаграждался возможностью бегства: на улице трудно бежать. Он не давал также ни малейшей гарантии успеха: Татаров был очень опытен и всегда мог заметить наблюдение, а заметив наблюдение, он легко мог арестовать наблюдающих.

Убийство на дому в несколько большей степени давало надежду на бегство, но зато имело одну чрезвычайно тяжелую сторону. Татаров жил в одной квартире с родителями. Родители могли стать свидетелями убийства. Так, в действительности, и случилось.

Выбирая из этих двух комбинаций, я, после долгого колебания, выбрал вторую. Я сделал это потому, что считал себя не вправе в данном случае рисковать

несколькими товарищами, и еще потому, что надеялся на бегство исполнителя из квартиры.

Быть таким исполнителем вызвался Федор Назаров. Я спросил его, почему он предлагает себя на такую роль. Он вскинул на меня свои смелые, карие глаза:

— Да, ведь, говоришь, нужно его убить?

— Да, нужно.

— Значит, я его убью.

— Почему именно ты?

— А почему же не я?

Назаров показал в этом случае высшую преданность партийному долгу, как при самом убийстве он показал большое хладнокровие и отвагу. Он, конечно, понимал, что у него почти нет надежды сохранить свою жизнь, как понимал и разницу между убийством министра и убийством провокатора. Но, еще недавний член боевой организации, он более, чем многие, любил ее и более, чем многие, готов был жизнью своей защищать ее честь.

Я уехал в Москву, Назаров — в Вильно. Остальные товарищи вернулись в Гельсингфорс. Из Гельсингфорса Моисеенко съездил к Назарову, чтобы окончательно условиться с ним о подробностях убийства. Назаров должен был прийти на квартиру Татарова и, увидев его, застрелить. Он жил в Вильно один и в Варшаве тоже должен был действовать без помощников.

В конце марта в Петербурге, наблюдая за Дурново, я имел свидание с Всеволодом Смирновым. Он пришел на свидание бледный и с первых же слов спросил:

— Читали?

— Нет.

Он показал мне газету. Из Варшавы была телеграмма: «22 марта на квартиру протоиерея Юрия Татарова явился неизвестный человек и убил сына Татарова, Николая Юрьевича. Спасаясь бегством, убийца ранил ножом мать убитого».

Когда я кончил читать, Смирнов сказал:

— Ранил мать...

Я знал Назарова. Я не верил словам телеграммы: я не мог допустить, чтобы Назаров действительно, хотя бы и для спасения своей жизни, ударил ножом ни в чем неповинную старуху. Я сказал об этом Смирнову.

— Дай бог, — ответил он мне, — но если он действительно ранил, что тогда?

Смирнов считал, и я думаю, все товарищи согласились бы с ним, что такое действие Назарова запятнало бы организацию и что Назаров за это должен был подлежать исключению.

Через несколько дней в Москве, на Тверском бульваре, я случайно встретил Назарова. Я окликнул его — Федя!

Он узнал меня и радостно улыбнулся.

— Что ты, Федя, наделал?

— А что?

— Как что? Что ты наделал?

Он побледнел и спросил почти шепотом:

— Неужто остался жив?

— Нет, конечно, убит. Но ты ранил мать...

— Я? Ранил мать?

И Назаров с негодованием стал опровергать газетное сообщение.

— Вот как было все дело, — рассказывал он мне. — Пришел я в дом, швейцар спрашивает, — куда идешь? Я говорю: в квартиру шестую. А Татаров в пятой живет. К протоиерею Гусеву, говорит? Да, к Гусеву. Ну, иди! Пошел. Позвонил. Старуха вышла. — Можно видеть, говорю, Николая Юрьевича? — А вам, спрашивает, зачем? Говорю: нужно. Вышел отец: вам кого? Николая Юрьевича, говорю. — Его видеть нельзя... Тут, смотрю, сам Татаров выходит. Стал на пороге, стоит, большой такой. Я вынул револьвер, поднял. Тут старик толкнул меня в руку. Я стал стрелять, не знаю, куда пули ушли. Бросился на меня Татаров, все трое бросились. Мать на левой руке висит, отец на правой. Сам Татаров прижался спиной к груди, руками револьвер у меня вырывает. Я револьвер не даю, крепко держу. Только он тянет. Ну, думаю, и его не убил и сам попался. Только левой рукой попробовал я размахнуться. Оттолкнул, — старуха упала. Я левой опять рукой нож вынул и ударил

ему в левый бок. Он мою руку пустил, сделал два шага вперед и упал. Старик за правую руку держит. Я в потолок выстрелил, говорю: пусти — убью. Старик руку пустил. Тут я подошел к Татарову, положил ему в карман записку: «Б. О. П. С.-Р». Руки я в карман спрятал и на лестницу вышел. Подымается наверх швейцар. Спросил: что там за шум? Я говорю: если шум, тебя надо, — иди. Он пошел. Я извозчика взял, в номера приехал, расплатился и на вокзал. Вот как все было, а старуху я ножом не ударил. Неужели ты думаешь — я бы мог?

Таким образом, убийство Татарова совершилось на глазах у его родителей, но исполнитель убийства скрылся. Впоследствии, уже в 1906 г., я узнал, что мать Татарова была действительно ранена двумя пулями. Очевидно, Назаров, сам того не зная, случайно выстрелами задел ее.

Расследовать убийство Татарова был назначен чиновник особых поручений при варшавском охранном отделении М. Е. Бакай. Он впоследствии сообщил, что причины убийства были ему сначала непонятны: ему, как и вообще варшавскому охранному отделению, не было известно, что Татаров служит в полиции. Уже в процессе следствия ему об этом сообщил помощник варшавского генерал-губернатора ген[ерал] Утгоф. Тогда же Бакай обнаружил телеграфные сношения между Татаровым и Рачковским. Впоследствии премьер-министр Столыпин, в своей речи,

произнесенной в третьей Государственной Думе, публично подтвердил, что Татаров состоял секретным сотрудником.

Как я выше писал, я был совершенно убежден в виновности Татарова. Только это убеждение и позволило мне взять на себя ответственность за его убийство. Но и убежденный, я хорошо понимал, что юридических улик против Татарова нет и что суд присяжных оправдал бы его. К несчастью, там, где существуют военные и военно-полевые суды, революционерам для защиты партии от провокации не остается ничего другого, как прибегать к тем же приемам борьбы: судить агентов полиции военно-полевым, не формальным судом.

Сообщение Бакая и речь Столыпина доказали, что убеждение следственной комиссии по делу Татарова не было ошибочным. В феврале 1909 г. центральный комитет в газете «Знамя Труда» сделал заявление, в котором удостоверял, что Татаров был убит по партийному приговору.

IX

Одновременно с покушением на адм[ирала] Дубасова в Москве и с приготовлением к убийству Татарова в Варшаве, в Петербурге производилось наблюдение за министром внутренних дел Дурново. Наблюдающая

организация, как я упоминал выше, была разделена на две самостоятельных группы. В первую входили: Абрам Гоц, Трегубов и Павлов, все трое извозчики. Руководил ею сперва Зот Сазонов, а затем — Азеф. Вторая состояла из «Адмирала» и Петра Иванова (извозчики), Горинсона и Пискарева (уличные торговцы) и Всеволода Смирнова (газетчик). С нею сносился я.

Наблюдение было учреждено в январе и производилось первой группой до апреля, вторую — до созыва Государственной Думы. Абрам Гоц, переодетый извозчиком, в высоких сапогах, синем халате и картузе, не был похож на еврея, — он походил скорее на разбитного ярославского мужика. Тем не менее, опытный взгляд улавливал еврейские черты в его наружности. Однажды, когда он находился на своем наблюдательном посту, к нему подошел городской. Он внимательно осмотрел Гоца, его лошадь и его пролетку и сказал:

— А ведь ты, сукин сын, жид!

Гоц сорвал картуз с головы и закрестился:

— Есть ли крест на тебе, — заговорил он быстро, — я — жид?.. Господи!.. Служил в стрелковой бригаде, вот в Петербург приехал, думал заработать копейку, а ты лаешься: жид!..

Городской недоверчиво улыбнулся.

— Служил, говоришь, в стрелковой бригаде?

— Как же!.. За отличную стрельбу знак имею.

— А в какой бригаде?

— В седьмой.

— Ишь ты!.. А я в восьмой...

Через минуту они говорили совсем дружелюбно, и городской не заподозревал больше еврейского происхождения Гоца. В данном случае только находчивость спасла Гоца от ареста.

От первой группы вскоре начали поступать сведения, что ею усмотрен Дурново. Более того — сообщался его маршрут: по Гороховой на Царско-сельский вокзал, а также подробное описание выезда. Вторая группа к этим сообщениям относилась скептически: несмотря на систематическое наблюдение, Дурново еще ни разу не был замечен ею.

Всеволод Смирнов был типичный, по внешности, нищий. Небритый, лохматый, в рваном, подпоясанном веревкой халате, он начал с того, что продавал на улицах папиросы. Он скоро нашел более подходящее ремесло. Он поступил газетчиком в «Русское Знамя». Так как наблюдению подвергался особенно Царскосельский вокзал, откуда Дурново ездил к царю, то теперь задача Смирнова заключалась в том, чтобы получить место для продажи газет на Загородном проспекте, в районе казарм Семеновского полка. Он выбрал угол Введенского канала и явился в участок к приставу с просьбой разрешить ему там стоянку. Пристав встретил его сердито:

— Пошел вон. Нельзя.

— Разрешите, ваше высокородие!

— Нельзя.

— Христа ради!

Пристав посмотрел на его лохмотья.

— Ты что же, от какой газеты?

— От «Русского Знамени».

— От «Русского Знамени»?

— Точно так.

Пристав подумал минуту.

— Ну, ладно, чорт с тобой. Разрешаю.

Смирнов получил разрешение, неотступно в назначенные часы наблюдал за Царскосельским вокзалом. Наблюдение это, как и всех товарищей из второй группы, не давало никаких результатов. Но однажды произошел эпизод, который чрезвычайно удивил его и нас всех.

Смирнов, как и все наблюдающие, был не вооружен. Никто из них не носил с собой револьвера: при случайном аресте, — а такой арест всегда возможен, — револьвер послужил бы тяжкой уликой. Однажды днем, когда Смирнов на Загородном проспекте продавал газеты, к нему подошел не кто другой, как Дурново, и купил у него «Новое Время». Смирнову ничего не оставалось делать, как смотреть вслед удаляющемуся министру. Этот случай подтвердил то мнение, которое

стало слагаться у нас. Мы давно уже предполагали, что Дурново, вместо открытых выездов в карете, пользуется новой для министров и старой для революционеров тактикой, — выходит из дому пешком и в пути принимает все меры предосторожности. Мы не выводили тогда заключения, что он может быть предупрежден, в частности, именно о нашем наблюдении. Мы думали, что наш метод стал известен полиции уже со времени ареста первых извозчиков 17 марта, и что все вообще высокопоставленные лица должны поэтому принимать специальные меры. И им и нам было хорошо известно, что филерская охрана никогда охранить не может.

Петр Иванов не слезал с козел с конца лета 1903 года. По наружному виду даже самый опытный сыщик не заподозрил бы в нем революционера. Небольшого роста, широкоплечий и крепкий, он по-извозчичьи сгибался на козлах, по-извозчичьи бранился с полицией и по-извозчичьи торговался с седоками. Лошадь у него была захудалая и пролетка подержанная. Не раз я проходил мимо него на явке, не отличая его в длинном ряду других извозчиков. Он более, чем кто-либо другой, приспособился к своему ремеслу и быту. Он искренно входил в положение своих товарищей по профессии и посещал митинги извозчиков, как член извозчичьего союза. Но на дворах и в частных беседах он тщательно скрывал свои истинные убеждения и не шел дальше программы кадет.

— Был я намерен на митинге, — рассказывал он, улыбаясь. — Председателя выбрали. Ну, явился тут один хозяйчик, эсэр. Речь говорил. О земле. Землю чтобы, значит, крестьянам отдать. Что ж, дело хорошее... Только не выбрали мы его.

— Почему?

— Не хозяйский мужик. Извозчик должен быть справен. Лошадь, чтобы в порядке. Пролетка чтобы, значит, блесит, ну и ездить умеет. А он... Известен он мне. Так, извозчишко дрянь, — полтинник, разве, наедет. Такого можно ли выбирать? Нет, уж лучше кадет, да чтобы хозяйский был.

«Адмирала» на козлах можно было принять за простого деревенского парня. Светло-русый, коренастый, с широким лицом, он был похож на сотни и тысячи приезжающих в Петербург на заработки крестьян. Он тоже скоро привык к своей роли. Он питал какую-то исключительную ненависть к петербургскому градоначальнику, генералу фон-Лауницу, и не раз возвращался к вопросу об убийстве его.

— Не дается нам Дурново, — говорил он, понукая свою лошаденку, — не поймешь, где он ездит и как... Ну, не дается, а вот Лауница я много раз видел. Почему Лауница беречь? Нельзя Дурново, — нужно Лауница убить.

Именно он и убил Лауница.

С Ивановым и «Адмиралом» я встречался часто, обыкновенно в их же пролетках, беседуя с ними во время езды. Для этой цели мы уезжали на острова. Со Смирновым я виделся в дрянном трактире «Ростов-на-Дону», и половые уже привыкли к нашим свиданиям — к свиданиям барина и рваного газетчика. Горинсона и Пискарева я видел гораздо реже, главным образом на улице, покупая у них папиросы. Через Смирнова я поддерживал с ними постоянную связь.

Итак, наблюдение нашей группы не дало никаких результатов. Кроме случая со Смирновым, когда Дурново купил у него газету, еще всего раз мы усмотрели его: «Адмирал» заметил министра на Морской. Дурново стоял на углу, разговаривая с каким-то чиновником. Но «Адмирал», как и Смирнов, был невооружен.

Между тем первая группа настаивала на своем. Гоц, Павлов и Трегубов утверждали, что они уже выследили Дурново и что уже можно приступить к покушению. Мы же были убеждены, что это неверно: мы не могли допустить мысли, чтобы при сосредоточенном наблюдении наша группа не заметила Дурново.

Недоразумение скоро рассеялось. Оказалось, при проверке, что Гоц, Павлов и Трегубов выследили не министра внутренних дел, а министра юстиции Акимова, напоминавшего лицом Дурново.

Тогда они предложили произвести покушение на Акимова. В марте, после покушения на Дубасова и

после поездки в Варшаву, я приехал через Петербург в Гельсингфорс. В Гельсингфорсе я нашел Азефа. Я рассказал ему о московских и варшавских делах и спросил, скоро ли он думает приступить к покушению на министра юстиции.

Азеф, как всегда, по внешности равнодушно, сказал:

— Покушение на Акимова, видимо, состояться не может. Получено сведение из достоверного источника, что полиции известно о существовании трех извозчиков в Петербурге в связи с делом Дурново. С другой стороны, Гоц, Павлов и Трегубов жалуются, что за ними следят. Что ты об этом думаешь?

Я спросил, какие именно сведения получены и от кого. Азеф рассказал мне следующее.

В. И. Натансон в гостях у одного видного кадета услышала за столом разговор о боевой организации. Из этого разговора она поняла, что гостям известно о существовании в Петербурге трех извозчиков-террористов. Так как факт этот ей самой был неизвестен и дойти до кадетов мог, очевидно, не из революционных, законспирированных кругов, а из полицейских источников, то она и поспешила сообщить в центральный комитет об услышанном.

Окончив, Азеф опять спросил:

— Что же ты думаешь об этом?

Я сказал, что, по моему мнению, необходимо немедленно снять из Петербурга Гоца, Павлова и

Трегубова; необходимо также проверить, не следят ли за второй группой, и если нет, то наблюдение ею должно производиться дальше, на место же выбывших извозчиков нужно поставить новых: Двойникова, Калашникова и Назарова.

Азеф согласился со мной. Гоц, Трегубов и Павлов продали свои выезды и уехали из Петербурга. Двойников, Калашников и Назаров не вошли, однако, в состав наблюдающей организации: до созыва Думы оставался всего месяц только, и за покупкой пролеток и лошадей назначенный срок истек бы наполовину. Значит, возможно было увеличить наблюдающий состав только торговцами в разнос. Торговцы же в разнос, по словам Горинсона и Пискарева, встречали такие препятствия для работы, что кратковременное их наблюдение могло дать только самые ничтожные результаты.

Впоследствии, уже в самом конце апреля, накануне открытия Думы, все-таки была сделана попытка убить Акимова. Трегубов, в форме чиновника министерства юстиции, с бомбой в руках, ожидал его выезда на Михайловской улице, где Акимов жил. Он не дождался министра, и покушение не удалось. Конечно, оно могло бы быть повторено и, быть может, с большим успехом, но рамки, поставленные центральным комитетом, не позволяли нам этого без предварительного решения центрального комитета. Трегубов, вернувшись после своей неудачи в Финляндию, объяснил, что за ним в

Петербурге следили. Это и не дало ему возможности дожидаться министра. Бомбу для него приготовил Зильберберг. Он тоже сообщил, что заметил за собой наблюдение.

Вскоре после этого был арестован на финляндском вокзале Павлов, несколько позже был арестован Трегубов, еще позднее, уже летом, в Петергофе на улице был задержан Гоц. Их судили осенью 1907 г. в петербургской судебной палате по обвинению в принадлежности к боевой организации партии социалистов-революционеров и, по лишении всех прав состояния, сослали в каторжные работы на разные сроки.

Х

Перед самым созывом Государственной Думы, но еще до 23 апреля, когда выяснилось, что покушение на Дурново невозможно, покушение же на Дубасова сопряжено со многими затруднениями, — Гоц предложил два плана.

Он считал, и мы все были с ним согласны, что до открытия Думы необходимо совершить крупный террористический акт. Если не было возможности совершить его путем долговременной подготовки, то, по его мнению, следовало попытаться достигнуть успеха партизанским путем. Он предложил взорвать

либо дом, где жил Дурново, либо поезд, в котором он ездил к царю. Не вдаваясь еще в технические подробности этих планов, Азеф сказал:

— Я согласен только в том случае, если я пойду впереди.

Я и Гоц ответили ему, что, по нашему мнению, это недопустимо. Как бы ни была велика необходимость в немедленном террористическом акте и как бы он ни был ответствен, организация не может жертвовать Азефом, — своим шефом и практическим руководителем. Мы сказали, что мы просим его отказаться от такого его условия.

Азеф сказал:

— В таких делах, в открытых нападениях, необходимо, чтобы руководитель шел впереди. Я должен идти.

На это мы оба возразили ему, что находим достаточным, если с товарищами пойдем мы двое, и что, поэтому, нет нужды в его непосредственном участии в покушении.

Азеф задумался, потом он сказал:

— Ну, хорошо. Там посмотрим.

Мы перешли к технической стороне планов Гоца. Нам встретилось два затруднения: во-первых, мы не были уверены, что в такой короткий срок сумеем обеспечить оба предприятия или хотя бы одно из них

взрывчатым веществом, — взрыв и дома Дурново, и поезда требовал несколько пудов динамита.

Во-вторых, нам было неизвестно в точности расположение комнат в квартире Дурново, дом же, который он занимал на Мойке, был настолько велик, что, даже если бы удалось проникнуть внутрь его, не было никакой гарантии, что взрывом министр будет убит. Могло легко случиться, что половина дома была бы разрушена, но Дурново все-таки остался бы жив. Так случилось в августе 1906 г., когда максималисты выполнили аналогичный план, взорвав дачу министра Столыпина на Аптекарском острове.

Точно так же нам не было известно в точности, с каким именно поездом и в каком именно вагоне ездит Дурново. Мы могли опасаться взрыва обычного курьерского поезда и смерти лиц, совершенно непричастных к правительству. Мы помнили о взрыве свитского поезда партией «Народной Воли» в ноябре 1878 года.

Установить в короткий срок расположение комнат Дурново не было никакой возможности. Едва ли также в этот срок было возможно выяснить с достоверностью, каким именно поездом ездит Дурново. Мы могли только установить силы охраны Царскосельской железнодорожной ветки и возможность открытого нападения на ней. Выяснением этого занялся Гоц. Он заявил, что ветка охраняется достаточно сильно, взрыв

ее днем, при приближении министерского поезда, был более чем затруднителен.

Что касается динамита, то заключение по этому поводу должен был дать Зильберберг.

Зильберберг жил в Териоках, в лаборатории. Он и его квартира были вне всяких подозрений, и работа его шла очень успешно. Но Зильберберг тяготился своей, скорее пассивной ролью. Он хотел принять более непосредственное и близкое участие в делах организации и имел к тому все данные. Предполагалось, что он возьмет на себя непосредственное наблюдение за Дурново в Петербурге и для этой цели станет извозчиком. Но его занятия в лаборатории — приготовление бомб для Дубасова и Акимова, помешали этому: он остался в той же роли старшего химика.

Зильберберг, которому мы сообщили план Гоца, ответил, что он берется при помощи обученных товарищей в короткий срок сделать несколько динамитных панцирей и бомб, но что общее количество динамита, имеющегося в его распоряжении, едва ли достаточно, чтобы взорвать поезд или дом Дурново.

Таким образом, первое из наших затруднений не устранялось, второе устранялось только отчасти.

Азеф, рассмотрев план еще раз, сказал:

— Кроме всех затруднений, есть еще одна сторона: вправе ли организация требовать, чтобы член ее взорвал

себя на воздух?

Было решено план Гоца отклонить, и сам Гоц согласился с этим.

Итак, к созыву Государственной Думы, т. е. к сроку, поставленному центральным комитетом, мы оказались не в состоянии совершить крупный террористический акт, если не считать покушения на Дубасова, которое, хотя и имело несомненный моральный успех, все-таки было почти неудачей: Дубасов остался жив.

Я был склонен приписывать тогда эти неудачи трем причинам:

во-первых, ограничению срока нашей работы, во-вторых, устарелостью метода наружного наблюдения, в чем убеждала меня неуловимость Дурново, и, в-третьих, недостаточной гибкостью и подвижностью боевой организации. Кроме того, переполнение ее при немногочисленном центре (Азеф и я) исключало тесную связь между центром и отдельными лицами. Эти недостатки были мной неоднократно указаны Азефу.

XI

Кроме крупных террористических предприятий, боевая организация в тот же период готовила некоторые акты меньшей важности: против адмирала Чухнина, генерала Мина, полк[овника] Римана,

провокатора Гапона и заведующего политическим розыском Рачковского. Но ни одно из этих дел не было приведено в исполнение силами боевой организации.

Как я уже говорил, Зензинов отправился в Севастополь с поручением выяснить возможность убийства адм[ирала] Чухнина. Он приехал, когда в Севастополе находился Владимир Вноровский, тогда еще не член боевой организации, и Екатерина Измаилович, поставившие себе ту же цель. Зензинов вернулся в Финляндию и сообщил, что Чухнин будет, вероятно, убит этими товарищами. Действительно, 22 января 1906 г. Екатерина Измаилович, явившись во дворец адм[ирала] Чухнина в качестве просительницы, произвела в адмирала несколько выстрелов из револьвера и тяжело его ранила. Она была тут же на дворе, без всякого суда и следствия, расстреляна матросами. Вноровский скрылся. Чухнин был убит 29 июня того же года матросом Акимовым на своей даче под Севастополем, «Новая Голландия».

Покушение на ген[ерала] Мина и полк[овника] Римана произошло при следующих обстоятельствах.

Студент института путей сообщения Самойлов и бывший студент московского университета Яковлев (Гудков) заявили боевой организации о своем желании принять участие в террористическом акте. За Самойловым не было боевого прошлого. Яковлев участвовал в московском восстании. Ни того, ни другого до их предложения я никогда не встречал, но у

них были наилучшие рекомендации. И действительно, оба покушения окончились неудачей не по их вине.

Было решено, что оба они в один и тот же день и по возможности в один и тот же час явятся в квартиру к Мину и Риману и застрелят их.

Накануне их отъезда из Гельсингфорса я видел их обоих на квартире г. Тидермана, редактора журнала «Framtid», и г-жи Элин Нолландер, — товарищей финнов, много раз оказывавших нам ценные услуги. Самойлов и Яковлев оба одинаково были спокойны. Яковлев своим красивым и сильным тенором пел арию Ленского «Что день грядущий мне готовит». На следующий день он был арестован.

С вечерним поездом они выехали из Гельсингфорса. Самойлов был в форме лейтенанта флота, Яковлев — в мундире пехотного офицера. Самойлов должен был явиться к Мину с визитной карточкой кн[язя] Вадбольского, Яковлев — к Риману под именем кн[язя] Друцкого-Соколинского. Оба они в первый раз, утром, не застали Мина и Римана дома и обещали зайти вторично днем. Самойлов и днем не застал никого или, вернее. Мин не принял его, несмотря на флотский мундир и громкую фамилию. Яковлев был схвачен полицией в самом подъезде дома Римана, когда явился во второй раз. Его судили вместе с Гоцем, Павловым и Трегубовым в судебной палате с сословными представителями и приговорили к лишению прав и ссылке в каторжные работы на 15 лет.

Этот арест остался тогда неразъясненным. Было похоже на то, что Рима́н был заранее предупрежден о приходе Яковлева, иначе непонятно было присутствие полиции в подъезде его дома. Справки, которые мог навести Рима́н о явившемся утром офицере Друцком-Соколинском, едва ли могли установить к 5 часам дня, что явившийся — не офицер, а террорист. Рима́н остался жив. Мин был убит в августе того же года Зинаидой Конопляниковой.

Тогда же было предпринято покушение на Рачковского и Гапона.

В начале февраля в Гельсингфорс приехал П. М. Рутенберг и рассказал следующее:

6 февраля в Москве к нему явился Гапон. Гапон рассказал ему, что состоит в сношениях с полицией, в частности, с начальником петербургского охранного отделения Герасимовым и упомянутым уже мною Рачковским. Он предложил Рутенбергу поступить на службу в полицию и совместно с ним, Гапоном, указать боевую организацию, за что, по его словам, правительство обещало сто тысяч рублей.

Уже давно о Гапоне ходили темные слухи. Говорили, что он в октябре — ноябре вступил в какие-то сношения с гр[афом] Витте, через чиновника министерства] вн[утренних] дел Манасевича-Мануйлова и сотрудника газеты «Гражданин» Колышко; что еще раньше, за границей, он виделся с кем-то из великих князей; что в последнее время в

разговорах с корреспондентами иностранных газет он высказывал преданность престолу и раскаяние в своих заблуждениях и т. д. Этим слухам нельзя было не придавать некоторой веры. Гапон любил жизнь в ее наиболее элементарных формах: он любил комфорт, любил женщин, любил роскошь и блеск, словом, то, что можно купить за деньги. Я убедился в этом, наблюдая его парижскую жизнь. Одного этого, конечно, было мало, чтобы из Григория Гапона превратиться в предателя. Но у Гапона была еще одна черта, которая в соединении с первой могла его заставить пойти на соглашение с правительством: Гапон был лишен мужества, он боялся за свою жизнь, боялся виселицы. Я убедился в этом при описанной выше встрече моей с ним в Гельсингфорсс в сентябре 1905 г. Быть может, однако, ни любовь к роскоши, ни страх смерти не привели бы его еще к гр[афу] Витте, а затем к Рачковскому, если бы у него были твердые убеждения. Но у него таких убеждений не было. Он жил настроениями, чувством. Он сначала действовал, а потом уже отдавал себе отчет в своих действиях. Натура очень увлекающаяся и вместе с тем слабая, даровитая и в высшей степени импульсивная, он мог сделать много ложных шагов и потом сам каяться в них. Как бы то ни было, рассказ Рутенберга не шел вразрез ни с впечатлениями, ни со слухами о Гапоне.

Рутенберг был очень взволнован. Он помнил, как он вместе с Гапоном шел с путиловскими рабочими

навстречу войскам, помнил, как увел Гапона с Нарвского шоссе и тем спас его от ареста; помнил, как за границей Гапон говорил о терроре и о вооруженном восстании; наконец, помнил личную дружбу Гапона и свое к нему чувство. Явившись в Гельсингфорс к Азефу и ко мне, он поставил перед нами вопрос:

— Что теперь делать?

Как ни понятно было психологически предательство Гапона, самый факт этого предательства представлял из себя нечто, совершенно выходящее за обычную мерку. Еще тогда, зимою 1906 г., Гапон был самым популярным человеком в массах. Его имя, имя вождя революции, переходило из уст в уста, от рабочих к крестьянам. Его портреты можно было найти везде, — в городе и деревне, у русских, поляков, даже евреев. Он первый всколыхнул городской пролетариат. Он первый решил стать во главе поднявшихся рабочих. Ни всеобщая забастовка 1905 г., ни даже декабрьские баррикады не могли заслонить образ этого человека, от которого ждали новых выступлений, ждали, что если он начал революцию, то он и закончит ее. Неясные слухи, о которых я говорил выше, не проникали в широкие массы. И когда в Петербурге и в других больших городах имя Гапона уже настолько упало, что его открыто стали обвинять в сношениях с гр[афом] Витте, осталось еще много рабочих, вполне доверявших ему и готовых идти за ним по первому его слову.

В моих глазах Гапон был не обыкновенный предатель. Его предательство не состояло в том, в чем состояло предательство, например, Татарова. Татаров предавал людей, учреждения, партию. Гапон сделал хуже: он предал всю массовую революцию. Он показал, что массы слепо шли за человеком, недостойным быть не только вождем, но и рядовым солдатом революции. Я, не колеблясь, ответил Рутенбергу, что, по моему мнению, на его вопрос может быть только один, заранее определенный ответ: Гапон должен быть убит.

Разговор этот происходил на квартире Вальтера Стенбека, на той самой, где полгода назад скрывался Гапон. Кроме Азефа, Рутенберга и меня, при разговоре этом присутствовал еще Чернов.

Азеф и Чернов высказались не сразу. Я не был тогда еще кооптирован в члены центрального комитета, и мой голос, как и голос П. М. Рутенберга, мог иметь только совещательный характер. Азефу и Чернову принадлежало решение.

Азеф долго думал, курил папиросу за папиросой и молчал. Наконец, он сказал:

— По моему мнению, Гапона, на основании только сообщения Мартына (Рутенберга), убить невозможно. Гапон слишком популярен в массах. Его смерть будет непонятной. Нам не поверят: скажут, что мы его убили из своих партийных расчетов, а не потому, что он действительно состоял в сношениях с полицией. Эти сношения надо еще доказать. Мартын — революционер,

он член партии, он не свидетель в глазах всех тех, кто заинтересуется этим делом. А ведь заинтересуются все. Вот если бы уличить Гапона...

Рутенберг спросил:

— Как уличить?

— Очень просто. Ведь Гапон говорит, что имеет свидания с Герасимовым и Рачковским. Он даже зовет вас на это свидание. Согласитесь фиктивно на его предложение вступить на службу в полицию и, застав Гапона с Рачковским, убейте их вместе.

— Ну?

— Ну, тогда улика ведь налицо. Честный человек не может иметь свидания с Рачковским. Все убедятся, что Гапон действительно предатель. Кроме того, будет убит и Рачковский. У партии нет врага сильнее Рачковского. Убийство его будет иметь громадное значение.

Чернов поддержал Азефа. Он находил также, что убийство одного Гапона поставит партию в весьма трудное положение, ибо доказательств виновности Гапона нет никаких, кроме утверждения Рутенберга. Он считал, кроме того, весьма важным убийство Рачковского.

Рутенберг и я держались другого мнения. Мы оба думали, что, конечно, если возможно, то следует убить и Рачковского, но и убийство одного Гапона, в наших глазах, имело большое значение. Мы оба были убеждены, что доказательства измены Гапона рано или

поздно найдутся сами собою и что поэтому нам нет нужды считаться с тем, что мы в данную минуту не можем их представить. По нашему мнению, для убийства Гапона достаточно было признания им самим своего предательства перед Рутенбергом. Более того, мы оба считали, что предатель Гапон во всяком случае и при всяких обстоятельствах должен быть убит именно от лица партии, ибо именно с партией он был наиболее близок и именно партия в лице Рутенберга обнаружила его измену.

Ни Азеф, ни Чернов с нами не согласились. Они заявили, кроме того, что все берут на свою ответственность, что и центральный комитет в полном его составе присоединится не к нашему, а к их мнению. Действительно, впоследствии центральный комитет санкционировал их решение, несмотря на оппозицию М. А. Натансона, находившего, что следовало отказаться даже и от убийства Гапона и Рачковского вместе.

После заявления Азефа и Чернова, Рутенберг вышел в другую комнату и долго там оставался один. Когда он вернулся, он сказал:

— Я согласен. Я попытаюсь убить Рачковского и Гапона.

Азеф тут же выработал план действий. Рутенберг должен был при новом свидании с Гапоном заявить ему, что он согласен поступить на службу в полицию, согласен увидеться для этой цели с Рачковским. Он

должен был сказать также Гапону, что он член боевой организации и стоит во главе покушения на Дурново. Предвидя, что Рачковский отнесется недоверчиво к согласию Рутенберга, Азеф предложил следующее. Во-первых, Рутенберг должен был порвать все сношения с партией и с партийными людьми и жить совершенно изолированно. Таким образом, наблюдение за Рутенбергом не повлекло бы за собою наблюдения за другими товарищами и ареста их. Во-вторых, Рутенберг, с той же целью обмануть недоверие Рачковского, должен был симулировать покушение на Дурново при помощи извозчиков. Он должен был нанять несколько извозчиков и ездить с ними в определенные часы на определенных улицах, — там, где мог проезжать Дурново. Филеры, наблюдая за Рутенбергом, несомненно, заметили бы, что Рутенберг постоянно находится в сношениях с одними и теми же извозчиками, и донесли бы об этом. Извозчики, разумеется, никакой опасности не подвергались. Кроме того, Азеф заявил, что готов предложить кому-либо из членов организации действительно стать извозчиком и сноситься с Рутенбергом. Этот член организации обрекался почти на верную гибель, но убийство Рачковского было, с организационной точки зрения, столь важно, что организация пожертвовала бы для него и не одним, а многими из своих членов: Рачковский фактически держал в своих руках все нити политического розыска. Бомбу для Рутенберга должен был приготовить Зильберберг.

Рутенберга этот план смутил. Его смущала щекотливая сторона его фиктивного Гапону согласия и весь план, построенный на лжи. Он не привык еще к тому, что все боевое дело неизбежно и неизменно строится не только на самопожертвовании, но и на обмане. Оставляя в стороне моральную сторону вопроса, я находил, что план, предложенный Азефом, целесообразен и достигает цели. Гапон давно потерял все связи с партией и тем более с боевой организацией. Ни один из товарищей не поделился бы с ним не только ценным для полиции сведением, но и безобидной подробностью дела. Он не знал местопребывания ни центрального комитета, ни Азефа, ни моего. Значит, Рачковскому полезен он сам быть не мог, и услуга его полиции могла заключаться единственно в том, что он склонил бы на провокацию такого видного члена партии, как Рутенберг. Уже для одного того, чтобы доказать Рачковскому успешность своих переговоров, он должен был сам, без всякой просьбы Рутенберга, стремиться к свиданию его с Рачковским. Это было в прямых интересах Гапона, как в его интересах было, конечно, присутствовать при этом свидании. Мне казалось поэтому, что Рутенберг без больших усилий с своей стороны и при полном молчании Гапону о людях и делах, может встретить Рачковского и Гапона вместе, а следовательно, может их и убить. Я находил, однако, что фиктивное наблюдение за Дурново излишне, ибо филеры, следя за Рутенбергом и не замечая никаких с его стороны действий, никак не выведут заключения,

что он не у дел: они решат, что он временно конспирирует, и в таком именно смысле донесут по начальству. Кроме того, я боялся за Рутенберга. Мне казалось, что план, предложенный Азефом, настолько не нравился ему, что он не решится или не найдет в себе сил довести его до конца. Я сказал об этом Рутенбергу.

— Я не мальчик, — ответил он мне, — что я сказал, то я и сделаю.

Он тут же принял азефовский план. Я пошел переговорить с Двойниковым, который предназначался для фиктивного наблюдения в Петербурге.

Двойников выслушал меня с удивлением, но он, не колеблясь, сказал:

— Я согласен.

— Вы ведь понимаете, Ваня, — сказал я ему, — за вами, наверно, будут следить, вас могут арестовать в ходе самой работы, а если Гапон и Рачковский будут убиты, то ареста вам не избежать ни в коем случае.

Он вскинул на меня свои темные глаза:

— Что арест... Господи, неужели Гапон провокатор?

Он не мог примириться с этой мыслью. Видя впечатление, произведенное на него этим известием, я понял, что должны будут чувствовать и как должны будут отозваться, узнав о провокации Гапона, рабочие, которые шли за ним девятого января.

Двойников уехал в Петербург и там купил пролетку и лошадь. Рутенберг уехал к Гапону: на последнем его свидании с Азефом я не присутствовал, — я уехал в Москву.

Рутенберг, встретив Гапона, стал действовать согласно принятому плану. Он постепенно стал соглашаться с Гапоном и, наконец, заявил ему, что для него вопрос якобы решен, — он поступает на службу в полицию. Он заявил ему также, что это решение обуславливается размером суммы, которую готов уплатить Рачковский. Тогда их беседы приняли характер торга: Рутенберг назначал цену, а Гапон торговался. Рутенберг ежедневно со стенографической точностью записывал содержание этих бесед и впоследствии представил их центральному комитету. Ознакомившись с ним, я не удивился, что Рутенберг был смущен предложением Азефа: его роль была не столько трудная, сколько неприятная, — Гапон был циничен в своих рассказах и предложениях. Рутенбергу нужно было много характера, чтобы спокойно слушать, как Гапон торгует его товарищей и друзей.

После некоторых таких разговоров, Гапон сообщил Рутенбергу, что Рачковский согласен увидеться с ним и назначает ему свидание на 4 марта в отдельном кабинете ресторана Контан. Гапон должен был присутствовать при этом свидании. Согласно уговору, Рутенберг в первый раз должен был прийти к Рачковскому без оружия: мы боялись, что он будет

обыскан при входе, и тогда, разумеется, покушение рушилось бы само собою. Только убедившись в доверии к себе Рачковского, Рутенберг должен был взять с собою бомбу.

4 марта Рутенберг явился в ресторан Контан и, по условию с Гапоном, спросил отдельный кабинет г-на Иванова. Лакей ответил ему, что такого кабинета нет. Рутенберг удалился.

Гапон объяснил ему на следующий день, что произошло недоразумение и что Рачковский приглашает его на свидание в ближайшее воскресенье.

Рутенберг не стал ждать этого воскресенья. Беседы с Гапоном привели его в чрезвычайно нервное состояние. Кроме того, в происшедшем «недоразумении» он увидел обман, если не со стороны Гапона, то со стороны Рачковского. Он решил ликвидировать дело и уехать за границу, о чем и сообщил запискою Азефу.

Все подробности я узнал в марте, когда вернулся, после поездки в Варшаву, в Гельсингфорс. Я пробыл в Гельсингфорсе дня два и снова уехал. Я уезжал в уверенности, что дело Гапона—Рачковского ликвидировано окончательно и что Рутенберг за границей.

В самом конце марта я снова был в Гельсингфорсе. Я увиделся с Азефом на квартире у Айно Мальмберг, где он жил. Он выслушал мой рассказ о положении дел в

Москве и Петербурге и затем, помолчав, сказал, как всегда, равнодушно:

— А ты знаешь, Гапон убит.

Я удивился.

— Кем?

— Мартыном (Рутенбергом).

Я удивился еще более.

— Когда?

— Двадцать второго, на даче в Озерках.

— Партия разрешила?

— Нет. Мартын действовал самостоятельно.

Рутенберг был в Гельсингфорсе. Я нашел его в Брунспарке у г. Гумеруса, второго редактора журнала «Framtid». Рутенберг еще находился весь под впечатлением убийства Гапона. Он сказал:

— Я собирался уехать в Бельгию. Но, приехав сюда, я задумался. Хорошо, — Рачковского убить невозможно, но Гапона можно убить. Я решил, что я обязан это сделать.

Я спросил его:

— Но ведь ты же знал, что центральный комитет не разрешил убить одного Гапона? Он ответил:

— Как не разрешил? Мне было сказано: если обоих вместе нельзя, то убить одного Гапона?

Я не возражал. Я спросил:

— А где Двойников?

— Продал лошадь и пролетку и теперь здесь.

Затем Рутенберг рассказал мне следующее: решив убить одного Гапона, он пригласил его на снятую заранее дачу в Озерках, якобы для последних переговоров о своем решении поступать на службу в полицию. Он собрал несколько человек рабочих, лично ему хорошо известных, членов партии, из которых некоторые шли вместе с Гапоном 9 января, и сообщил им все свои разговоры с Гапоном. Рабочие сперва не поверили. Рутенберг предложил им убедиться в правдивости его слов и только тогда приступить к убийству. Один из этих рабочих ожидал Гапона и Рутенберга на ст. Озерки, как извозчик. Пока они ехали на дачу, он, сидя на козлах, слышал весь разговор Гапона с Рутенбергом и убедился, что Гапон, действительно, предлагает Рутенбергу поступить на полицейскую службу. То же самое повторилось на даче. В пустой комнате, за прикрытой дверью, несколько рабочих слышали разговор Рутенберга с Гапоном. Гапон никогда не говорил так цинично, как в этот раз. В конце разговора Рутенберг открыл внезапно дверь и пустил рабочих. Несмотря на мольбу Гапона, рабочие тут же повесили его на крючке от вешалки.

Рассказывая, Рутенберг чрезвычайно волновался. Он говорил:

— Я вижу его во сне... Он мне все мерещится. Подумай, — ведь я его спас девятого января... А теперь

ОН ВИСИТ!..

Тело Гапона было обнаружено полицией только через месяц после убийства. Центральный комитет, ссылаясь на свое постановление, отказался признать это дело партийным. Рутенберг уехал за границу.

Впоследствии Рутенберг не раз обращался к центральному комитету с просьбой расследовать дело об убийстве Гапона и признать, что оно совершено с ведома и разрешения высшего учреждения партии. Он говорил, что Азеф дал ему, на последнем с ним свидании, разрешение на убийство одного Гапона в случае, если совместное убийство его с Рачковским окажется невозможным; что Азеф за два дня до 22 марта был поставлен в известность о приготовлениях к убийству, но убийства не остановил; наконец, что Азеф сам косвенно принимал участие в этом деле советами и указаниями ему людей, которые могли бы помочь убить одного Гапона. Азеф отрицал это заявление Рутенберга. Так как постановление центрального комитета не допускало двух толкований, и разрешение было дано исключительно на убийство Гапона и Рачковского вместе, то центральный комитет не принимал к сведению заявлений Рутенберга и в просьбе ему отказывал. Я считал, что центральный комитет действовал правильно: я хорошо помнил, что Азеф и Чернов высказались против убийства одного Гапона.

Когда убийство было раскрыто полицией, появились самые разнообразные слухи о причинах его и о самом

его исполнении. Находились, конечно, люди, которые не верили в виновность Гапона, но что более странно, — находились люди, высказывавшие подозрение в политической честности Рутенберга. Они утверждали, что Рутенберг убил Гапона на почве полицейской конкуренции. Центральный комитет в одном из номеров «Партийных Известий» опроверг эти слухи, мне же не приходится прибавлять, что честность Рутенберга стояла выше всяких подозрений и что, соглашаясь фиктивно на предложения Гапона, он только исполнял приказание центрального комитета.

По этому делу в N 15 газеты «Знамя Труда» появилось официальное сообщение центрального комитета, во всех отношениях реабилитирующее Рутенберга.

XII

Открытием первой Государственной Думы закончилась наша террористическая кампания, начатая немедленно после первого общепартийного съезда. Из ряда боевых предприятий целиком не удалось ни одно: Дубасов был ранен, Гапон был убит, но без Рачковского. Мин, Риман, Акимов и, что всего важнее, Дурново, остались живы. В организации стали раздаваться голоса, и мой голос был в их числе, что серия наших неудач не может обуславливаться только случайными

причинами и что причины ее должны лежать глубоко. Я вспоминал мысль Швейцера о применении к делу террора новейших технических изобретений. В этом отношении организация находилась на очень низком уровне: кроме некоторых усовершенствований в динамитном деле, внесенных Зильбербергом, в смысле научной техники ничего сделано не было. Я указал на это Азефу, как на коренной недостаток организации, и Азеф соглашался со мной.

После взрыва на квартире Лубковских, я увиделся в Гельсингфорсе с Зильбербергом. Он был очень бледен и почти изменил своему обычному спокойствию. Я спросил его:

— Что с вами?

— Это я виноват.

— В чем?

— Что Генриетта (Беневская) взорвалась.

— Почему?

— Я делал бомбу.

Я удивился, спросив снова:

— Ну, так что же?

— Вероятно, запал был тугой и ей трудно было вынуть его.

Конечно, Зильберберг был так же мало виноват во взрыве 13 апреля, как когда-то Сазонов в неудаче 18

марта. Но Зильберберг, как и Сазонов, обвинял только себя.

С моей же точки зрения, взрыв 13 апреля, не касаясь вопроса, кто был в нем виноват, устанавливал на будущее время незыблемое правило: бомба, сделанная одним химиком, не должна разряжаться другим. Если бы Вноровский не получил снаряда в Петербурге, а Беневская не разряжала бы его в Москве, несчастья не было бы.

Эта ошибка, происшедшая, скорее всего, по вине Азефа, настоявшего на плане убийства Дубасова в поезде, и по моей вине, ибо я не отстоял моего противоположного мнения, указала мне еще на одну причину наших неудач. Я чувствовал себя утомленным. Я помнил, что Азеф еще в январе жаловался на усталость и хотел оставить работу. Я приходил к выводу, что утомление Азефа и мое неизбежно должно отражаться на ходе дел организации, и если в тех условиях, в каких протекало покушение на Дубасова, взрыв 23 апреля и можно считать победой, то в общем мы не могли не признать, что поставленная перед нами партийная задача выполнена далеко неудовлетворительно.

Я с удивлением отметил тогда еще один факт, показавший, что я состою под наблюдением полиции. В одну из моих поездок в Петербурге в середине апреля на Финляндском вокзале в Петербурге ко мне подошел солдат пограничной стражи с винтовкой и пригласил

меня следовать за ним. Он привел меня в комнату, где было еще двое солдат и чиновник. Чиновник, не спрашивая моего имени, попросил раскрыть чемодан. Я раскрыл и оставил лежать его на полу. Осмотрев чемодан, чиновник и солдаты, ни слова не говоря, вышли из комнаты. Я остался один. Я поднял свой чемодан и вышел. Меня не остановил никто.

Я делился своими сомнениями с Азефом. Я указывал ему на странность этого случая и спрашивал его, как он объясняет его себе? Азеф смеялся. Он говорил, что это — случайное совпадение, что, вероятно, таможенный чиновник заподозрил во мне контрабандиста. Я готов был согласиться с этим, если бы с Зильбербергом не случилось тогда же следующее происшествие.

На станции Белоостров его задержала пограничная стража и предъявила требование уплатить за новый костюм, бывший на нем. Зильберберг уплатил, но обратился в главное таможенное управление с заявлением о возвращении ему денег, неправильно потребованных с него. Начальник управления приказал вернуть ему деньги, и в разговоре с Зильбербергом сказал:

— Я вообще не понимаю этого происшествия. Брать деньги за надетый костюм!.. Единственно, чем я это могу объяснить, это — наблюдение за вами тайной полиции. Агенту тайной полиции нужно было вас обыскать, не возбуждая вашего подозрения, и он указал

на вас таможенной страже. Она и придралась к костюму.

Я высказывал Азефу также свои сомнения относительно самой постановки организации. Он, по обыкновению, слушал молча. Однажды он спросил меня:

— Ну, что ж, по-твоему, нужно делать?

Я сказал, что нужно сократить число членов организации или, наоборот, значительно увеличить его; что сокращение придаст гибкость организации и, быть может, позволит нам перейти к методу вооруженных нападений, в котором мы оказались неудовлетворительными; что увеличение даст возможность расширить метод наружного наблюдения и тем улучшить его. Я сказал также, что, однако, радикальное решение, быть может, лежит в применении технических усовершенствований к делу террора.

— Может быть, ты и прав, — сказал Азеф. — Попробуй. Отбери, кого хочешь, и поезжай в Севастополь. Нужно убить Чухнина, особенно нужно теперь, — после неудачи Измаилович. Ты согласен на это?

Я сказал, что принимаю его предложение. Я был убежден, что небольшая группа близких друг другу людей сумеет подготовить покушение на Чухнина, каковы бы ни были затруднения на месте.

Я спросил однако:

— А разве решено во время думских занятий продолжать террор?

— А ты сам как думаешь? — спросил Азеф.

Я ответил, что для меня нет вопроса: я считал бы прекращение террористической деятельности большою ошибкой. Азеф сказал:

— Я сам так думаю. Так выбери, кого хочешь, а я останусь в Петербурге. Будем готовить покушение на Столыпина.

Я переговорил с Калашниковым, Двойниковым, Назаровым и Рашель Лурье. Они все четверо согласились ехать со мной в Севастополь. Зная их, я не сомневался в удаче.

В последнее время боевая организация понесла некоторые потери: Вноровский был убит, Моисеенко, Яковлев, Беневская и Павлов были арестованы. Гоц уехал за границу к больному брату, Зензинов совсем ушел из организации. Однако в распоряжении Азефа, кроме химиков, оставалась нетронутая группа наблюдающих в Петербурге (Смирнов, Иванов, «Адмирал», Горинсон и Пискарев). К ним должен был присоединиться Владимир Вноровский, Шиллеров и в качестве руководителя наблюдения — Зильберберг. Азеф мог рассчитывать на успех.

1. [↑] В 1901 г. Карпович смертельно ранил министра народного просвещения Н. П. Боголепова, отправлявшего студентов в солдаты. — Ред.

Глава II. Арест и бегство

I

В самом начале мая я, простившись с Азефом, выехал из Гельсингфорса. Калашников, Двойников и Назаров, каждый отдельно, поехали в Харьков, где должны были ждать меня. В Харькове находился и Шиллеров: он уехал из Москвы после взрыва 23 апреля. Я остановился на день в Москве, где Д. О. Гавронский сообщил мне, что совет партии закончил свои работы. Я не только не был приглашен на этот совет, но, работая все время вне непосредственной связи с партийными учреждениями, даже не знал, что он состоялся. Я не знал также, что на совете этом было решено прекратить террористическую борьбу на время сессии Государственной Думы. Таким образом, вышло так, что я поехал в Севастополь с партийным поручением убить адм[ирала] Чухнина уже в то время, когда партия постановила временно прекратить террор. Об этом я узнал только в тюрьме из газет.

Постановление совета партии шло настолько вразрез с моими и большинства моих товарищей мнениями, что

я не знаю, как бы мы к нему отнеслись, если бы узнали о нем заблаговременно. Вторичное прекращение террора в наших глазах было очевидной политической ошибкой: оно губило только что окрепшую боевую организацию. Быть может, мы бы не подчинились в данном случае центральному комитету и пошли бы на открытый конфликт с партией. Как бы то ни было, для меня и до сих пор остается непонятным, каким образом и почему мы не были извещены о состоявшемся постановлении, почему, также, в силу этого постановления, нам не было предложено оставить дело Чухнина и вернуться в Финляндию...

В Харькове я застал Шиллерова, Калашникова, Двойникова и Назарова. Шиллеров уехал из Харькова в Вильно, чтобы там отдохнуть несколько дней. С Двойниковым, Калашниковым и Назаровым я провел сутки, обсуждая план предстоящего покушения на Чухнина.

На совещании этом было решено, что они все трое займутся в Севастополе уличным наблюдением, в качестве торговцев в разнос и чистильщиков сапог. Я назначил им свидание в Симферополе для выяснения еще некоторых подробностей, а сам решил ехать в Севастополь, чтобы на месте составить окончательный план. Прощаясь с ними, я заметил в Университетском саду подозрительную фигуру. Мне показалось, что фигура эта наблюдает за нами. Я спросил товарищей:

— За вами не следят?

— Нет, — ответил за всех Калашников.

— Вы уверены в этом?

— Конечно.

Я уехал в тот же вечер из Харькова. Как выяснилось потом из следственных материалов, за мною не было еще учреждено наблюдение, но за Двойниковым, Калашниковым и Назаровым оно производилось уже в течение нескольких дней. Филеры отметили наше харьковское свидание.

В Симферополе повторилась та же история. Мы снова увидели каких-то странных людей, будто бы наблюдавших за нами, и снова Двойников, Калашников и Назаров уверили меня, что за ними никто не следит.

Я считаю своею большой ошибкой, что тогда положился на их уверения. Двойников и Назаров, как рабочие, привыкшие к широкой массовой работе, не обращали достаточного внимания на филеров. Калашников, по характеру своему, тоже был склонен скорее уменьшать, а не преувеличивать опасность. Я знал это и, тем не менее, не сделал той необходимой проверки, которая, быть может, спасла бы нас от ареста.

Я приехал в Севастополь 12 мая и остановился в гостинице «Ветцель» под именем подпоручика в запасе Дмитрия Евгеньевича Субботина. Ни в какие сношения с местным комитетом я не входил, даже не знал комитетских явок. Я не мог знать, поэтому, что в Севастополе готовится покушение 14 мая. Наоборот,

именно на 14 мая, день коронации, я рассчитывал для начала наблюдения за Чухниным и к этому числу просил Двойникова, Назарова и Калашникова приехать в Севастополь. Они трое должны были наблюдать у Владимирского собора, куда должен был, по моим расчетам, приехать на торжественное богослужение Чухнин. Я же как раз в это время, часов в 12 дня, имел явку на Приморском бульваре: Рашель Лурье с динамитом должна была приехать в Севастополь на днях, и я ожидал ее. К счастью, 14 мая ее еще в Севастополе не было.

Это опоздание спасло нас: будь она арестована с динамитом, ни у кого не осталось бы ни малейших сомнений, что именно мы участвовали в покушении на ген[ерала] Неплюева. 14 мая утром, часов в 10, я встретил Калашникова на Екатерининской улице, в церкви, и предложил ему идти к Владимирскому собору. Как оказалось впоследствии, наблюдавший за Калашниковым филер отметил и эту нашу встречу.

В 12 часов дня произошло следующее.

По окончании службы в соборе, когда комендант севастопольской крепости г[енерал]-л[ейтенант] Неплюев принимал церковный парад, из толпы народа выбежал юноша, лет 16, Николай Макаров, и бросил Неплюеву под ноги бомбу. Бомба Макарова не взорвалась. В ту же минуту раздался сильный взрыв, — взорвалась бомба второго участника покушения — матроса 29 флотского экипажа Ивана Фролова. Взрывом

этим Фролов был убит на месте. С ним было убито 6 и ранено 37 человек из толпы.

Фролов и Макаров были членами партии социалистов-революционеров и действовали, если не с одобрения, то с ведома и при содействии севастопольского комитета. Представитель этого комитета на упомянутом выше партийном совете голосовал, в числе многих, за временное прекращение террора.

Макаров, Двойников (под фамилией Соловьева) и Назаров (под фамилией Селивестрова) были арестованы на месте взрыва. Двойников, заметив за собою наблюдение, бросился бежать с площади по Ушакову переулку, но был задержан агентом охранного отделения Петровым и каким-то шедшим навстречу офицером. Назаров был схвачен немедленно после взрыва агентом Щербаковым, но Назаров, как гласит обвинительный акт, "не понимая, по-видимому, в чем дело, и предполагая, что с ним, Щербаковым, дурно, увлек его с паперти в ограду, где он, Щербаков, не видя, к кому обратиться за помощью, отпустил Назарова, который сейчас же бросился в толпу народа, а затем побежал по Большой Морской улице. Следуя за ним и увидев около ворот городской управы патруль, Щербаков быстро настиг Назарова, схватил его сзади и крикнул патрулю: «Берите его, это тот, который бросает бомбы».

С помощью патруля, Назаров был задержан.

Калашников успел скрыться и был арестован несколько позже, — 20 мая на Финляндском вокзале в Петербурге. Я был взят у себя, в гостинице «Ветцель».

Сидя на Приморском бульваре, я слышал отдаленный гул взрыва. Я вышел на улицу. На углах собирались кучки, толпились люди. Какой-то матрос, с обрадованным лицом, громко сказал, обращаясь ко мне: «Неплюева, барин, убили...» Несколько минут я колебался. Я знал, что вслед за взрывом начнутся усиленные поиски в городе и думал о том, не лучше ли немедленно выехать из Севастополя и вернуться назад, когда поиски стихнут. Но я рассудил, что поиски эти не могут коснуться меня, ибо я не только не участвовал в покушении, но даже не знал о нем. Я был уверен, что за мной не следят. Я решил поэтому вернуться к себе в гостиницу. Когда я подымался по лестнице, я услышал позади себя крик: «Барин, вы задержаны»... В ту же минуту я почувствовал, что кто-то сзади крепко схватил меня за руки. Я обернулся. Площадка лестницы быстро наполнялась солдатами с ружьями наперевес. Они окружили меня и опустили штыки так, что я был в их центре. Двое держали меня за руки. Полицейский офицер, очень бледный, приставил мне к груди револьвер. Какой-то сыщик грозил мне кулаком и ругался. Тут же суетился взволнованный морской офицер и убеждал «не возиться» со мной, а «сейчас же на дворе расстрелять». Обыскав, меня под сильным конвоем доставили в штаб севастопольской крепости. В

штабе крепости я нашел уже Двойникова, Назарова и Макарова. В тот же вечер нас, опять под сильным конвоем, перевели на главную крепостную гауптвахту. Всем нам был предъявлен одно и то же обвинение в принадлежности к тайному сообществу, имеющему в своем распоряжении взрывчатые вещества, и в покушении на жизнь ген[ерала] Неплюева (2 ч. 126 ст., 13 и 1 ч. ст. 1453 ул. о нак. угол. и ст. 279 кн. XXII св. в. п.). По распоряжению командующего войсками Одесского военного округа ген[ерала] Каульбарса мы были реданы военному суду для суждения по законам военного времени. Суд был назначен на четверг, 18 мая.

В понедельник, 15 мая, ко мне явились наши защитники по назначению: капитан артиллерии Иванов и пехотный капитан Баяджиев.

От услуг Баяджиева нам скоро пришлось отказаться: на столе у Макарова он нашел мою записку. Он спокойно спрятал ее в карман и отнес в жандармское управление. К счастью в записке ничего «явно преступного» не было.

Наоборот, с капитаном Ивановым у нас вскоре установились добрые отношения. Он принес мне проект своей защитительной речи, и я не могу не признать, что она тронула меня своим содержанием. Иванов не просил о смягчении приговора, — он знал, что я не мог бы согласиться на это, — он только подчеркивал неизбежность террора с точки зрения партийной программы и говорил о чести

революционера, о традициях партии и об истории боевой организации. Прочитав речь, я одобрил ее, тем более, что сам не находил нужным говорить на суде. Полиция, жандармы и штаб крепости считали меня инициатором и руководителем севастопольского покушения. Именно мне приписывались жертвы у Владимирского собора и привлечение малолетнего Макарова к террористическому предприятию. Между тем я во все время моей боевой деятельности старался, по мере моих сил, щадить лиц, непричастных к правительству. Более того, участие 16-летнего мальчика в террористическом акте, как бы ни был высок по своим личным качествам этот мальчик, противоречило моей совести террориста, как моему организационному опыту противоречило устройство покушения на людной площади во время парада. Но говорить об этом на суде значило — косвенно обвинять устроителей покушения, даже и самого Макарова. Занять такую позицию я, конечно, не мог. Мне поэтому оставалось молчать во время процесса.

Я знал от арестованных на гауптвахте солдат, что капитан Иванов принимал участие в усмирении очаковского восстания, — его батарея стреляла по крейсеру. Я не хочу ни оправдывать его, ни защищать. Но я должен отметить, что капитан Иванов, усмирявший восстание, по отношению к нам четверым, — к Макарову, Двойникову, Назарову и ко мне, — проявил много безукоризненной деликатности и

горячей готовности помочь, чем был в силах. Он не скрывал своих убеждений и открыто говорил мне, что он не на стороне революции, а на стороне правительства, но, видя в нас врагов, он, как офицер, относился к нам с уважением и, как защитник, стремился, чем мог, облегчить наше тюремное заключение.

Еще во вторник, 18-го, я, полагаясь на честное слово капитана Иванова, открыл ему свое имя. Я просил его телеграфировать моей матери и жене с таким расчетом, чтобы они успели приехать ко дню приведения приговора в исполнение. Я рассчитывал официально назвать себя уже после суда и, таким образом, иметь возможность попрощаться с ними. Капитан Иванов исполнил данное мне обещание, и мои родные приехали в Севастополь, когда имя мое суду еще не было известно. В одном поезде с ними приехал также и бывший директор департамента полиции, Трусевич, тогда еще товарищ прокурора петербургской судебной палаты. Он знал меня лично по моим прежним делам. Не желая видеть его у себя, я, узнав от капитана Иванова о его приезде, в тот же день назвал свою фамилию.

Тогда же приехали в Севастополь и адвокаты: Л. Н. Андронников, В. А. Жданов, П. Н. Малянтович и Н. И. Фалеев; Андронников и Фалеев взяли на себя защиту Макарова.

Макаров был невысокого роста, румяный и крепкий юноша, на вид совсем еще мальчик. Он со страстной верою относился к террору и за счастье считал быть повешенным во имя революции. Он рассказал мне, как было организовано покушение на ген[ерала] Неплюева. Всех участников было четверо. Местный севастопольский комитет знал об их приготовлениях, и даже сам указал им лабораторию, но официального разрешения комитет не давал. Быть может, этим полуотказом комитета и объясняется и неудачный выбор места покушения, и тот печальный факт, что бомба Макарова не разорвалась.

Первое время нашего заключения караульную службу на гауптвахте нес 50 Белостокский полк. Во всех ротах были солдаты социалисты-революционеры, социал-демократы и просто сочувствующие революции, были также и унтер-офицеры, входившие в революционные военные организации. Двери наших камер оставались поэтому постоянно открытыми, несмотря на строжайшее запрещение военного начальства и присутствие на гауптвахте жандармов, назначенных специально для нас. При приближении караульного начальника, офицера, двери всех камер закрывались, по знаку часового, и открывались снова, когда из коридора удалялось начальство. Я должен сказать, что, в большинстве случаев, я встречал со стороны карауливших меня солдат самое сердечное отношение. Они не только не исполняли данной им инструкции, но

и всеми мерами старались облегчить наше положение. Мы вели с ними долгие разговоры о земле, об учредительном собрании, о военной службе и о терроре. Эта относительная свобода дала мне возможность познакомиться ближе с Макаровым и поддерживать постоянные и тесные сношения с Двойниковым и Назаровым.

Во вторник, 16-го, ко мне в камеру пришел капитан Иванов и сообщил, что суд назначен окончательно на 18-е. На мой вопрос о приведении приговора в исполнение, он сказал:

— Я не скрою от вас, исполнение 19-го.

В тот же день я сообщил об этом Двойникову. Двойников слегка побледнел.

— Как, и Федю? — спросил он дрогнувшим голосом.

— И Федю.

— И вас?

— И меня... Но ведь и вас, Ваня!

— Что меня, — он махнул рукой, — а вот Федю...

Он был с детства привязан к Назарову, вместе с ним работал в Сормове, вместе дрался на баррикадах и вместе вошел в боевую организацию. Он не мог помириться с мыслью, что Назаров будет повешен.

Назаров к моим словам отнесся иначе. Я не заметил в его лице и тени смущения или страха. Весело улыбаясь, он заговорил спокойно и просто:

— Ну, и ладно... Значит, не мучают здесь людей. По крайности, быстро... Это лучше, чем измором тянуть... Так в пятницу, говоришь?

Макаров был в приподнятом настроении, светлом и ярком. Смерть казалась ему радостным и достойным революционера концом. Выслушав меня, он воскликнул:

— За землю и волю!

Однако заседание суда не состоялось 18 мая. В среду, 17-го, выяснилась полицейским путем фамилия Макарова. Он, как и мы, скрывал свое имя. Выяснилось также, что ему 16 лет. Суд откладывался до постановления симферопольского окружного суда по вопросу о разумении Макарова, как малолетнего.

II

Одновременно с защитой прибыли в Севастополь моя мать, моя жена. Вера Глебовна, ее брат, Борис Глебович Успенский, и мой товарищ, еще по гимназии, прис[яжный] пов[еренный] Александр Тимофеевич Земель. Последний не выступал на суде, но оказал много услуг по организации защиты.

Тогда же, и независимо от кого-либо, приехал и Зильберберг. После постановления о прекращении террора, он явился к Азефу и заявил, что так как террор прекращен, а, следовательно, прекращено и дело

Столыпина, он, Зильберберг, на свой страх и риск, желает сделать попытку освободить Двойникова, Назарова и меня из тюрьмы. Он просил только денежной помощи.

Азеф долго отговаривал Зильберберга от этого предприятия. Он доказывал, что нет возможности освободить не только нас всех троих, но и меня одного; говорил о том, что организация не может жертвовать своими членами для таких заведомо неудачных попыток, и советовал Зильбербергу терпеливо ждать возобновления террористической деятельности. Зильберберг не согласился с ним, и центральный комитет предоставил в его распоряжение нужные для побега средства,

Вера Глебовна известила меня о приезде Зильберберга. Задача ему предстояла трудная. Освободить из гауптвахты возможно было только двояким путем: либо вооруженным нападением на самое здание, либо с помощью кого-либо из караульного начальства. Зильберберг сначала остановился на первом плане. Белостокский полк, как я уже говорил, был в общем настроен очень революционно. Мы неоднократно слышали от часовых и от унтер-офицеров, что при первом выстреле нападающих караул побросает винтовки. Как ни скептически относились мы к их словам, все-таки являлась надежда, что часть солдат сложит оружие. План этот, однако, нами был вскоре оставлен.

Было ясно, что, нападая, нельзя избежать убийства, и, быть может, не только офицеров, с чем мы мирились, но и солдат, на что согласиться мы не могли. К тому же местный комитет не располагал достаточными боевыми силами. Зильберберг не мог подобрать многочисленной и во всех отношениях подходящей дружины.

С оставлением этого плана почти исчезала надежда на побег всех товарищей вместе. Представлялось возможным освободить только одного, да и такого рода побег был сопряжен со многими затруднениями.

Главная крепостная гауптвахта охранялась ротой пехоты, сменявшейся ежедневно, и делилась на три отделения: общее, офицерское и секретное. В последнем мы и содержались. Это секретное отделение имело вид узкого и длинного коридора с двадцатью камерами по обеим его сторонам. С одной стороны коридор кончался глухой стеной с забранным решеткой окном, с другой — железною, всегда запертою на замок, дверью. Дверь эта вела в умывальную, куда выходили: комната дежурного жандармского унтер-офицера, совершенно темная, без окон кладовая, офицерское отделение и кордегардия. Через кордегардию вел единственный выход в ворота. Внутри секретного коридора постоянно несли службу трое часовых. У дверей в умывальную и далее, у дверей в кордегардию, были тоже посты караула. Такие же посты находились снаружи, между гауптвахтой и ее внешней стеной, а также и за внешней стеной, на улице и у фронта. Таким

образом, чтобы выйти из гауптвахты, нужно было миновать троих часовых секретного коридора, затем запертые на замок двери, затем еще двух часовых, далее всегда полную солдатами кордегардию, и только тогда, через сени, мимо комнаты дежурных офицеров, пройти к воротам, где опять стоял часовой. Ясно отсюда, что побег мог закончиться удачей только, как я говорил выше, с помощью кого-либо из начальства, например, караульного офицера, жандарма, разводящего и т. д., или с согласия нескольких часовых. Караул сменялся ежедневно, и пока стоял Белостокский полк, ни солдаты, ни офицеры не знали никого из заключенных в лицо.

Зильберберг действовал на воле. Сперва он организовывал нападение, затем подыскивал через местный комитет товарищей в Белостокском полку. Я старался действовать на гауптвахте. С помощью одного из отбывавших наказание солдат Брестского полка, Израиля Кона, я завязал знакомства во многих из карауливших нас рот. Уже после оставления нами плана нападения на гауптвахту, мне удалось, наконец, условиться с одним из стоявших у моих дверей часовых. Я условился с ним, что, при содействии знакомого ему писаря, он через неделю снова явится на караул, причем одна из смен нашего коридора должна состоять, по постовой росписи, из ближайших его товарищей, людей, тоже сочувствующих революции и готовых помочь побегу. Солдат этот не просил у меня

ни денег, ни какой-либо награды. Он просил лишь помочь ему после побега выехать за границу.

Я сообщил Зильбербергу об этих моих переговорах. Он отвечал мне, что на воле все уже готово, и советовал не упускать случая. Но, в течение назначенного моим часовым недельного срока, произошла крупная перемена: 50 Белостокский полк был неожиданно снят с караула и его заменил второй батальон 57 Литовского полка.

Таким образом, все знакомства, приобретенные Зильбербергом и мною в Белостокском полку, сразу потеряли свое значение. Кроме того, вскоре выяснились и другие неудобства такой перемены. Хотя карауливший нас батальон 57 Литовского полка оказался не менее, если не более, революционно настроенным, чем Белостокский полк, роты теперь возвращались на караул уже не на 13-й, а на 4-й день. Солдаты и офицеры очень скоро хорошо ознакомились с нами, и было мало надежды, что они не узнают меня, если я даже переоденусь в солдатское платье. Оставалось положиться на случай.

С помощью подкупленного жандарма, нам удалось еще до рассказанных переговоров устроить общее совещание в камере Назарова. На совещании этом я сообщил товарищам, что приехал «Николай Иванович» (Зильберберг) со специальной целью освободить из тюрьмы. Я сообщил также, что почти нет надежды на

освобождение нас всех четверых, и поставил вопрос, кому бежать, если можно будет бежать только одному.

Первый заговорил Назаров:

— Кому бежать? Конечно, тебе... Больше и говорить не о чем.

Двойников присоединился к его мнению.

В день ареста Макаров не знал, что мы, арестованные с ним вместе, — члены боевой организации, приехавшие в Севастополь для убийства Чухнина. Узнав об этом, он тоже, не колеблясь, согласился с Двойниковым и Назаровым.

Я возражал. Я указывал на справедливость в этом случае жребия, но предложение мое было отклонено. Тогда я второй раз поставил тот же вопрос об единичном побеге и просил желающего бежать заявить. Я сказал, что охотно уступлю свое право.

Все трое товарищей опять ответили мне, что, по их мнению, бежать должен именно я.

Я согласился. Я надеялся, что ни один из них не будет казнен:

Макаров — по малолетству. Двойников и Назаров — по недостаточности улик. Приговор показал, что я не ошибся.

Между тем симферопольский окружной суд в распорядительном заседании признал Макарова действовавшим с разумением. Суд над нами был снова

назначен, на этот раз на 26 мая. Приходилось, по-видимому, отказаться от всякой надежды на бегство: в обвинительном приговоре, по словам защиты и по моему убеждению, сомневаться было нельзя.

26 мая под сильным конвоем мы были доставлены в помещение минной роты, где должен был происходить суд над нами. Председательствовал генерал Кардиналовский, обвинял военный прокурор ген[ерал] Волков. В самом начале заседания прис[яжный] пов[еренный] Андронников возбудил ходатайство об отложении дела. Он заявил, что хотя Макаров и признан окружным судом действовавшим с разумением, но на постановление это принесена апелляционная жалоба в харьковскую судебную палату, впредь до решения которой Макаров судим быть не может. После долгого совещания, суд постановил дело слушанием отложить.

Такой исход судебного заседания неожиданно и к лучшему изменил мое положение. Дело затягивалось и необходимо поступало к доследованию. Зильберберг получал неограниченное время для своих приготовлений. Опасность заключалась в одном, — в переводе меня в Петербург, в Петропавловскую крепость. На этом, как мне стало известным, сильно настаивал Трусевич.

Я не могу не вспомнить с чувством глубокой признательности наших защитников: Жданова, Малянтовича, Фалеева и Андронникова. Уже не говоря о Жданове, моем близком знакомом еще по Вологде,

человеке, не раз оказывавшем боевой организации услуги в Москве и защищавшем Каляева, все защитники показали много горячего интереса к нашему делу и много отзывчивости. Свидания с ними были для нас настоящими праздниками.

III

В конце июня у нас в коридоре, вопреки обычному запрещению, оказался на часах еврей, член еврейского Бунда. При посредничестве уже упомянутого мною Израиля Кона, мне удалось, через мою жену, устроить Зильбербергу свидание с этим, сразу согласившимся нам помочь, часовым. Зильберберг на свидании просил его указать, кто из батальона взялся бы непосредственно участвовать в побеге. В ответ на это, вскоре состоялось, по инициативе того же часового, совещание Зильберберга с несколькими товарищами-солдатами. На это совещание явился и вольноопределяющийся 6-й роты 57 Литовского полка, член симферопольского комитета партии социалистов-революционеров, Василий Митрофанович Сулятицкий, уже кончавший срок своей службы. Сулятицкий категорически заявил, что лично берется за мой побег и никому этого дела не уступит. Зильберберг сразу же оценил его предложение и сразу согласился. С тех пор мои отношения с Зильбербергом и Сулятицким,

поддерживаемые через мою жену, приняли характер определенных приготовлений к побегу.

31 июля Сулятицкий впервые явился к нам на гауптвахту. Он пришел вместе с караулом, как разводящий внутренних постов. Разводящий — непосредственный начальник над часовыми. Только он назначает на пост, только он с поста и снимает. Ничьих иных приказаний часовые исполнять не вправе. Утром, после поверки, дверь моей камеры отворилась, и я увидел перед собою очень высокого, белокурого солдата с голубыми смеющимися глазами.

— Здравствуйте, я от Николая Ивановича, — сказал он мне, подавая записку от Зильберберга.

Он присел ко мне на кровать и сказал, что ночью предполагается мой побег, и что он, Сулятицкий, выведет меня из тюрьмы. Он спросил, готов ли я с своей стороны?

К несчастью, уже днем стало ясно, что побег едва ли возможен. Караульный начальник неожиданно отдал приказ возвращать ему ключ от дверей нашего коридора каждый раз, по миновании надобности. До этого приказа ключ хранился у караульного унтер-офицера, и разводящий мог пользоваться им по желанию. Сулятицкий немедленно дал знать Зильбербергу о происшедшем и передал ему слепок с дверного замка. По этому слепку был тотчас же приготовлен на воле ключ и к вечеру передан на гауптвахту. Но ключ не

подошел к замку, и мысль о побеге в ту ночь пришлось оставить.

3 июля Сулятицкий снова пришел с караулом. На этот раз, по соглашению с Зильбербергом, он сделал попытку освободить всю гауптвахту. Он принес с собой полный подсумок конфет, смешанных с сонными порошками. Он должен был ночью угостить этими конфетами офицеров и часовых, и когда те заснут, — открыть двери всех камер. Сонные порошки были рекомендованы и дозированы партийным врачом. И Зильберберг, и Сулятицкий, оба не медики, положились на его знания и опыт. Ночью, в первом часу, Сулятицкий стал раздавать конфеты. Он был уверен, что они для здоровья безвредны, но что ими вызывается долгий и крепкий сон.

Из своей камеры я слышал, как он угощал часовых:

— Хочешь, земляк, конфету?

— Покорно благодарим.

Хлопнула в коридоре железная дверь... Я понял, что Сулятицкий ушел. Наступило молчанье. Я стал ждать, когда солдаты уснут. Через несколько минут я услышал, что часовые разговаривают между собою:

— Яка гирка конфета...

— Та-ж паны жруть.

— Тьфу!..

Потом опять наступило молчанье. Я не спал всю ночь, но и часовые не спали. Ни один из них не заснул, как ни один не заболел сколько-нибудь серьезно. Порошки оказались морфием.

Через четыре дня, 7 июля, Сулятицкий сделал еще попытку. Он опять пришел разводящим в наш коридор. Каждый раз, чтобы быть назначенным на гауптвахту, ему приходилось в лагере поить фельдфебеля водкой и придумывать всевозможные предлоги. Было непонятно, почему он предпочитает тяжелую и ответственную службу в тюрьме более легким занятиям, на которые он, как вольноопределяющийся, имел право. Поэтому дорог был каждый день и каждая неудача уменьшала надежду.

В эту последнюю перед побегом попытку, нам опять помешала случайность. Караульный начальник, подпоручик Коротков, неожиданно и не объясняя причин, не утвердил Сулятицкого разводящим. Он назначил его часовым у наружной стены гауптвахты. На этом посту Сулятицкий, конечно, не мог оказать мне никакой помощи. Побег откладывался опять.

Положение, казалось, изменилось бесповоротно. Были все основания думать, что и следующие попытки окончатся неудачей. Вера Глебовна мне сообщила, что Зильберберг стал исследовать гражданскую тюрьму. Он решил, что оттуда легче бежать, и предложил мне подать прошение о моем туда переводе. Я немедленно подал прошение в штаб крепости, мотивируя его

отсутствием на гауптвахте прогулок. В прошении мне было отказано.

Между тем Сулятицкий скрылся. Впоследствии оказалось, что он в эти дни был в Симферополе, где стоял его полк. Он явился к командиру полка, полковнику Черепяхину-Иващенко и рассказал ему, как был снят с поста разводящего Коротковым. Он заявил, что в этом распоряжении Короткова видно ясно оскорбительное для него, Сулятицкого, недоверие. Сославшись на свою беспорочную службу в полку, он просил защитить его от оскорблений его воинской чести. Полковник Черепяхин обещал ему защиту. Только тогда Сулятицкий вернулся назад, в Севастополь, и, повидавшись с Зильбербергом, 15 июля явился опять на гауптвахту, опять разводящим и опять в дежурство подпоручика Короткова. Но уже не могло быть и речи о poste у наружной стены.

Мы условились бежать в третью смену, между одним и тремя часами ночи. Зильберберг, как и в предыдущие дни, поставил у гауптвахты свой собственный караул, приготовил в городе место, где бы я мог скрываться, и сам ждал нас всю ночь. Но всю третью смену Коротков не ложился. Мы рисковали встретить его в коридоре. Бежать не пришлось. В три часа сменились часовые. На караул вступила первая смена, и почти тотчас же я услышал, как отворяется моя дверь. Вошел Сулятицкий, как всегда, очень спокойный. Дверь оставалась открытой. У порога стоял часовой.

Почти до самой этой минуты я беседовал с Двойниковым и иногда, проходя мимо, останавливался у дверей Назарова и разговаривал с ним. Часовые привыкли к этим ночным разговорам и заранее предупреждали, когда Коротков появлялся в коридоре. Двойникову и Назарову было известно, что мой побег должен состояться в эту ночь. Макаров не знал об этом.

Двойников долго отговаривал меня:

— Как убежишь? Отсюда невозможно бежать... Кончится тем, что вас застрелят. Лучше оставьте это. Как пройти мимо часовых? Я возражал ему, что я ничего потерять не могу.

Назаров говорил другое:

— Ну, беги... Только гляди, — распорют тебя штыком. А убежишь, — кланяйся там, на воле...

Когда Сулятицкий вошел ко мне, я уже потерял надежду на побег в эту ночь и собирался лечь спать. Он, по обыкновению, присел у меня на кровати.

— Так бежим? — спросил он, закуривая папиросу. Я сказал ему то, что говорил Двойникову, — что мне терять нечего. Но я прибавил также, что если мне терять нечего, то он, Сулятицкий, рискует жизнью, и я просил его еще раз подумать об этом раньше, чем решиться на побег.

Он улыбнулся:

— Знаю. Попробуем...

Он передал мне револьвер. Я спросил его:

— Что вы думаете делать, если нас остановят солдаты?

— Солдаты?

— Да, если меня караул узнает?

— В солдат не стрелять.

— Значит, назад к себе в камеру?

Он улыбнулся опять.

— Нет, зачем в камеру?

— А что же?

— Если встретится офицер, — в офицера стрелять, если задержит солдат, тогда... ну, тогда, вы понимаете, надо стрелять в себя.

— Я согласился с ним.

Мы помолчали.

— Есть у вас сапоги? — вдруг спросил он.

У меня не было высоких солдатских сапог. Я сказал ему об этом. Тогда он открыл одну из соседних с моею камер. Там содержался арестованный солдат пограничной стражи. Он спал. Сулятицкий взял стоявшие на полу его сапоги и на глазах у караула передал их мне. Я оделся, перекинул через плечо полотенце, и мы пошли по длинному коридору к дверям умывальной. Обычно, как я уже говорил, на этом пути стояло трое часовых. В эту ночь Сулятицкий убедил

Короткова снять одного. Он говорил, что довольно и двух, что солдаты устали от долгих и частых смен. Коротков согласился, и один часовой был немедленно снят. Проходя со мной мимо двух остальных, Сулятицкий небрежно сказал:

— Мыться идет....Говорит, — болен...

По инструкции, я умывался не ранее 5 часов утра и всегда — под наблюдением жандарма и так называемого «выводного» солдата. Несмотря на это, полусонные часовые, непосредственно подчиненные Сулятицкому, не увидели ничего странного в том, что я выхожу из камеры ночью с одним разводящим.

Мы дошли до железных дверей в конце коридора. Сулятицкий сказал часовому:

— Спишь, ворона?

Часовой встрепенулся.

— Спать будешь потом. Открой.

Часовой открыл дверь.

Я прошел к умывальнику и стал мыться. Справа и слева стояли солдаты. В отдельной комнате, с незапертой дверью, крепко, в платье и сапогах, спал жандарм. Я умывался, а Сулятицкий, заперев за нами двери на ключ, прошел в кордегардию посмотреть, все ли спокойно. Вернувшись, он провел меня мимо часовых в кладовую. Там, в темноте, я срезал усы, накинул приготовленную заранее рубаху и надел фуражку, подсумок и пояс. Вышел я из кладовой уже

солдатом. На глазах у тех же часовых я прошел вслед за Сулятицким в кордегардию. Часть солдат спала. Часть, сняв висячую лампу с крючка и поставив ее на нары, собралась в кружок и слушала чтение. На наши шаги кое-кто обернулся, но никто не узнал меня в темноте. Мы вышли в сени. Дверь в комнату дежурных офицеров была открыта. У стола, освещенного лампой, сидел спиною к нам дежурный по караулам. Коротков лежал на диване и, по-видимому, спал. У фронта на улице нас заметил фронтовой часовой. Он посмотрел на наши погоны и отвернулся. Завернув за угол гауптвахты, мы пошли к городу. По стенам белели в тумане рубахи наружных постов.

В узком каменном переулке нас встретил поставленный Зильбербергом часовой, бывший матрос, Федор Босенко. Он держал в руках корзину с платьем и предложил нам здесь же переодеться. Мы отказались. Уже могла быть погоня. Нельзя было терять ни минуты. Я сбросил подсумок, и Сулятицкий сунул мне в руку, на случай патруля, отпускной билет на имя солдата того же Литовского полка. Впоследствии мы не пожалели, что остались в солдатском платье и не потеряли времени на переодевание. Побег был обнаружен минут через пять, и Коротков немедленно выслал погоню и сделал обыск на квартире моей жены.

Почти бегом мы спустились в город. Светало, и вдали на нашем пути, через улицу, белел ряд солдатских рубах. Не было сомнения, что навстречу идет патруль.

Бежать было некуда, сзади была гауптвахта. Но, подойдя близко, мы увидели, что ошиблись. Только что открылся толчок, и матросы в белых рубашках закупали провизию. Они не обратили на нас внимания, и через десять минут мы были на квартире рабочего Н. У него нас ждал Зильберберг. Мы переоделись и вместе с Зильбербергом и Босенко отправились на квартиру последнего. Босенко не имел работы и жил в сыром и темном подвале. Нельзя было думать, что полиция будет искать меня у него.

Я был на воле. Зильберберг, инициатор и руководитель моего побега, потерял свое обычное хладнокровие. Он радостно обнимал Сулятицкого и меня. Но перед ним стояла теперь другая, не менее трудная задача, — устроить наш побег за границу. Вся полиция города была на ногах. По улицам и за городом ходили дозором жандармы и конные объездчики, так называемые «эскадронцы». Необходимо было пройти сквозь их сеть.

Сулятицкий тоже был счастлив. Я должен сказать, что мне не часто приходилось наблюдать такое спокойное мужество, какое он проявил в эту ночь. Я уже не говорю о его самоотвержении: я был ему незнакомый и чужой человек.

Тогда же, на квартире Босенко, мы написали следующее, отпечатанное в большом количестве экземпляров извещение.

«В ночь на 16 июля, по постановлению боевой организации партии социалистов-революционеров и при содействии вольноопределяющегося 57 Литовского полка В. М. Сулятицкого, освобожден из под стражи содержащийся на главной крепостной гауптвахте член партии социалистов-революционеров Борис Викторович Савинков.

Севастополь, 16 июля 1906 г.»

IV

В тот же день вечером, когда стемнело, мы в фабричных рубахах и картузах, вышли из квартиры Босенко. Нас было пятеро: Зильберберг, Сулятицкий, Босенко, я и наш проводник, студент института гражданских инженеров, Иосиф Сепи.

Последний должен был указать нам дорогу через горы и степь к хутору немецкого колониста Карла Ивановича Штальберга, где заранее нам был приготовлен приют.

Идти было далеко, ибо мы шли кружным путем.

Босенко, Зильберберг и Сепи, казалось, не чувствовали усталости, но Сулятицкому и мне, после бессонной ночи, трудно было пройти 40 верст. Сепи нас торопил. Он хотел еще ночью добраться до хутора. Мы все были вооружены, но, к счастью, не встретили полиции по дороге.

Хутор Штальберга лежал в узкой и замкнутой со всех сторон холмами долине. На одном из этих холмов мы устроили постоянный наблюдательный пункт за дорогой в Севастополь. Старший сын хозяина, мальчик лет 14, исполнял обязанности часового и целые дни проводил на своем посту. Ночь мы также разделили на смены, и обычно Зильберберг со Штальбергом караулили остальных. Спали мы, из осторожности, не дома, а далеко в горах, под открытым небом. Вечером Зильберберг выбирал где-нибудь в чаще спокойное место, расстилал циновки, клал громадное, одно на всех, одеяло, и мы засыпали, окруженные разложенным на траве оружием и с часовым на холме. Если бы даже рота солдат оцепила хутор, то и тогда мы имели бы время уйти и скрыться в далеких горных пещерах.

Те десять дней, которые мы провели на хуторе, остались одним из лучших воспоминаний моей жизни. У Штальберга была многочисленная семья, и мы скоро подружились с его маленькими детьми. Дети понимали, в чем дело, и каждый из них старался быть нам чем-нибудь полезным. Часто они помогали своему старшему брату следить за дорогой в Севастополь. За их охраной мы чувствовали себя в безопасности.

Хозяин хутора Карл Иванович Штальберг был человек лет 40 с лишком, с загорелым деревенским лицом и с мозолистыми руками крестьянина. Мы часто подолгу сидели с ним на холме, откуда открывался далекий вид на амфитеатр невысоких гор. Он

рассказывал мне о своей жизни и почему он стал в 40 лет революционером. Это была жизнь, полная труда, лишений и скорби. Его жена и свояченица делили с ним тяжелые заботы его небольшого хозяйства. Однажды он сказал мне:

— Знаете, я решил совсем уйти в революцию.

— То есть, оставить хутор?

— Да, оставить хутор и перейти на нелегальное положение.

— Дети?

— Дети проживут и без меня.

Я доказывал ему, что решение неправильно, что без крайней необходимости нет нужды переходить на нелегальное положение, что он может быть полезен и на хуторе, давая приют, приготавливая бомбы, пряча оружие, словом, делая то, что он уже много раз делал. Но Штальберг не соглашался со мной.

— Вы едете за границу, — сказал он мне, — возьмите меня с собой. Я хочу познакомиться с Брешковской и Гоцем, а потом поеду на Волгу к крестьянам.

Штальберг оказал мне услугу: он, рискуя собой, скрыл меня в своем доме. Я не считал себя вправе отказать ему в его просьбе. Я обещал ему, что он поедет за границу.

Зильберберг часто пешком с хутора уходил в Севастополь. До нас доходили слухи, что полиция

усиленно ищет в городе и в окрестностях, на пристанях, вокзалах и на соседних с городом станциях. Слишком много солдат, жандармов и сыщиков знали меня в лицо. Мы решили поэтому ехать не по железной дороге, а морем, в Румынию. Зильбербергу предстояло поэтому много хлопот. Для переезда через Черное море он рассчитывал на одного знакомого ему контрабандиста. Контрабандист этот не брался лично, на своей парусной лодке, отвезти нас в Констанцу. Он предлагал подождать, пока придет из Турции кочерма (двухмачтовая шхуна) турецких его товарищей. Но время шло, кочерма не приходила, контрабандист уверял, что ей мешают встречные ветры, и мы продолжали бесполезно скрываться в горах.

Зильберберг сердился. Он считал, что на его ответственности лежит безопасность Сулятицкого и моя, и боялся за нас.

Я старался отвлечь его внимание от приготовлений к отъезду. Я спрашивал его о первой Думе, о партии, о боевой организации и о прекращении террора. Вопреки своему обычному спокойствию, он возмущался:

— Сегодня прекращают террор, завтра его возобновляют. Вот теперь, — разогнали Думу, — это можно было предвидеть, — и ты увидишь, опять возобновят террор. Может ли организация работать в таких условиях?

Я ничего не мог ему возразить.

Когда Зильберберг уходил в город, а Штальберт работал по хозяйству, я оставался вдвоем с Сулятицким.

Этот юноша, спасший меня от смерти, все более привлекал мое внимание. В каждом его слове сквозила спокойная уверенность в своих силах и каждое свое решение он выносил только после долгого размышления. Я уже видел его мужество и решимость. Я убеждался теперь в твердости и продуманности его убеждений. Он был, прежде всего, террорист и, как Каляев, видел в терроре высшую форму революционной борьбы и высшее исполнение революционного долга. Дня через три после моего побега, он обратился ко мне с такими словами:

— Я ведь не знал, что Николай Иванович и вы — члены боевой организации.

— А теперь знаете?

— Да, знаю и рад этому... Я хотел вам сказать: я хочу работать в терроре.

Я убеждал его отказаться от этой мысли. Он казался мне, несмотря на молодость лет, прекрасным типом террориста, но, быть может, впервые я не находил в себе силы согласиться на такое предложение: я знал, что оно означает для него скорую смерть.

Он слушал меня, улыбаясь:

— Это решено: я все равно буду в терроре.

Я должен был замолчать.

Зильберберг решил больше не ждать кочермы. 25 июля он вернулся из Севастополя с известием, что вполне снаряженный одномачтовый бот, под казенным флагом, будет нас ожидать ночью в море, у устья реки Качи. Бот этот взял для прогулки с севастопольской биологической станции отставной лейтенант флота, тогда не состоящий еще ни в какой революционной организации, Борис Николаевич Никитенко. Вечером, 25-го, мы вышли впятером, — Зильберберг, Штальберг, Сулятицкий, Босенко и я, — с хутора, и на рассвете, под проливным дождем, были у устья Качи. На море у самого горизонта ярко горели огни эскадры, в эту ночь случайно для практической стрельбы пришедшей сюда. Левее огней, саженьях в 30-40 от берега, серел под сеткой дождя еле заметный парус. Пограничной стражи не было видно. С моря дул свежий ветер.

Зильберберг не умел плавать. С бота был брошен спасательный пояс, и он поплыл на нем. Я плыл, держась за канат. Канат тонул под моей тяжестью, и волны хлестали через мою голову. Когда я схватился за поручни бота, я чувствовал, что у меня нет больше сил. Чьи-то руки подняли меня на борт.

Бот был маленький, полупалубный, но устойчивый и крепкий. Команда состояла из Б. Н. Никитенко и двух матросов: Босенко и студента петербургского технологического института, Михаила Михайловича Шишмарева. Пассажирами были: Сулятицкий, Зильберберг, Штальберг и я.

В пятом часу утра, 26 июля, мы снялись с якоря и вышли в море. Мы прошли почти под носом крайнего броненосца эскадры и видели, как вахтенный офицер рассматривал нас в бинокль. В полдень уже едва виднелась Яйла, а вечером мы увидали со стороны Севастополя далекий дымок. В бинокль мы узнали миноносец. Казалось, он шел прямо на нас. Мы долго следили за ним, пока, наконец, он не повернул руль и не стал заметно от нас удаляться. Никитенко взял курс на Констанцу.

Никитенко был такого же высокого роста, как Сулятицкий. У него было открытое и энергичное загорелое лицо и смелые карие глаза. Он вышел в отставку после казни лейтенанта Шмидта. Участие в моем побеге было первым крупным революционным делом его. По немногим его словам я понял, что и он так же, как и Сулятицкий, готовит себя на боевую работу.

Мы шли, и ветер свежел, иногда достигая силы настоящего шторма. Мы, четверо пассажиров, конечно, ничем полезны быть не могли, и вся работа целиком лежала на команде. Но Никитенко прекрасно знал свое дело и, едва держась от усталости на ногах, спокойно и точно вел бот на Констанцу. В ночь на 27-е ветер достиг небывалой силы. Казалось, что бот не выдержит и его захлестнет волной. Никитенко заявил, что не может держать более курс на Констанцу, и предложил идти по ветру в Сулин, маленький порт на румынском берегу, в

самом устье Дуная. Мы знали, что в Сулине нам могут встретиться затруднения, что из Констанцы, где есть железная дорога на Бухарест, нам легче незаметно уехать, чем из Сулина, где пароход по Дунаю отходит не каждые сутки. Мы просили Никитенко идти все-таки на Констанцу, но он отказался, не ручаясь за безопасность. Мы пошли на Сулин. Поздно вечером, 28-го, мы увидели, наконец, маяки Сулиина и осторожно, между мелей, вошли в гавань. Явился румынский чиновник, записал имя бота («Александр Ковалевский») и позволил нам выйти на берег за водой и провиантом. Мы, пассажиры, сошли с бота, надеясь утром поехать в Галац. Никитенко с командой на рассвете ушел опять в море, назад в Севастополь.

Оказалось, однако, что пароход на Галац отходит лишь через день. Приходилось остаться в Сулине. Утром пришел полицейский комиссар и спросил у нас паспорта. Заграничный паспорт был только у меня одного, у остальных товарищей паспорта были фальшивые, годные для России, но не для заграницы. Отобрав документы, комиссар заявил, что не может впустить нас в пределы Румынии, ибо на паспортах нет румынской визы. Он выразил также удивление, почему мы не ищем защиты у русского консула. Мы боялись за судьбу команды и Никитенко. Консул, поняв, что мы эмигранты, мог телеграфировать в Севастополь, и тогда товарищей ждал немедленный арест. Поэтому мы решили явиться к консулу. Мы сказали ему, что вышли

на морскую прогулку из Севастополя в Феодосию, что штормом нас занесло к берегам Румынии, что мы не хотим ехать морем назад и просим лишь об одном — разрешить нам вернуться в Россию через Галац и Яссы. После этого разговора мне вернули мой паспорт, и я, под наблюдением румынских агентов, выехал в Бухарест к З. К. Арборэ-Ралли выручать товарищей, оставшихся в Сулине.

Арборэ-Ралли принял в нас самое живое участие. Преподаватель русского языка у наследного принца румынского, он имел большой вес в Бухаресте. Он телеграфировал немедленно в Сулин с просьбой освободить его арестованных племянников. В противном случае он угрожал обратиться с жалобой к королю. В ответ на это, Зильберберг, Сулятицкий и Штальберг, под охраной румынской полиции, были доставлены в Бухарест. Мы собрались все четверо в доме Ралли.

Впервые мы находились в полной безопасности.

Старик Ралли, его жена, сын и дочери приняли нас не только, как товарищей, но как друзей, почти как родных. Признательность к этой семье навсегда сохранится в моей памяти.

Оставалось одно мелкое затруднение. У нас не было паспортов, а на венгерской границе необходимо было их представлять. Старшая дочь Ралли, Екатерина, познакомила нас с румынским социалистом тов. Константинеску. Константинеску помог нам нелегально

переправиться в Венгрию. Подкупленный венгерский жандарм сделал вид, что не замечает нас. В Венгрии мы простились с Штальбергом, — он один поехал в Женеву, мы же трое хотели заехать в Гейдельберг к Гоцу.

Я опасался, что мой побег отразится на участи Двойникова и Назарова. Поэтому из Базеля я написал ген[ералу] Неплюеву нижеследующее письмо:

«Его превосходительству генерал-лейтенанту

Неплюеву.

Милостивый государь!

Как вам известно, 14 сего мая я был арестован в г. Севастополе — по подозрению в покушении на вашу жизнь — и до 15 июля содержался вместе с г.г. Двойниковым, Назаровым и Макаровым на главной крепостной гауптвахте, откуда, по постановлению боевой организации партии социалистов-революционеров и при содействии вольноопределяющегося 57 Литовского полка, В. М. Сулятицкого, в ночь на 16 июля — бежал.

Ныне, находясь вне действия русских законов, я считаю своим долгом подтвердить вам то, что неоднократно было мной заявлено во время нахождения моего под стражей, а именно, что имею честь принадлежать к партии социалистов-революционеров и, вполне разделяя ее программу, тем не менее никакого отношения к покушению на вашу жизнь не

имел, о приготовлениях к нему не знал и морально ответственности за гибель ни в чем неповинных людей и за привлечение к террористической деятельности малолетнего Макарова, — принять на себя не могу.

В равной степени к означенному покушению не причастны И. В. Двойников и Ф. А. Назаров.

Такое же сообщение одновременно посылается мной ген[ералу] М.Кардиналовскому и копии с него бывшим моим защитникам, прис[яжным] пов[еренным] Жданову и Малянтовичу.

С совершенным уважением

Борис Савинков».

Базель 6 (19) VIII. 1906 г.

В начале октября состоялся в Севастополе суд над Двойниковым, Назаровым, Макаровым и Калашниковым, перевезенным уже после моего побега из Петербурга в Севастополь. Двойников, Калашников и Назаров были оправданы по обвинению в покушении на жизнь ген[ерала] Неплюева, но признаны виновными в принадлежности к тайному сообществу, имеющему в своем распоряжении взрывчатые вещества.

Все трое были лишены всех прав состояния и приговорены; Калашников к семи. Двойников и Назаров к четырем годам каторжных работ. Макаров, как

малолетний, был заключен в тюрьму на 12 лет. Он содержался в севастопольской гражданской тюрьме, откуда 15 июня 1907 г. бежал. Он повешен в сентябре того же года за убийство начальника петербургской тюрьмы Иванова.

V

В Гейдельберге я нашел Михаила Гоца. Он по-прежнему лежал больной. Его лицо еще более осунулось и побледнело, но глаза горели все тем же живым огнем. Я познакомил его с Сулятицким.

Зильберберга он знал давно.

Когда я приехал к Гоцу, он только что получил известие о взрыве на Аптекарском острове. Взрыв этот возбудил разноречивые мнения. Впоследствии я узнал, что центральный комитет выпустил по поводу его прокламацию, где резко отмежевывался от террора максималистов. Эту прокламацию писал Азеф. Я нашел ее неуместной.

Гоц с сожалением заговорил о максималистах. Он указал, что взрыв на Аптекарском острове был организован без предварительной подготовки: на даче происходили заседания совета министров, и уже если было решено ее взорвать, то уж, конечно, можно было выбрать для этого день и час одного из таких заседаний. Он указывал также, что гибель многих, непричастных к

правительству, лиц должна дурно повлиять на общественное мнение. Но он воздерживался от осуждения максималистов. Взрыв на Аптекарском острове был единственным ответом террора на разгон Государственной Думы.

Во мне этот взрыв возбудил тоже много сомнений. Слабость боевой организации была для меня очевидной. Я не знал только, какая из двух причин помешала ей выступить с крупным террористическим актом: майский ли роспуск ее или рутина уличного наблюдения. Мне казалось, что, быть может, максималисты сумели решить ту задачу, которая нам была не под силу: сумели создать подвижную организацию, способную к открытым вооруженным нападениям. Но моральная сторона вопроса — гибель невинных людей — смущала меня не меньше, чем Гоца.

Я рассказал Гоцу об обстоятельствах моего ареста, а также о том, что постановление совета партии о прекращении террора стало мне известно только в тюрьме. Гоц сказал:

— Это позор. Вам должны были сообщить заранее. Вы поехали в Севастополь, не имея на это права.

Я сказал:

— Если бы я знал о постановлении совета, я все-таки, вероятно, поехал бы в Севастополь.

Гоц подумал минуту.

— Вопрос о терроре не исчерпывается только вопросами партийного права. Он, по-моему, гораздо глубже. Разве вы не видите, что боевая организация в параличе?

Я ответил, что давно это вижу: весенние неудачи убедили меня в этом; что, по моему мнению, нужно радикально изменить самый метод террористической борьбы и что изменение это должно заключаться в применении научных изобретений к террору, но что таких изобретений я не знаю.

Гоц слушал внимательно.

— Вы правы, — сказал он, наконец, — я тоже думаю, нужно изменить самый метод. Но как?.. Я, как и вы, не знаю. Быть может, придется даже прекратить на время террор...

Для меня было ценно мнение Гоца. Я ценил его более, чем мнение кого бы то ни было в партии. В моих глазах Михаил Гоц всегда был и остается до сих пор самым крупным революционером нашего поколения. Только болезнь помешала ему фактически стать во главе террора в партии.

Я хотел остаться в Гейдельберге у Гоца, но он настойчиво требовал, чтобы я уехал во Францию: он боялся, что в Германии меня арестуют и выдадут русскому правительству. Я простился с ним. Я видел его в последний раз. 8 сентября того же года он скончался в Берлине после сделанной ему операции. Его смерть

была невознаградимой потерей для партии: отсутствие Гоца не раз отражалось на судьбах ее и террора.

Зильберберг уехал в Финляндию. Сулятицкий и я поселились в Париже. Мы ждали, когда Зильберберг вышлет нам из Финляндии паспорта. Ждать нам пришлось недолго, но за эти две или три недели я имел случай коротко сблизиться с Сулятицким.

Мечтой Сулятицкого, как когда-то Каляева, было убийство царя. Он предлагал для этого план, хотя и длительный, но зато, по его мнению, верный. Он говорил, что нужно кому-нибудь из революционеров поступить в любое военное училище в Петербурге. Ежегодно выпускные юнкера производятся в офицеры лично царем. Каждый юнкер может убить царя на этой церемонии. Сулятицкий предлагал именно себя в такие исполнители. Я рассказал впоследствии об этом плане Азефу, и он одобрил его, но, по причинам, мне неизвестным, никем и никогда не было сделано попытки привести этот план в исполнение. Я же думаю, что, быть может, Сулятицкий был прав: партия потратила впоследствии не менее времени и гораздо больше сил на цареубийство, но безрезультатно.

В Сулятицком гармонично сочетались две черты — основные черты психологии каждого террориста. В нем, в одинаковой степени, жили два желания: желание победы и желание смерти во имя революции. Он не представлял себе своего участия в терроре иначе, как со смертным концом, более того, он хотел такого конца: он

видел в нем, до известной степени, искупление неизбежному и все-таки греховному убийству. Но он с не меньшим напряжением желал и победы, желал умереть, совершив террористический акт, трудный по исполнению и значительный по результатам. В этом отношении у него было много общего с Зильбербергом.

Я убедился в Париже, что боевая организация приобретает в его лице исключительного, по своим внутренним качествам, члена.

В первой половине сентября мы выехали с ним вместе через Копенгаген в Гельсингфорс. В Гельсингфорсе нас ждал Зильберберг.

VI

После разгона Государственной Думы (июль 1906 года), центральный комитет решил снова возобновить террор. Члены боевой организации отчасти уже разъехались за границу и по провинции, отчасти были арестованы. Азефу предстояла задача собрать их снова и пополнить организацию новыми силами. К моему приезду в Финляндию боевая организация состояла, за исключением арестованных, с апреля по август, Трегубова, Павлова, Гоца, Яковлева, Назарова, Двойникова, Калашникова, Шиллерова (арестован в мае в Вильно), Семена Семеновича (арестован в мае в Киеве), Моисеенко и Беневской, — из следующих лиц:

во главе организации стоял Азеф, я был его ближайшим помощником, старшим химиком оставался Зильберберг, младшими химиками: Рашель Лурье, Ксения Зильберберг, Валентина Попова, в наблюдающем составе: «Адмирал», Иванов, Горинсон, Смирнов, Пискарев, Павла Левинсон, Александра Севастьянова и Владимир Вноровский. Самойлов, после неудачного покушения на ген[ерала] Мина, уехал в Петербург и больше, насколько мне известно, не принимал участия в терроре. Сазонов тоже уехал к себе на родину, в Уфу. К старым членам организации присоединились новые: Сулятицкий, Александр Фельдман, Борис Успенский, Мария Худатова и жена Владимира Вноровского Маргарита Грунди.

Азеф руководил покушением на премьер-министра Столыпина. Столыпин после взрыва на Аптекарском острове жил в Зимнем дворце и ездил ежедневно к царю в Петергоф катером по Неве и затем по морю, на яхте. Наблюдающий состав, куда вошли и новые члены, за исключением Успенского, уехавшего в провинцию за паспортами, очень скоро установил все подробности выезда Столыпина: премьер-министр садился в катер на Зимней канавке и ехал так до Балтийского завода или Лисьего Носа, где пересаживался на яхту. На министерской яхте были два матроса социалиста-революционера. Они давали нам сведения о времени прибытия министра и о месте стоянки яхты. Сведениями этими для покушения невозможно было

воспользоваться: мы получали их *post factum* и они служили только проверкой для наших наблюдений.

Между тем, слабость боевой организации стала предметом критики для всей партии. Даже в центральном комитете раздавались голоса, осуждавшие наши приемы борьбы. Азеф и я, в виду этого, поставили, на одном из заседаний центрального комитета, вопрос о доверии к нам. Доверие это было нам выражено. Но мы не ограничились этим. Мы оба видели, что дело Столыпина подвигается очень медленно и что хотя путь и выезды премьера нам известны, но до покушения еще далеко; бросить бомбу с Дворцового или Николаевского мостов было едва ли возможно, — мосты усиленно охранялись, организовать же нападение на катер на Неве нам казалось весьма затруднительным, — мы не имели к тому никаких средств. Объяснив центральному комитету положение дела, мы сказали, что не можем принять на себя ответственность за успешное покушение, не принимая же ответственности, — не можем стоять во главе организации. Мы просили сиять с нас наши полномочия.

Центральный комитет не согласился с нами. Он обязал нас продолжать покушение на Столыпина.

Заседание это происходило в сентябре 1906 года, на Иматре, и на нем присутствовали, кроме Азефа и меня, еще следующие члены центрального комитета: Чернов, Натансон, Слетов, Крафт и Панкратов.

Мы подчинились решению центрального комитета. Я оставался в Финляндии. Азеф часто уезжал в Петербург, чтобы лично руководить наблюдением за Столыпиным. Пользуясь сравнительно свободным временем, я в Гельсингфорсе попытался с помощью Эсфирь Лапиной (Бэлы) организовать небольшую террористическую группу для актов второстепенного значения, т. н. центральный боевой летучий отряд.

Этот отряд должен был находиться в заведывании центрального комитета. Он ставил своей ближайшей задачей убийство петербургского градоначальника ген[ерала] фон-дер-Лауница. Я же придавал ему еще и другое значение. Я видел, как неподготовленность к боевой работе отражается на терроре; я помнил наши неудачи во время покушения на Плеве, неудачу дела Клейгельса, недостатки наблюдения за Дурново и т. д. Я думал, что товарищи, прошедшие школу хотя и небольшого террористического акта, приобретут необходимый для центрального террора опыт, что совместная работа заставит их сблизиться между собою и, наконец, что эта совместная работа, естественно, выдвинет на руководящие роли лиц, более всего к этому способных, обладающих инициативой и энергией. Я смотрел поэтому на летучий боевой отряд, как на своего рода тяжелую школу для террористов, и считал, что каждый член этого отряда является кандидатом в боевую организацию.

Хотя мое мнение о наружном наблюдении, как об основе работы, значительно поколебалось, но я все-таки еще полагал, что акты менее значительные, а следовательно, и менее трудные, могут быть совершены этим путем. Поэтому покушение на ген[ерала] Лауница первоначально строилось по прежнему, общепринятому плану: во главе дела стояли Бэла (Лапина) и ее ближайший помощник Роза Рабинович. Наблюдающими, в качестве торговцев в разнос, были: Сергей Николаевич Моисеенко, брат Бориса Моисеенко, слесарь из Екатеринослава, по имени Александр, и старик позолотчик (Сухов), участвовавший вместе с Конопляниковой в приготовлениях к покушению на ген[ерала] Мина. Фамилия его, как и товарища Александра, осталась мне неизвестной. В октябре упомянутые лица приступили к делу ген[ерала] Лауница, но уже через полтора месяца должны были от него отказаться. Сергей Моисеенко заметил за собой наблюдение, Александр же и старик-позолотчик впоследствии, по разным причинам, вышли из организации.

Покушение на Столыпина тоже не подвигалось вперед. Наблюдающий состав по-прежнему отмечал каждый выезд Столыпина к царю, но по-прежнему не было возможности приступить к покушению. Только попытка открытого нападения на премьер-министра, в момент его выхода из Зимнего дворца, давала

некоторую надежду на успех. Но и от этой попытки нам пришлось отказаться. Этому было несколько причин.

Во-первых, нам не было в точности известно, когда именно Столыпин садится в катер, вернее, время его выхода из дворца было неопределенно. Следовательно, нападающая группа должна была с бомбами в руках ожидать его выхода неопределенное время именно в тех местах, где была сосредоточена охрана: на Дворцовой набережной, на Мойке и на Миллионной. Было более, чем вероятно, что нападающие будут заблаговременно замечены филерами.

Во вторых, даже в случае, если бы нападающие обманули бдительность охраны, нападение с трудом могло увенчаться успехом:

Столыпин выходил из подъезда дворца и, перешагнув через тротуар Зимней канавки, спускался к катеру. При первом выстреле он мог повернуть обратно в подъезд и скрыться в неприступном Зимнем дворце. Помешать этому мы не могли.

Азеф устроил собрание членов организации в Териоках, и на собрании этом было решено, по вышеуказанным мотивам, дело Столыпина временно прекратить. Я оставался в Гельсингфорсе, где за мной было учреждено неотступное наблюдение. Я не знал причин этого наблюдения и объяснял его своей случайной встречей на улице с арестовавшим меня в Севастополе агентом охранного отделения Григорьевым.

Тогда же произошел следующий случай.

Сулятицкий, наблюдая, в качестве торговца яблоками, на Дворцовом мосту за выездами Столыпина, был сперва арестован и отведен в участок, а затем — в охранное отделение. Там его подвергли подробному допросу. Он объяснил, что он крестьянин такой-то губернии, такого-то уезда и волости, приехал в Петербург искать работы и, не найдя ее, принялся за торговлю в разнос; на все остальные вопросы он отзывался непониманием. В охранном отделении усомнились, однако, в подлинности его паспорта, если не в правдивости его слов. В сопровождении одного городского его отправили к мировому судье — он подлежал высылке на родину для удостоверения его личности. Из камеры мирового судьи Сулятицкий бежал.

Азеф отнесся к этому рассказу с таким же недоверием, как некогда я — к рассказу Арона Шпайзмана. Оставшись со мной наедине, он сказал:

— Мне рассказ Малютки (Сулятицкого) не нравится... Правда ли все это?

Я знал Сулятицкого. Я ни на минуту не усомнился в правдивости его слов, я был убежден, что Сулятицкий не может сказать неправды. Я сказал об этом Азефу.

Азеф покачал головой.

— Ты его знаешь... Конечно... Но как ты знаешь его? Разве самые честные люди не становились

провокаторами? Мало ли таких примеров? Разве ты можешь поручиться за Малютку?

Я был оскорблен за Сулятицкого. Я решительно и резко сказал, что я ручаюсь за него так же, как за себя.

Азеф ответил лениво, едва роняя слова:

— Ты ручаешься, а я все-таки ему не верю. Арестовали... Привели в участок... К судье... Бежал... Что-то не ладно. Я снимаю с себя за него ответственность.

— Я ответил, что целиком принимаю эту ответственность на себя.

Азеф умолк. Потом он сказал:

— Ты не успокоил меня, я все-таки не верю Малютке... Но оставим это... Как вести дальше дело?

Я сказал, что для меня нет сомнений, что организация в полном параличе. Я повторил затем Азефу то, что говорил Гоцу: что, по моему мнению, единственный радикальный способ укрепить организацию и поднять террор на надлежащую высоту заключается в применении к нему технических изобретений. Я сказал также, что мы оба устали и не можем с прежним успехом вести дела, ибо наша усталость, несомненно, отражается на их ходе.

Азеф, выслушав меня, согласился со мной:

— Да, — сказал он, — я тоже думаю так. Нам следует заявить центральному комитету, что мы не можем

больше руководить боевой организацией.

Через несколько дней состоялось второе заседание центрального комитета, посвященное специально вопросу о боевой организации. На заседании этом присутствовали, кроме Азефа и меня, товарищи: Натансон, Чернов, Аргунов, Слетов, Крафт и Ракитников. Я говорил от имени своего и Азефа. Я подробно указал на все недостатки принятого метода боевой работы, на неудачи покушений на Дурново и Столыпина. Я заявил, что, по моему мнению, наружное наблюдение бессильно против специальных мер предосторожности, принимаемых министрами; что Дурново был неуловим, а Столыпин путешествует по воде; что открытое нападение, по типу максималистов, для нас недоступно, ибо организация построена на наружном наблюдении, лишена подвижности, лишена также и боевой инициативы; в наблюдающий состав, естественно, отбираются люди выносливые, терпеливые и пассивные; люди же активной инициативы и революционной дерзости, не находя себе применения в боевой организации, уходят к максималистам. Я сказал также, что виной этому — рутина нашей боевой работы, виной же этой рутины — мое и Азефа утомление, и сказал также, что радикальное решение боевого вопроса я вижу в технических усовершенствованиях, но что, как паллиатив, я допускаю увеличение численного состава организации. Оно улучшит наружное наблюдение и,

быть может, доведет его до той степени, когда никакие меры, принимаемые министрами, уже не окажутся достаточными. Я сказал еще, что ни Азеф, ни я не можем в настоящее время взять на себя руководство боевой организацией, какую бы форму она ни приняла, ибо оба мы настоятельно нуждаемся в отдыхе.

Центральный комитет, выслушав меня, постановил нас от наших обязанностей освободить. Член его Слетов и член поволжского областного комитета Гроздов заявили, что готовы принять, с нашим уходом, ответственность за руководство боевой организацией.

Еще раньше, чем сообщить о нашем решении центральному комитету, мы сообщили о нем товарищам по организации. Мнение наше разделялось большинством из них. Только несколько человек, главным образом Павла Левинсон, Владимир Вноровский и жена его Маргарита, искали причины слабости боевой организации не в принятом методе работы. Они думали, что причины лежат, скорее, в форме организации, в ее внутреннем устройстве. По их мнению, основным недостатком боевой организации было руководство ею комитетом, наделенным неограниченными полномочиями, т. е. Азефом и мной. Они полагали, что замена комитета общим собранием членов организации значительно улучшит положение дел, ибо каждый товарищ, будет в состоянии влиять на решения, прилагая свой организационный опыт и свою инициативу. Подавляющее число товарищей, в том

числе и я, находили, что они неправы. Во-первых, форма организации, принятая нами в вопросах организационных и технических, оставляющая за комитетом всю полноту прав, не исключала возможности применения инициативы и организационного опыта отдельных членов организации. Фактически ни одно решение ни по делу Плеве, ни по делу Сергея, Дубасова, Дурново, Столыпина и т. д. не принималось без предварительных долгих и подробных совещаний с товарищами: Сазонов, Каляев, Борис Вноровский и многие другие вложили в эти дела много личной инициативы и самостоятельной энергии. Ни о каком стеснении в этом смысле никогда не могло быть речи. На совещаниях, действительно, практический ум и организационный опыт Азефа, обыкновенно, в конечном счете, влияли на принятое решение больше, чем мнение кого бы то ни было из товарищей, но все товарищи единогласно признавали авторитет Азефа в практических делах.

Во-вторых, мы находили, что боевое дело, по самой своей сущности, требует единой, стоящей во главе его, воли. Во всех случаях разногласия, несходства мнений по текущим вопросам, — единственно такая воля могла вывести организацию из тупика бесконечных прений.

В-третьих, наконец, постоянные совещания всех членов организации по конспиративным причинам были неосуществимы: было затруднительно собирать вместе химическую группу и наблюдающий состав,

особенно, когда в него входили извозчики и торговцы. Такие собрания неизбежно привели бы к арестам.

Если по этому вопросу существовало некоторое разногласие во мнениях, то зато все члены организации сходились в следующем: все они, без исключения, считали, что боевая организация настолько слаба, что не может в данное время справиться с крупным центральным актом, и что для успеха террора необходимы радикальные изменения в самой постановке дела. Работать под руководством товарищей, им лично неизвестных, — Слетова и Гроздова, — все члены боевой организации отказались.

С нашим уходом она разделилась на три части: Борис Успенский, Всеволод Смирнов, Мария Худатова, Александр Фельдман, Валентина Попова, Рашель Лурье и Александра Севастьянова отошли от работ. Владимир Вноровский, Маргарита Грунди, Горинсон и Павла Левинсои уехали в Одессу, где, построив организацию на принципе общих собраний, попытались произвести покушение на ген[ерала] Каульбарса. Покушение это не было ими приведено в исполнение. Зильберберг, его жена, Сулятицкий, «Адмирал» и Иванов остались в Петербурге для актов второстепенной важности, как, например, убийство главного военного прокурора ген[ерала] Павлова. Во главе этой группы стоял Зильберберг. Азеф и я уехали за границу.

VII

В начале января 1907 г. ко мне в Болье, где я жил, приехал на Италии Азеф. Он сказал:

— Я привез тебе хорошую новость. Вопрос о терроре решен. Боевая организация возродится.

И он рассказал мне следующее:

Некто Сергей Иванович Бухало, уже известный своими изобретениями в минном и артиллерийском деле, работает в течение 10 лет над проектом воздухоплавательного аппарата, который ничего общего с существующими типами аэропланов не имеет, и решает задачу воздухоплавания радикально: он подымается на любую высоту, опускается без малейшего затруднения, подымает значительный груз и движется с максимальной скоростью 140 километров в час. Бухало по убеждениям скорее анархист, но он готов отдать свое изобретение всякой террористической организации, которая поставит себе целью цареубийство. Он, Азеф, виделся с ним в Мюнхене, рассмотрел чертежи, проверил вычисления и нашел, что теоретически Бухало задачу решил, что же касается конструктивной ее части, то в этом и состоит затруднение. У Бухало нет достаточно средств для того, чтобы поставить собственную мастерскую и закупить необходимые материалы. Средства эти нужно достать: если, действительно, будет построен такой аппарат, то цареубийство станет вопросом короткого времени.

Я слушал слова Азефа, как сказку. Я знал об опытах Фармана, Делагранжа и Блерио, знал и о том, что в Америке братья Райт достигли в воздухоплавании крупных успехов. Но аппарат, развивающий скорость в 140 километров в час и поднимающий на любую высоту большой груз, казался мне несбыточной мечтой. Я спросил:

— Ты сам проверял чертежи?

Азеф ответил, что он в последнее время специально изучал вопрос о воздухоплавании и сам проверил все формулы Бухало. Тогда я сказал:

— Ты веришь в это открытие?

Азеф ответил:

— Я не знаю, сумеет ли Бухало построить свой аппарат, но задача, повторяю, в теории решена верно. Нужно рискнуть. Риск только в деньгах. Нужно только тысяч двадцать. Я думаю, что на это дело можно и должно рискнуть такой суммой.

Азеф тут же развил план террористических предприятий с помощью аппарата Бухало. Скорость полета давала возможность выбрать отправную точку на много сот километров от Петербурга, в Западной Европе — в Швеции, Норвегии, даже в Англии. Подъемная сила позволяла сделать попытку разрушить весь Царскосельский или Петергофский дворец. Высота подъема гарантировала безопасность нападающих. Наконец, уцелевший аппарат или, в случае его гибели,

вторая модель могли обеспечить вторичное нападение. Террор, действительно, подымался на небывалую высоту.

Когда Азеф кончил, я спросил:

— Уверен ли ты, что Бухало отдаст свое изобретение боевой организации?

Азеф сказал:

— Да, я уверен. Это бессеребренник и убежденный террорист. В нем сомневаться нельзя.

Азеф, по специальности, был инженер. Я не имел никаких технических знаний. Я сказал:

— Я полагаюсь на твое слово. Я согласен, что для такого дела, даже если оно и кончится неудачей, можно и должно затратить 20 тысяч рублей. Но, по-моему, деньги эти должна дать не партия, а частные лица, посвященные в курс предприятия и знающие, что они рискуют своим капиталом.

Азеф согласился со мной.

Деньги для Бухало были пожертвованы: 3000 руб. дал М. О. Цейтлин, 1000 руб. — Б. О. Гавронский, остальные — неизвестный мне лично, Доенин. Бухало оборудовал в Мюнхене мастерскую, нанял рабочих и приступил к конструкции своего аппарата.

Я приветствовал эту попытку. В моих глазах это был первый шаг к радикальному решению вопроса о терроре. В случае действительной ценности нового

изобретения, боевая организация становилась непобедимой.

В феврале того же года я впервые увидел Григория Андреевича Гершуни.

Я знал Гершуни по рассказам Михаила Гоца. Он отзывался о нем с глубокой любовью и уважением. Я знал также, что он, Гершуни, организовал убийство мин[истра] внут[ренних] дел Сипягина и уфимского губернатора Богдановича и покушение на харьковского губернатора кн[язя] Оболенского. Я следил за его процессом. Я, не зная его лично, с тревогой ждал его казни. Я радовался, когда он бежал из акатуйской каторжной тюрьмы. Вместе с другими товарищами, я видел в нем вождя партии и шефа террора.

Я знал его также и по его статьям в «Революционной России», и по письмам из Шлиссельбурга от 1905 г. Вот отрывки из этих неопубликованных до сих пор писем.

«Бабушке»^[1], Михаилу Рафаиловичу^[2]. Виктору Мих.^[3] и всем близким товарищам.

Наконец-то я, друзья мои, получил от вас известие: вы живы, здоровы и невредимы. Каким радостным и успокоительным было для меня это известие, вы во всей полноте вряд ли представите себе. Но не в том дело. Вы живы, — это главное, и я уже окрыляюсь надеждой, что, быть может, мне еще доведется прижать вас к груди и снова очутиться с вами в рядах партии. Как странно! Минутами кажется, что целая

вечность отделяет меня от живого прошлого, минутами — точно вчера мы расстались, но расстались безвозвратно. Живой мир, борьба казались в этой могиле так безнадежно утраченными, что порой прямо не верится, что впереди еще что-то ждет тебя светлое. Все теперь переживаемое представляется тебе каким-то сном. Подумайте: с апреля 904 по август 905 я не видел ни живой души и не имел никакого представления о том, что делается на свете.

Я возлагал надежды на естественные, благоприятные для страны результаты войны, но опасался, не заставит ли партию патриотический пыл «непобедимых россов» временно прекратить деятельность. В августе 905 г. комендант по одному частному поводу проговорился, что Плеве уже нет, «вышел в отставку». Плеве вышел в отставку, в отставку вынуждена выйти и партия, так представлялось мне положение дел. Через две недели я получил газету «Хозяин» за 904 г., из которой узнал, что с сентября настала какая-то «весна», что произошел решительный поворот правительственной политики, что 12 декабря, к торжеству России, дан «правовой порядок, восстановлены „великие реформы“». Где-то промелькнуло: „покойный министр Плеве“. Покойный волей божией или партии? Ровно месяц я терзался в неизвестности: Плеве умер, но жива ли партия? Ибо для меня ясно было, что если он умер естественной смертью, и весь поворот произошел без давления партии, партия раздавлена. 15 сентября, в день перевода меня в новую тюрьму, комендант рассказал мне все: что Плеве убит Сазоновым, что Сазонов жив и сидит здесь, что смерть Плеве

встречена восторженно всеми, что объявлена конституция, что учреждена Государственная Дума и пр. В тот же день я увиделся со всеми старыми шлиссельбуржцами, узнал о позорном разгроме „непобедимых россов“, о каких-то неопределенных волнениях, о казни, бывшей здесь в связи с покушением на Сергея, и массу мелких известий, тогда-то производивших на меня потрясающее впечатление по своей импозантности. Настали радостные, светлые дни, казавшиеся мне особенно светлыми после подавляющего мрака и одиночества 904—905 г.г. „Конституция“ — результат напора революционных сил, значит, партия жива, значит, борьба будет продолжаться, значит, вырвут нечто существенное. Что делается на воле, мы не знали. Изредка удавалось схватить неопределенные, неясные намеки на брожение, на всеобщее недовольство, на рост оппозиции. По этим намекам мы рисовали себе фантастические, дух захватывающие картины народного движения, порой пессимистически относясь к своим оптимистическим фантазиям. И, боже мой, какими жалкими, бесцветными оказались эти фантазии в сравнении с действительностью! Известия, сообщенные Константиновичем, были жгучим, ослепительно ярким снопом света, ударившим в наши потемки. Точно вихрь ворвался в наш склеп и перевернул все вверх дном, а сердце, точно спугнутая птица, трепещет, радостно и порывисто рвется туда, наружу! Трудно вам передать ясно то странное, двойственное настроение, крайне нервное и приподнятое, которое охватило нас в эти дни. Последнее время, после первого радостного потрясения, начал постепенно приходить в себя и успокаиваться. С одной стороны, бодрящее сознание,

что довелось дожить до момента поворота России, с другой, — уверенность, что созидательная работа партии пойдет теперь планомерным путем, совершенно помирили меня с моим положением, и, после отъезда стариков, я расположился на зимние квартиры. Свидание с отцом, не открывшим мне положения дел, но обнадежившим в возможности близкого освобождения, еще более успокоило нас. И тут вдруг перед нами, во всей грандиозности, совершенно неожиданно развернулась вся картина пережитого страной за последний год! Все величие момента встало перед нами во всей своей необъятности и, сконцентрированное во времени и пространстве, в первую минуту раздавило нас своими размерами и необъятными горизонтами. Назавтра мы получили „Сын Отечества“, сразу выяснивший нам положение дел и, каюсь, заставивший позавидовать вам, все это пережившим в горниле борьбы. Из-за печатных строк перед нами встает гром революции, смертный бой с ненавистным чудовищем, а мы тут вынуждены, полные сил и жажды борьбы, в бездействии томиться в царской цитадели! Момент — единственный не только в истории России, но и Европы, небывалый по широте настроения и задач, — идет мимо нас, будто мимо мертвецов!

К мечам рванулись наши руки,
Но лишь оковы обрели!..

Сбылось предсказание — последние да будут первыми... Россия сделала гигантский скачок и сразу очутилась рядом с Европой, но оказалась впереди ее. Изумительная по

грандиозности и стройности забастовка, революционность настроения, полное мужества и политического такта поведение пролетариата, великолепные его постановления и резолюции, сознательность и организованность трудового крестьянства, готовность его биться за решение величайшей социальной проблемы, — все это не может не быть чревато сложнейшими благоприятными последствиями для всего мирового трудового народа, и России, по-видимому, в двадцатом веке суждено сыграть роль Франции девятнадцатого века. Но крупнейшим счастливым результатом будет, как то мне кажется, то, что России удастся миновать пошлый период мещанского довольства, охватывавший мертвящей петлей европейские страны, переживавшие революционный период при менее благоприятной конъюнктуре и в другой исторической эпохе. Какое счастье выпало на долю партии! Вот уж именно — сеется в унижении, восстает во славе; сеется в немощи — восстает в силе. При благоприятных условиях, если только вожди окажутся на высоте своей задачи, партия может занять в ближайшем будущем положение, которому позавидуют все европейские партии. Не жалейте только сил на достижение возможно скорейшего объединения в одну российскую социалистическую партию. Как это ни трудно, постарайтесь забыть все тяжелое, безобразное, лежащее преградой по пути к объединению, все личные отношения, — ведь теперь социал-демократия находится уже не в руках отдельных лиц, а части организованного пролетариата, к здравому смыслу и гражданскому долгу которого вы можете и даже обязаны в ближайшем будущем апеллировать. Имея в виду

желательность и неизбежность такого предстоящего объединения, вы, конечно, будете прилагать все старания не обострять настоящих отношений и в полемике по-прежнему побеждать не ухарством, а благородством. Пусть по-прежнему останется распределение сил на наиболее чуткие, морально-чистые элементы, тогда и победа обеспечена за вами.

Милая Рая^[4]. Как она, вероятно, изменилась! Из прежней скромненькой, робкой девочки она, мне рисуется, превратилась в пышную красавицу, с высоко поднятой головой, победоносно и гордо шествующую сквозь толпу покорных поклонников. Как-то она встретит, если только этот счастливый час настанет, своих друзей детства? Пожалуй, отуманенная успехом, давно уже забыла о поре первой юношеской любви и первых вздыхателях?.. Вот говорю о встрече, а ведь это, возможно, и „бессмысленное мечтание“. Рисуешь себе торжествующее шествие революции, затоптанную в грязи гидру самодержавия, но раздастся окрик часового, посмотришь на эти ужасные стены, и невольно дрожь охватит тебя: Шлиссельбург стоит, — самодержавие еще живо! Недаром же в воротах его красуется золотая надпись: „государева“; пока не разбита эта надпись, — цело и не безнадежно „государево дело“.

Но что бы ни было впереди, мы постараемся снова войти в колею, терпеливо ждать минуты освобождения и готовиться к этой великой для нас минуте: настанет же она когда-нибудь.

Несколько вырезок „С[ына] О[течества]“ произвели на нас хорошее впечатление. Статья „О забастовках“, „А все-таки не верьте“, „Скорбный манифест“, фельетон Максимова о сарат[овском] крест[ьянском] движении] — великолепны. Статья Ратнера о радикальной программе мне ой-ой как не понравилась! В некоторых статьях много пистолетов, и пистолетов скверных, хотя в такое боевое время, может, и незаметных. Старайтесь привлечь в сотрудники возможно больше народу, активно действующего в партии, и отвлечь возможно больше социалистически-малосознательных. По нескольким номерам трудно, конечно, судить, но мне кажется, классовая точка зрения не всеми твердо и сознательно проводится и не все еще сотрудники сжились с сознанием, что это орган трудовою народа, связанный с интеллигенцией лишь постольку, поскольку последняя порывает со своей средой и, под влиянием идеалистических мотивов, становится в защиту интересов этого народа, отказываясь от каких-либо самодовлеющих интересов. Трудовой народ должен почувствовать всем нутром своим, что это действительно его орган, что все и все служат ему и выражают лишь его интересы, что в этом органе все одушевлено им, что единственный хозяин — он, все другие приходят к нему в гости, а не он находится в гостях у благожелателей.

Если у вас, друзья, будет время, — я был бы счастлив получить от вас весточку. Ознакомьте меня с положением партийных дел, с партийными органами и видами на будущее. Так как родные, быть может, только желая утешить нас, обнадеживают скорым освобождением, прошу вас, как

товарищей, сообщить действительное положение этого вопроса. Вы понимаете, как неразумно было бы что-либо скрывать перед нами: мы не институтки и умеем смотреть действительности прямо в глаза. Знать же нам необходимо, чтобы быть в состоянии, сообразно положению дела, распределить свои занятия (ведь мы здесь не бездельничаем).

Всем товарищам горячий привет. Дорогой Михаил Рафаилович, выздоравливай скорей! Вот бы теперь тебе здоровье с удовольствием отдал бы, ибо не знаю, куда девать его.

Каковы ваши предположения о газете для широких масс? Видел объявление о „Буревестнике“, но хорошо не понял, что за этим кроется...

Почему вы избегаете старых партийных названий? Какое подходящее для социалистической газеты было бы, например, „Голос Труда“. Кстати. Не в виде упрека, а в виде вопроса: почему вы предпочли войти в старый орган с таким бесконечно нелепым прошлым, а не выступить в *ad hoc* ^[5] учрежденном? „Сын Отечества“! Чорт возьми, ведь пока сживешься с тем, что это действительно сын отечества, а не сукин сын, сколько времени должно пройти еще! Любопытно, что ту же алую шутку судьба сыграла и с „Отечественными записками“, но, если я не ошибаюсь, до последней минуты редакция скорбела об этом нелепом названии, и Михайловский даже прямо где-то заявил, что если бы „от них зависело“, они бы подобрали более соответствующее

название. Не подумываете ли вы о понижении подписной цены? до 8 руб.? 12 руб. слишком уж буржуйская сумма. Каков ежедневный тираж и как расходуется 2-е издание? Как обстоит дело с партийной брошюрной литературой? Ужели „Революционная Рос[сия]“ так и закроется, и все заграничное издательство уже не нужно? До чего дожили!

Что будет теперь с „Русск[им] Бог[атством]“? Где и как теперь Марк Андреевич? Как вы встретили наших стариков? Какие установились у вас отношения и что они внесли к вам? Я уже писал вам про Антонова. Он, Мартынов и Панкратов сумеют сыграть крупную роль в объединении пролетариата с крестьянством. Разнесите широко их имена, сделайте их популярными и дорогими для пролетариата, который вправе и должен гордиться ими. С Ант., не имеющим еще никаких связей, постарайтесь повидаться лично и приютить его. Это необычайно милый, душевный человек. Как здоровье Веры Николаевны? Получила ли она возможность развернуть крылья? Вошел ли в колею Лопатин? Пишите, пожалуйста, обо всех подробно. Морозов, чорт, если бы не ухлопал век на свою химию, каким бы дорогим человеком мог теперь быть! Привет им всем.

Союзники кланяются вам всем, Сазонов обнимает.

Сообщите подробно о крестьянском союзе. Рад был узнать об участии там А.Ос. Сносились ли вы организационно или он все волком норовит в лес, в одиночку? Привет ему низкий! Каково истинное положение наше в армии? Действительно ли

Раечка там душкам-военным кружит головы, как нам нахвастали? Что привело меня в безумный восторг, так это — позиция крестьянства. Вот победа наша, действительно выстраданная! Сколько насмешек, издевательства пришлось партии перенести из-за этого вопроса! И вы с полным правом можете сказать себе, что если бы не настойчивость партии в этом пункте, если бы не ее предварительная работа — степень сознательного отношения крестьянства была бы совсем другая и результаты для крестьянства, несомненно, менее благоприятные. Жестокая ирония судьбы! Крестьянство может выйти из борьбы с социальной победой — вопреки партии, именующей себя социалистической (я говорю о С.-Д.), и эта социалистическая партия в своих требованиях стоит позади даже „Нового Времени“! Не успею кончить. Обнимает всех вас преданный вам Гр.»

«Дорогие товарищи!

С сердцем, трепетным и радостным, мы прислушиваемся к неясным, смутным отзвукам борьбы, гремящей там, за стенами нашей тюрьмы. То, о чем так страстно мечтали, что казалось то бесконечно близким, то бесконечно далеким, начинает сбываться: страна подымается, рвет рабские оковы, и сквозь мрак, окутывающий нашу крепость, мы видим отблески зари восходящей над Россией свободы. Ужас захватывает душу при мысли о страшной цене, которой куплена эта заря, о чудовищно тяжких жертвах, понесенных народом. Вечным позором да ляжет на продажные головы виновных эта ответственность за эти жертвы и да будут они

вечным укором тем, кто не препятствовал шайке куртизанов и авантюристов терзать исстрадавшуюся и измученную страну. Тем больше мужества и гражданской честности требуется в этот великий момент от тех, кто стал в защиту интересов и свободы народа, тем больше испытаний вас ждет впереди, товарищи партии соц.-рев... Много будет попыток предать и продать народ за чечевичную похлебку, которую умирающий режим готов уступить буржуазии, а на плечах народа и революционеров, самоотверженно вынесших всю тяжесть борьбы, устроить свое мещанское благополучие. Отойдут от вас холодные к интересам трудового народа, попытаются прийти ищущие популярности, трусливо прятавшиеся раньше. Партия не будет жалеть о первых и отвергнет вторых. С надежным компасом — свобода и счастье трудового народа — соц.-рев. партия пробьется сквозь ряды открытых врагов и лицемерных друзей. Оторванные от партии правительством, но связанные с ней неразрывными узами идейными, мы всей душой, всеми чувствами и мыслями с вами, незабвенные товарищи, с вашей творческой и плодотворной работой. Шлем со старшими братьями, 20 лет терзавшимися в когтях деспотизма и сегодня покидающими мрачный Шлиссельбург, горячий товарищеский привет всем, всем борющимся под знаменем социализма. Радуйтесь прибывшим и не скорбите об оставшихся и осиротевших.

С твердой верой в политический такт, мужество и самоотверженность соц.-рев. партии, в силу и стойкость трудового народа, мы бодро глядим в будущее России, бодро

встречаем разлуку с товарищами, скорбим лишь о том, что и тут правительство умудрилось отягчить их судьбу.

Григорий Гершуни».

28 октября 1905 г.

В Гершуни обращала внимание его наружность. Когда я в Париже вошел в его комнату в «Гранд-Отель», я увидел типичного еврея, среднего роста и крепкого телосложения. На обыкновенном добром еврейском лице, как контраст ему, выделялись совершенно необыкновенные, большие, молочно-голубые холодные глаза. В этих глазах сказывался весь Гершуни. Достаточно было взглянуть на них, чтобы убедиться, что перед вами человек большой воли и несокрушимой энергии. Его слова были тоже, по первому впечатлению, обыкновенно бесцветны. Только в дальнейшем разговоре выяснялась сила его логических построений и чарующее влияние его проникновенной веры в партию и социализм. Эта первая наша встреча была целиком посвящена его воспоминаниям о Шлиссельбурге и Акатуе, — о Сазонове, Сикорском и старых шлиссельбуржцах. Я видел в этот раз его очень недолго. Он с Азефом ехал на второй общепартийный съезд, состоявшийся в феврале 1907 г. в Финляндии, в Таммерфорсе. На этом съезде он был избран в члены центрального комитета.

VIII

Всю зиму и весну 1907 г. я с нетерпением ожидал результатов работы Бухало. Мое мнение о постановке боевого дела осталось прежним, — я не видел причин его менять. Я все надежды возлагал на научную технику. Азеф соглашался со мной. После таммерфорсского съезда он остался в России, но не принял непосредственного участия в террористических предприятиях. Он занимался делами центрального комитета.

Я посетил Бухало в его мастерской, в Моссах около Мюнхена. За токарным станком я нашел еще не старого человека лет 40, в очках, из-под которых блестели серые умные глаза. Бухало был влюблен в свою работу: он затратил на нее уже много лет своей жизни. Он принял меня очень радушно и с любовью стал показывать мне свои чертежи и машины. Подойдя к небольшому мотору завода Антуанетт, он сказал, хлопая рукой по цилиндрам:

— Привезли его. Я обрадовался. Думал, у него душа. А теперь пожил с ним, вижу — просто болван. Придется его переточить у себя...

Точно так же, как к живым существам, он относился к листам стали, к частям машин, к счетной линейке, уже не говоря о его чертежах и сложных математических вычислениях. От каждого его слова веяло верой в свой аппарат и упорной настойчивостью. О революции он

говорил мало, с пренебрежением отзывался о нелегальной литературе и отмечал многие, по его мнению, ошибки в тактике партии. Зато террор он считал единственным верным средством вырвать победу из рук правительства. Уезжая из Мюнхена, я уносил с собой если не веру в ценность его открытия, то полное доверие к нему. Я был убежден, что он использует в своем деле все, что могут дать наука, дарование и опыт.

Работы Бухало затянулись. К августу стало ясно, что если даже он и решит задачу воздухоплавания, то не в близком будущем; в конструкции своего аппарата он встретил неожиданно затруднения.

Азеф вернулся уже за границу и жил со своей семьей в Швейцарии, в Шарбоньере. Он вызвал меня к себе для совещания по вопросам террора.

Это совещание состоялось в Монтре. В нем участвовал также Гершуни.

В начале совещания Азеф заявил:

— Из дела Бухало не скоро что-либо выйдет. Нужно ехать в Россию.

Я сказал:

— Чтобы ехать в Россию, нужно знать, что и как мы намерены делать.

Тогда Гершуни спросил:

— Что же, по вашему мнению, возможно сделать?

Я сказал следующее.

Опыт боевой организации убедил меня, во-первых, в том, что принятая форма организации не соответствует задачам террора. Организация, построенная на методе наружного наблюдения, не обладает достаточной гибкостью, — она не может осуществлять открытых нападений вооруженными группами. Этому мешает как официальное положение наблюдающих (извозчики, торговцы), так и отсутствие сведений о царе, великих князьях и министрах. Такие сведения могла бы собирать и ими пользоваться только специальная, для этой цели приспособленная группа, члены которой были бы в связи со всеми партийными учреждениями, а не замыкались бы в узкие рамки террористической организации. Опыт показывает, однако, что такие сведения имеют обыкновенно характер слухов, что ими следует пользоваться с величайшей осторожностью, что ни в коем случае их нельзя принять за основание для всей террористической деятельности боевой организации. В лучшем случае, они могут дать возможность совершить отдельный террористический акт.

Я сказал, что, во-вторых, опыт убеждает меня в том, что метод наружного наблюдения не дает существенных результатов, по крайней мере, при том количестве наблюдающих, какое было принято и допускалось как притоком из партии годных для наблюдения сил, так и формами самой организации. Я сказал также, что

увеличение наблюдающего состава, быть может, отразится благоприятно на результатах наблюдения.

Опыт боевой организации, по моему мнению, вполне подтверждался опытом последующих террористических актов: убийство ген[ерала] Лауница, генерала Павлова (декабрь 1906), где случайные сведения дали возможность приступить к покушению, но не позволили на этих сведениях построить весь план дальнейшей работы; арестов Штифтаря и Гронского (февраль 1907 г.), арестов товарищей по так называемому «царскому процессу» (31 марта 1907 г.) и ареста участников второго покушения на премьер-министра Столыпина (летом того же года).

Исходя из всего вышесказанного, я утверждал, что единственным радикальным решением вопроса остается, по-прежнему, применение технических изобретений. Значит, необходимо, во-первых, поддерживать предприятие Бухало, и, во-вторых, изучить минное и саперное дело, взрывы на расстоянии и т. п.

Как временный паллиатив, я предлагал следующий план.

В виду крайней необходимости немедленных террористических выступлений и в виду невозможности пока использовать научную технику, партия должна напрячь все свои силы, не жалея ни средств, ни людей, на восстановление боевой организации в том ее виде, какой, по моему мнению,

единственно был способен развить достаточную для успешного действия террористическую энергию. Наблюдающий состав должен быть увеличен до нескольких десятков человек. Параллельно с ним должна быть создана группа, цель которой должна состоять в открытых вооруженных нападениях на основании собираемых ею, при помощи партийных учреждений, сведений. Во главе такой организации, включающей, конечно, и химиков, должен стоять сильный, практический и авторитетный морально центр. Я считал, что в такой комитет должен войти и Гершуни.

Гершуни молчал. Когда я кончил, Азеф спросил:

— Если в организации будет несколько десятков, пятьдесят—шестьдесят человек, то как не допустить провокации?

Я ответил, что строгий выбор членов может, до известной степени, оградить от провокатора, строгие же формы организации, разделение труда и изоляция отдельных работников могут уменьшить вред его даже в случае его проникновения. Тогда Азеф сказал:

— Ты не раз говорил мне, что я переполняю организацию новыми членами, а теперь хочешь сам переполнить ее еще больше.

Я ответил на это, что я видел переполнение организации в приеме новых членов, для которых не было в данный момент работы. Такие товарищи жили

бездеятельно в Финляндии, а это деморализующим образом отражалось на них и на всей организации. В моем же плане каждый человек будет занят полезной работой.

Тогда Гершуни задал мне вопрос:

— Где вы найдете такое количество террористов?

Я сказал, что в партии довольно боевых сил, что многие из них не находили до сих пор себе применения и что опыт максималистов показывает, что недостатка в людях нет и не может быть. Гершуни сказал:

— Да, но где вы найдете унтер-офицеров и офицеров? Комитет из трех лиц не может удержать в равновесии такую организацию. Необходимы помощники — руководители на местах.

Я ответил, что в партии есть много даровитых работников, которые до сих пор не участвовали в терроре. Я хочу верить, что в такой исключительный момент они по собственному желанию войдут в боевую организацию. Я назвал имена. Я прибавил, однако, что я боюсь, что центральный комитет не разрешит им уйти от общепартийной работы.

Азеф сказал:

— Центральный комитет разрешит, но они сами не пойдут в террор

Гершуни задумался.

— А что, — сказал он, — если они действительно в террор не пойдут?

Я сказал:

— Тогда мой план неосуществим. Мы трое не можем руководить организацией из 50 человек.

Гершуни задумался опять.

— А при прежней форме организации, — спросил он, — вы считаете террор невозможным?

— Я никакой ответственности за такой террор взять не могу.

— И в нем участвовать не желаете?

Не только не желаю, но и не могу. Не веря в успех, я не могу звать людей на террор. Зная, что организация по самому методу и по своим формам обречена на бессилие, я принимать участие в руководительстве ею считаю для себя невозможным.

Азеф сказал:

— Твой план практически неосуществим, — не хватит людей и денег. Кроме того, неизбежно будет провокация.

Я сказал:

— Предложи свой план взамен моего.

Азеф пожал плечами.

— Я не знаю. Я знаю только, что нужно работать.

Гершуни молчал. Я обратился к нему:

— А вы?

— Я тоже не знаю. Но тоже думаю, что нужно работать.

Я сказал тогда, что готов участвовать в любом предприятии, которое мне покажется осуществимым, но что я считаю противным своей революционной совести и террористическому убеждению ангажировать людей в террор, не видя возможности осуществлять его.

По этому поводу Азеф впоследствии мне писал следующее:

«...Нужно прямо ехать, исходя из положения, что надо напрячь все силы для создания того, что нужно, т. е. стать на точку зрения, на которой я стою и которую я тебе изложил... Относительно нравственного права ангажировать и т. д. скажу, что когда я буду ангажировать, я надеюсь, что я буду иметь и нравственное право это делать, пока же я могу только напрячь силы для создания... и т. д. Ты пишешь, что я стараюсь вдохнуть в тебя веру в мертворожденное дело. Не знаю, из чего ты взял, что я стараюсь вдохнуть в тебя веру. Я очень далек от этого и, наоборот, думаю, что при полном отсутствии веры в дело, каковое проглядывает в твоём письме, ехать не следует, — это я говорю совершенно по-товарищески» (письмо из Мюнхена, 24/IX — 1907).

Несмотря на заключительные слова цитированного отрывка, Азеф стал на такую же точку зрения в этом вопросе, на какую стали Г. А. Гершуни, В. Н. Фигнер и

очень многие уважаемые мною члены партии. Они находили, что долг террориста — при всяких обстоятельствах и при каких угодно условиях работать в терроре, и что я, отказываясь принять участие в боевой работе, не исполняю своего долга. Я не мог согласиться с ними в этом их рассуждении. Наоборот, я считал, что я бы не исполнил своего долга, если бы не указал товарищам и центральному комитету, что, по моему мнению, возврат к старым формам террористической борьбы ни в коем случае не даст надежды на успех. Я считал также, что я бы совершил преступление, если бы ангажировал на террор людей, доверяющих моему практическому опыту, не веря сам в возможность успеха. Мой план боевой организации был отвергнут и Гершуни, и Азефом. Ни Гершуни, ни Азеф не наметили другого, более практичного. Предприятие Бухало затягивалось. Оставалось вернуться к тому, что уже доказало свою непригодность. Я считал это нецелесообразным и для себя морально недопустимым: если бы я даже отказался от руководящей роли и предложил себя в исполнители, то самый факт моего пребывания в организации возлагал бы на меня ответственность как за ее деятельность, так и за товарищей, принявших участие в ней по доверию к Гершуни, Азефу и ко мне.

Я решил не ограничиваться моим заявлением Азефу и Гершуни. Я считал своим долгом попытаться воздействовать на центральный комитет в смысле

изменения приемов террористической борьбы, даже если бы эта попытка заранее была обречена на неудачу.

В октябре 1907 года я с этой целью выехал в Финляндию. В Выборге состоялось заседание центрального комитета, на котором я сделал доклад.

На заседании этом присутствовали: Азеф, Гершуни, Чернов, Ракитников, Авксентьев и Бабкин. Последние двое были кооптированы после таммерфорсского съезда в центральный комитет.

Я повторил перед этим собранием все то, что мною было сказано в Монтре. Я внес предложение: в случае, если центральный комитет признает план боевой организации, предложенный мною, по каким бы то ни было причинам, неосуществимым, — сосредоточить все свои силы на научной технике, впредь же до применения технических изобретений к делу террора, центральный террор в организационной его форме прекратить. Я сознательно употребил слова «в организационной форме». Я допустил возможность случайного террора, независящего от деятельности боевой организации. Могли явиться единичные террористы из числа лиц, окружающих министров или царя, — матросы, солдаты, прислуга, офицеры. Таким террористам, конечно, нужна была помощь партии, но они не нуждались в существовании боевой организации. Впоследствии на таких случайных предложениях были построены три попытки

цареубийства, все три на кораблях Балтийского флота. Они окончились неудачей.

Во все время моей речи Гершуни и Азеф молчали. После прений центральный комитет, найдя мой план боевой организации неосуществимым, отверг четырьмя голосами против двух (Бабкин и Авксентьев) все мои предложения (было постановлено центральный террор в его организационной форме продолжать). Во главе боевой организации оставался Азеф. Впоследствии я узнал, что помощником явился П. В. Карпович. Восстановленная ими боевая организация не совершила ни одного покушения. Я уехал из Выборга в Гельсингфорс. В Гельсингфорсе меня нашел Азеф. Он долго убеждал меня вернуться к работе:

— Послушай, — говорил он, — ты, конечно прав, — работать теперь чрезвычайно трудно, но, по-моему, не невозможно. Ведь раньше же было возможно...

Я сказал:

— Прошлою осенью ты соглашался со мною, что методы наружного наблюдения устарели. Почему ты изменил мнение теперь?

— Я не изменил, — ответил он мне. — Наружным наблюдением, действительно, много сделать нельзя, но остается еще собирание сведений... На основании таких сведений убиты Павлов и Лауниц...

Я сказал:

— В прошлом году ты соглашался со мною, что эти сведения — большею частью все вздорные слухи. Убийство Павлова и Лауница — исключение, и царь — не Лауниц и не Павлов. «Царский процесс», наоборот, показывает, как трудно базировать работу на случайных сведениях о царе. Азеф возразил:

— Мы систематически и не собирали сведений. Мы всегда пользовались случайными. Теперь мы поставим это дело серьезно.

Я ответил, что, по моему мнению, одно собирание сведений, особенно в царском деле, не дает надежды на успех, и что, как бы он ни убеждал меня, я не могу согласиться, что следует жертвовать людьми, не имея осуществимого плана.

Тогда Азеф подумал и, нахмурясь, сказал:

— Григорий (Гершуни) считает, что долг революционера требует от тебя участия в терроре.

Я спросил:

— И ты думаешь так?

Он сказал:

— Да, и я думаю так.

Я ответил на это, что, хотя и ценю мнение его и Гершуни. я так не думаю, и что, отказываясь участвовать в безнадежном предприятии, я, по моему мнению, именно и исполняю свой долг.

Азеф нахмурился еще больше.

— Мне будет трудно работать без тебя, — сказал он.

Я ответил, что из одного чувства товарищеской солидарности я в терроре участвовать не могу.

Азеф уехал в Выборг, к Гершуни. Я решил поселиться за границей и на пароходе «Polaris» выехал в Копенгаген. В Копенгагене со мной произошло следующее. Еще из Або я телеграфировал моему другу, датскому писателю Ааге Маделунгу, чтобы он встретил меня. Когда пароход подошел к пристани, Маделунг взбежал на палубу и шепнул мне:

— Вас желают арестовать. Здесь русские агенты и датский детектив.

Ожидая парохода, он заметил на пристани этих людей. Они рассматривали мою фотографическую карточку и, видимо, ждали меня.

По датским законам меня, в случае ареста, немедленно выдали бы русскому правительству. Я был очень благодарен Маделунгу за его предупреждение.

Маделунг спрятал меня в Копенгагене у своих родителей. Датская полиция искала меня по следам моих вещей, которые Маделунг отвез к своему другу, актеру королевского театра Тексиеру. В дом, где жил Тексиер, являлись датские детективы с моей фотографической карточкой. Они расспрашивали, не видел ли меня кто-либо из жильцов.

В сопровождении Маделунга, я выехал из Копенгагена, но не прямо в Германию, а сперва в

Швецию, в г. Гетенбург, а оттуда в Берлин. Через несколько дней я был в Париже.

Этот случай убедил меня в том, что в партии, около ее центральных учреждений, есть провокатор. Если бы за мной следили в Финляндии, меня арестовали бы в Гельсингфорсе; мне не дали бы возможности уехать в Данию. Очевидно, провокатор телеграфировал обо мне, когда я уже находился на «Polaris'e» в море. Только случай и дружба Маделунга спасли меня от ареста. Я терялся в догадках, но не мог заподозрить никого из товарищей.

IX

До июня 1908 года я прожил в Париже, вдали от всех террористических предприятий. В июне я принял участие в покушении на цареубийство.

В г. Глазго, в Шотландии, на кораблестроительном заводе Виккерса, строился русский бронированный крейсер «Рюрик». Один из корабельных инженеров, К. П. Костенко, был членом военной организации партии социал-революционеров. По его инициативе и под его руководством началась революционная пропаганда среди матросов строящегося крейсера. Пропагандистами были: бывший пехотный офицер Варшамов, бывший матрос с эскадры адм[ирала] Рождественского Затертый (псевдоним) и член

российской социал-демократической партии рабочий Петр (псевдоним). Костенко весной 1908 года известил центральный комитет, что на корабле есть несколько десятков матросов-революционеров и что среди них есть люди с террористическим настроением, готовые убить царя на предстоявшем, по возвращении «Рюрика» в Россию, царском смотре.

М. А. Натансон сообщил мне это известие. Он спросил меня, желаю ли я поехать в Глазго и лично убедиться в возможности цареубийства? Я ответил, что ничего не могу иметь против этого: я мог только приветствовать каждую случайную попытку террора.

Азеф в Петербурге был занят также приготовлением к цареубийству. Он знал о положении дел на «Рюрике» и, по его предложению, за границу приехал член восстановленной Азефом боевой организации — П. В. Карпович. Он тоже должен был ехать в Глазго. Я встретился с ним в Париже.

Я знал Карповича в 1900 году, в Берлине, еще до убийства им министра Боголепова. В моей памяти остался высокий, чернобородый и длинноволосый студент в красной рубашке. Я увидел теперь перед собою пожилого человека с молодым лицом, но с проседью на висках. Он был изящно одет и по внешнему виду ничем не напоминал революционера.

Он провел несколько лет в Шлиссельбурге. Об его отношении к революции и к партии можно судить по

следующему письму, присланному им из крепости после манифеста 17 октября:

«Свершилось! Оковы, столь долго угнетавшие Россию, готовы пасть. Еще натиск — и прекратятся кровавые оргии российского бюрократизма и расчистится путь к созданию новой России. Увы! Я из моего монрепо мог только послать мои привет и пожелание успеха всем, борющимся за освобождение России, особенно вам, дорогие товарищи, стоящие под знаменем социализма! Несколько времени тому назад я узнал о выступлении на поле битвы с.-р. партии, воплотившей в своей программе все мои стремления и надежды. В то же время я с болью в сердце узнал о разногласии между двумя партиями, представляющими социализм в России. Дорогие товарищи! Ищите скорее в наших программах того, что ведет к единению, чем упорно подчеркивать разногласия, решение которых предстоит будущему.

П. В. Карпович».

Карпович был резок и прям. Чрезвычайно правдолюбивый, он и в других не переносил ни малейшей неискренности. Это было основной чертой его характера. Другой чертой была его отвага. Он напоминал тех средневековых рыцарей, о которых говорится в сказках: чем опаснее было предприятие, тем охотнее он брался за него. По своим взглядам, он был в партийной оппозиции. Он признавал только террор и с оттенком пренебрежения относился ко

всякой другой партийной работе. Он с чисто женскою нежностью привязался к Азефу и, быть может, более, чем кто-либо другой, видел в нем прирожденного вождя центрального террора.

Мы выехали с ним вместе в Глазго и поселились там в одной квартире. За полтора месяца, которые мы с ним прожили вместе, я заметил, что цельность его убеждений была только внешней. За резкими отзывами и решительными мнениями скрывались колебания, — признак зрелого ума и совестливой души. Его волновали вопросы о моральном оправдании насилия, и в его крайних, часто жестоких выводах мне чудилось отвращение к крови и отчаяние, что революция неизбежно должна быть кровавой. Он говорил:

— Нас вешают, — мы должны вешать. С чистыми руками, в перчатках, нельзя делать террора. Пусть погибнут тысячи и десятки тысяч — необходимо добиться победы. Крестьяне жгут усадьбы — пусть жгут. Людям есть нечего, они делают экспроприации — пусть делают. Теперь не время сентиментальничать, — на войне, как на войне.

Таковы были его слова. Но он сам не экспроприировал и не жег усадеб. И я не знаю, много ли встречал в моей жизни людей, которые, за внешней резкостью, хранили бы такое нежное и любящее сердце, как Карпович. И это было тем более хорошо, что о любви к людям он отзывался с презрением, а о ненависти говорил, как о законном чувстве.

Противоречие между словом и делом у него было всегда, и решительно — в пользу дела. Даже те, с кем он не сходилась ни во взглядах, ни в симпатиях, ни в образе жизни, относились к нему с любовью и уважением.

Костенко, молодой офицер, увлеченный идеей восстания Балтийского флота, познакомил нас с Варшамовым и матросами. Из серой толпы команды выделялись три человека: трюмный квартирмейстер Котов, строевой матрос Поваренков и машинист Герасим Авдеев. Они все трое входили в комитет корабельной организации. С ними мы и решили познакомиться ближе.

Котов был пропагандист по призванию. Он осенью кончал свою службу и его мечтой было, вернувшись в деревню, учить крестьян революционному социализму. В партийной программе его привлекало решение аграрного вопроса, вопросы террора его интересовали мало. Быть может, в этом сказывалось влияние социал-демократической пропаганды и умолчание нашими пропагандистами о необходимости царубийства. Этот матрос, чистый тип учителя-подвижника, оставлял светлое и яркое впечатление, но мы не решились с ним даже заговорить о цели нашего приезда: в его отказе не могло быть сомнения.

Поваренков был маленький, коренастый хохол. Он не был так начитан, как Котов, аграрным вопросом интересовался так же мало, как и террором. Он верил

только в восстание флота, захват Кронштадта, бомбардировку Петергофа. Он имел большое влияние на команду: именно он являлся организатором на корабле, он создавал матросские революционные кружки и он спаивал их в одно целое. Практичный и скрытный, он был незаменим в подпольной организации.

Герасим Авдеев был высокого роста с загорелой шеей матрос. У него был большой революционный темперамент, — он был из тех людей, которые в массовых движениях идут впереди массы, являются ее естественными вождями в решительную минуту. Смелый, энергичный, чуждый по природе конспирации и учительства, он один из всех матросов показался нам способным увлечься идеей террора. Костенко передавал нам, что он не раз говорил ему о необходимости цареубийства.

Когда я в первый раз увидел Авдеева, я сказал ему:

— Я слышал, вы хотите участвовать в терроре?

Он побледнел:

— Кто вам сказал?

— Порфирий (Костенко).

Авдеев опустил глаза. Он сказал громко:

— Нет. Не могу. Не готов.

На следующий день он пришел опять. Он сказал:

— Я думал всю ночь. Я согласен. Говорите, что нужно делать?

Я сказал:

— Вы знаете, речь идет о царе.

Он ответил:

— Тем лучше, что о царе. Что нужно делать?

План состоял в следующем: «Рюрик» уходил в конце лета в Россию, и осенью, в Кронштадте должен был состояться смотр в присутствии царя. Мы хотели поместить на корабле кого-нибудь из товарищей: Карповича, меня или кого-либо из членов боевой организации. Конечно, пребывание на крейсере должно было быть тайным. Но чтобы сесть на корабль и жить на нем тайно, необходима была помощь, по крайней мере, одного из матросов. Таким матросом мог быть Авдеев. Предстояло выяснить, можно ли скрываться на корабле, и где удобнее сесть на борт, — в Глазго или в Кронштадте.

Я рассказал Авдееву этот план. Он выслушал его молча. Потом сказал:

— На корабле можно скрываться.

— Где?

— Я найду место.

Несколько дней Костенко и Авдеев искали такое место. Наконец, оно было найдено. В румпельном отделении, в отсеке, за головой руля, было несколько

темных и узких отверстий. В этих отверстиях с трудом мог поместиться человек. Сидя на корточках и полулежа, там можно было просидеть несколько дней. Если само помещение было неудобно, зато выход из него представлял все удобства: прямо из румпельного отделения через палубы шел вентилятор. Внутри этого вентилятора была лестница. Выйдя из отсека и поднявшись с бомбой по этой лестнице, можно было взорвать адмиральское помещение, мимо которого шел вентилятор. Можно было также взорвать и верхнюю палубу, именно ту, где и происходит смотр: грибок вентилятора выходил у правой кормовой башни. Теперь, когда место было найдено, нужно было решить другой вопрос, — задачу посадки на корабль.

Авдеев следил за нашими изысканиями и, видимо, переживал тяжелые минуты. Он видел, с какими затруднениями сопряжено цареубийство, если непосредственным исполнителем его является человек нелегальный, не имеющий случая встретиться с царем лицом к лицу.

Он понимал также, что все эти затруднения падают, если на цареубийство решится человек, по роду своей службы встречающийся с царем. Перед ним невольно вставал вопрос, не обязан ли он предложить себя в исполнители? Неподготовленный к такого рода переживаниям, он не спал, худел и бледнел. Было видно, что он глубоко мучается своим бессилием.

Мы встречались с ним или у нас на квартире, или на лугу, на берегу реки Клайд, когда команда вечером отпускалась на прогулку. Он расспрашивал меня с волнением о Спиридоновой, Каляеве, Сазонове, Гершуни, Конопляниковой. Особенно его поражало, что женщины самоотверженно участвуют в терроре. Говоря с Костенко о цареубийстве, он не думал, что его слова могут повлечь попытку покушения, и теперь перед ним во всей своей простоте становился вопрос: пожертвовать собой во имя революции.

В одну из моих с ним встреч, он вдруг робко сказал:

— Я хотел вам сказать...

— Что?

— Я решился.

Я ответил ему, что пока у нас есть надежда поместить своего человека на крейсер, мы не нуждаемся в нем, как исполнителе, а нуждаемся только в его помощи: мы рассчитывали, что он будет кормить спрятанного товарища и даст ему условный сигнал, когда царская шлюпка приблизится к крейсеру. Я сказал также, что не нужно торопиться с таким решением; что в деле террора ни малейшее насилие над собой неуместно; что нужно и можно идти в террор только тогда, когда человек психологически не может в него не идти; что, наконец, я вижу, что он, Авдеев, еще не примирился с необходимостью умереть.

Он грустно покачал головой:

— Да, вы правы.

Вскоре выяснилось, что в Глазго можно посадить постороннего человека на корабль. Было, однако, неизвестно, когда именно должен состояться смотр, и поэтому возникло новое затруднение. В рулевом отсеке можно было, как я уже говорил, с большим трудом прожить несколько дней, о неделях нельзя было и думать. Между тем, человек, садясь в Глазго на «Рюрик», должен был совершить весь морской переход от Глазго до Кронштадта и затем ждать в Кронштадте неопределенное время смотра. Очевидно, такая задача была не по силам даже самому здоровому человеку. Допустив даже, что спрятанный человек не умрет, он, во всяком случае, ослабел бы настолько, что едва ли бы нашел в себе силы с пудовой бомбой подняться по перпендикулярной лестнице в несколько этажей.

Мы стали думать, возможно ли посадить человека в России, на рейде в Кронштадте. Костенко познакомил нас со своим товарищем, тоже офицером, членом партии, корабельным инженером А. И. Прохоровым. Прохоров должен был на корабле идти в Россию и присутствовать, как строитель, на смотре. Костенко уезжал в отпуск. Прохоров прямо сказал, что не чувствует себя в силах лично убить царя, но готов помочь нам, чем может. Его прямота делала ему честь, и на большее, чем его помощь, мы и рассчитывать не могли. Его указания были для нас очень ценны: он вместе с Костенко еще раз проверил отсек руля и снова

подтвердил нам, что там можно жить. Относительно же посадки на «Рюрик» в Кронштадте он, как и Костенко, высказался отрицательно.

Рейд охранялся по уставу миноносцами. Через их сеть можно было, конечно, проскользнуть при удаче, но едва ли было возможно обмануть бдительность вахты на «Рюрике». Авдеев брался помочь влезть на судно, но и он находил, что попытка тайком, ночью, подняться на военный корабль и пройти в румпельное отделение — не может иметь успеха. Мы наталкивались на препятствие, которого не могли устранить.

В конце июня в Глазго приехал Азеф. Он хотел лично выяснить подробности покушения. Вместе с Костенко он, с разрешения командира судна, не подозревавшего, конечно, с кем он имеет дело, посетил «Рюрик» и сам осмотрел отсек. Он осмотрел и все неровности борта, дающие возможность подняться на корабль. Он пришел к тому же, что и мы, к заключению: в отсеке можно было жить, но невозможно было тайно подняться на «Рюрик».

Авдеев ревностно следил за результатами наших изысканий.

Однажды, после проверки, он тайком убежал с корабля и явился к нам.

В нашей комнате он увидел новое лицо, незнакомого ему человека, Азефа. Посмотрев на него, он вдруг нахмурился и замолчал.

Я отвел его в другую комнату:

— Что с вами?

— Кто этот толстый?

— Это товарищ.

Авдеев нахмурился еще больше.

— Какое неприятное лицо.

Тогда я сказал:

— Если вы верите мне, — верьте ему. Он мой товарищ и друг.

Авдеев протянул мне руку.

— Не сердитесь... Я не хотел вас обидеть, но он не понравился мне.

Авдеев пришел с готовым решением. Он сказал при Азефе и Карповиче:

— Я сам, один, на смотру убью царя. Я чувствую, что должен это сделать, и сделаю.

Я опять убеждал его отказаться от его намерения. Я видел, что он говорит искренно и не сомневался, что он верит сам своей готовности умереть и убить, но я видел также, что перед ним, матросом, скованным дисциплиной, стала непосильная для него задача: в один месяц пережить все колебания и решиться на то, на что каждый из нас решался после долгих, иногда многолетних сомнений. Я был убежден, что он не готов для террора, и что царь на «Рюрике» не будет убит. Так же думали Карпович и Азеф.

Авдеев твердо стоял на своем. Он просил дать ему револьвер. Мы не считали возможным отказать ему в этой просьбе. Он просил свидания в Кронштадте. Карпович решил ехать в Кронштадт. Азеф уехал на юг Франции, я вернулся в Париж.

Из Гринока, в Шотландии, куда «Рюрик» ушел, Авдеев писал мне:

«Я только теперь начал понимать, что такое я. Я никогда не был и никогда не буду работником-пропагандистом... Я теперь глубоко, серьезно подумавши, представляю себе выполнение порученной мне задачи. Вот это, действительно, радость... Я говорю, что я пушка, которую заряди, да выпали на нее, а на корабле мне говорят: иди, трепли языком... Приходится, в силу необходимости, покориться. А как покориться? Я чувствую, что я закалил пружину и теперь эту пружину приходится сильно гнуть, боюсь, как бы не сломать ее... А может быть... Нет, одна минута разрешит более целых месяцев. Тогда лучше видно...» (13 августа 1908 г.).

Карпович оставался еще несколько дней в Глазго. Кроме Авдеева еще один матрос, вестовой Каптелович, лично мне почти неизвестный, пожелал принять участие в цареубийстве. Карпович дал револьвер и ему. В октябре, в Кронштадте состоялся высочайший смотр «Рюрику». И Авдеев, и Каптелович встретились с царем лицом к лицу. Ни один из них не выстрелил. Я считаю несправедливым заподозрить Авдеева в недостатке мужества. Слишком быстро и слишком напряженно

пришлось переживать ему все колебания террора. Нет ничего удивительного, что «пружина» сломалась.

Х

Судьба товарищей, с которыми я расстался осенью 1906 г., была следующая:

1) Борис Успенский и Мария Худатова отошли от террористической работы и живут под своими именами в России.

2) Владимир Вноровский и жена его Маргарита Грунди, после неудачного покушения на ген[ерала] Каульбарса, выехали за границу.

3) Валентина Колосова-Попова также выехала за границу.

4) Борис Горинсон, после неудачного покушения на ген[ерала] Каульбарса, принимал участие в провинциальных террористических попытках. Он арестован летом 1908 г. в Москве.

5) Павла Левинсон, вернувшись из Одессы, работала в боевой организации, восстановленной Азефом. В настоящее время она находится за границей.

6) Всеволод Смирнов занялся общепартийной работой. Проживает в России под чужим именем.

7) Ксения Зильберберг, приняв участие в покушениях на ген[ерала] Лауница, вел[икого] кн[язя] Николая

Николаевича и на царя, после арестов 31 марта 1907 г. выехала за границу.

8) Александр Фельдман, приняв участие в покушении на Столыпина в 1907 г., выехал за границу.

9) Рашель Вульфовна (Владимировна) Лурье родилась в 1884 г. в состоятельной еврейской купеческой семье. Она воспитывалась в ковенской гимназии, сперва была членом еврейского «Бунда» и в партию социалистов-революционеров вступила в 1904 г. Рашель Лурье застрелилась в Париже 1 января (н[ового] ст[иля]) 1908 г.

10) Александра Севастьянова в ноябре 1907 года бросила бомбу в Москве в московского генерал-губернатора Гершельмана. Ее судили военно-окружным судом и приговорили к смертной казни. Она повешена [\[6\]](#).

11) Петр Иванов застрелил в г. Пскове 28 августа 1907 г. начальника алгачинской каторжной тюрьмы Бородулина. Его судили военно-окружным судом и приговорили к смертной казни. Он повешен в Пскове. Биография его мне неизвестна.

12) Борис Николаевич Никитенко, перевозивший меня на боте из Севастополя в Румынию, в конце 1906 года приехал в Петербург и вошел в боевую организацию Зильберберга. После ареста последнего, оставшиеся члены организации делали приготовления к покушению на царя. Никитенко, в числе других

товарищей, был арестован 31 марта 1907 г. Его судили в Петербурге военно-окружным судом вместе с Наумовым, Синявским и др. и приговорили к смерти. Он повешен 21 августа того же года, на Лисьем Носу, под Петербургом. Его биография мне неизвестна.

13) Карл Иванович Штальберг, укрывавший меня после побега на своем хуторе, был арестован в Севастополе в 1907 г. Он скончался в тюрьме.

14) «Адмирал» застрелил в Петербурге — на открытии клиники кожных болезней — петербургского градоначальника ген[ерала] Лауница 23 декабря 1906 года. После убийства он тут же застрелился.

В N 9 газеты «Знамя Труда» М. А. Спиридонова, товарищ «Адмирала» по Тамбову, посвящает ему следующие строки:

«...В черном фраке, в безукоризненной перчатке на левой руке стоял рядом с Лауницем молодой, белокурый денди, спокойный, светский, богомольный... Он мог бы застрелить тут же, в церкви, того, кого он искал в течение целого года, но... но „Адмирал“ остался верен себе. С деликатностью чуткого человека, который не войдет в обуви в мечеть, не засмеется при виде маленького, вымазанного кашей бурхана, он выждал и убил Лауница на площадке. И долго гадали русские Лекоки, разглядывая мозолистую руку, сразившую царского опричника, долго старались определить, к какому сословию принадлежит ее обладатель. Как удивились бы они,

узнавши, что этот изящный франтик незадолго до акта служил в извозничьей артели, чистил навоз, запрягал лошадей... Как удивились бы они, узнавши, что этот извозчик с таким простодушным, румяным лицом, был интеллигентом в лучшем значении этого слова».

15) Василий Митрофанович Сулятицкий находился вместе с «Адмиралом» на открытии вышеупомянутой клиники. Он должен был застрелить Столыпина, приезд которого ожидался. Столыпин не приехал. Сулятицкий арестован на улице 9 февраля 1907 года. Его судили военно-окружным судом и приговорили к смерти. Он повешен 16 июля того же года в стенах Петропавловской крепости под именем Гронского.

Сулятицкий — сын священника. Он родился в 1885 году и, по окончании курса в полтавской духовной семинарии, поступил вольноопределяющимся в 57 пехотный Литовский полк.

16) Лев Иванович Зильберберг с осени 1906 года стал во главе Центрального летучего боевого отряда, который совершил в лице «Адмирала» убийство генерала Лауница. Под руководством Зильберберга готовилось также покушение на Столыпина и на взрыв поезда, в котором должен был выехать в Царское Село главнокомандующий войсками гвардии и петербургского военного округа вел[икий] кн[язь] Николай Николаевич. Последнее покушение состоялось

13 февраля 1907 года, но окончилось неудачей: исполнитель был замечен охраной на вокзале.

Зильберберг был арестован за несколько дней до этого покушения — 9 февраля 1907 года. Родился Зильберберг 26 сентября 1880 года в г. Елисаветграде. Учился сначала в местной гимназии, потом в 3 московской, по окончании курса в которой поступил в 1899 г. на физико-математический факультет московского университета (по математическому отделению). В феврале 1902 года был арестован в Севастополе по студенческому делу и в административном порядке сослан на четыре года в Олекминск, Якутской области. По общестуденческой амнистии, через год был возвращен в Европейскую Россию и отбывал гласный надзор в Твери. В Твери примкнул к партии социалистов-революционеров и, организовав несколько рабочих и крестьянских кружков, уехал в августе 1903 года за границу. На съезде заграничных организаций партии (1904 г.) был представителем от льежской группы с.-р. Весной 1905 года вступил в боевую организацию. Судили Зильберберга вместе с Сулятицким в Петербурге военно-окружным судом. Он повешен тоже вместе с Сулятицким 16 июля 1907 года в стенах Петропавловской крепости под именем Владимира Штифтаря.

Обвинительный акт сообщает следующие подробности по делу Зильберберга и Сулятицкого.

«21 декабря 1906 г. в 12 часов дня в помещении института экспериментальной медицины был убит с.-петербургский градоначальник, свиты его величества генерал-майор фон-дер-Лауниц.

Убийство это, как видно из предварительного следствия, произошло при следующих обстоятельствах: 21 декабря предстояло освящение и открытие вновь построенных в районе института, на средства ст[атского] сов[етника] Н. К. Синягина, клиники кожных болезней и домовая церкви. На это торжество директором института, ст[атским] сов[етником] Подвысоцким, было приглашено около 200 человек, причем всем приглашенным заблаговременно были разосланы частью именные, а частью безымянные пригласительные билеты. Съезд приглашенных начался в десятом часу утра. В 12 часов дня, по окончании обедни, все гости вышли из церкви, находящейся в четвертом этаже, и направились в третий этаж, к завтраку. Впереди всех шли певчие, за ними ее императорское высочество принцесса Ольденбургская со статским советником Синягиным, затем его высочество принц Александр Петрович Ольденбургский с градоначальником, генерал-майором фон-дер-Лауницем, за ними адъютант принца капитан Воршев и камергер Вуич, а за ними остальные приглашенные. Когда они проходили на верхней площадке лестницы, то здесь стоял какой-то молодой человек в безукоризненной фракной паре, которого все признали за одного из приглашенных. Лишь только капитан Воршев и камергер Вуич миновали этого молодого человека, как он внезапно выхватил револьвер и, из-за спины их,

произвел один за другим три выстрела в генерала Лаукица, который после третьего выстрела упал и, спустя несколько минут, скончался. Между тем капитан Воршев и камергер Вуич при звуке выстрелов обернулись назад, господин Вуич схватил убийцу за горло, а капитан Воршев, выхватив пашку, стал рубить ею убийцу. В то же время местный полицейский пристав, подполковник Корчак, видя, что убийца продолжает стрелять, схватил правой рукой правую руку убийцы и поднял ее кверху, и вместе с тем из собственного револьвера два раза выстрелил в убийцу, который после второго выстрела весь осел и тут же скончался.

По осмотре трупа убийцы оказалось, что ему нанесено было семь шашечных ран в голову, непроникающих далее кости, и три огнестрельных

— одна в грудь, причем пуля пробила легкое, сердечную сорочку, легочную артерию, седьмое ребро и остановилась в подмышечной области; другая

— в левую под чревную область, причем пуля пробила тонкие кишки, левую подвздошную вену и край тазовой кости, остановилась в мягких тканях; третья — сзади правого уха, причем пуля, пробив кости черепа и мозг, остановилась под кожей, несколько выше и сзади левого уха. По сличении вынутых из тела пуль с теми, коими были заряжены револьверы убийцы и подполковника Корчака, оказалось, что раны в грудь и живот были нанесены из револьвера подполковника, а рана в голову — из револьвера самого

убийцы. Как видно из протоколов осмотра трупа, убийца был одет в совершенно новое, без меток, белье, совершенно новую фракную пару и ботинки; в руках у него находился пистолет браунинг с отвинченными щеками рукоятки, причем в обойме, вложенной в пистолет, осталось два патрона с распиленными крестообразно оболочками пуль; в карманах убийцы были найдены: запасная обойма с пулями, оболочки коих оказались с отпиленными головками, около 49 рублей деньгами, кошелек и безымянный пригласительный билет на торжество освящения церкви.

Никаких указаний на личность убийцы при трупе найдено не было. Несмотря на все принятые меры, ни полиции, ни судебному следователю не удалось установить ни личности убийцы, ни того обстоятельства, откуда и каким образом он мог достать пригласительный билет на освящение. Единственное указание на личность убийцы дал осужденный ныне за преступление, предусмотренное 126 ст. уголовного уложения, Али-Кули-Бек-Шах-Тахтинский, который заявил, что это член боевой дружины социалистов-революционеров, которого Шах-Тахтинский два раза видел на собрании, но имени и фамилии его не знает. Точно также не удалось выяснить, один ли прибыл убийца в клинику кожных болезней или вместе с соучастниками; только легковой извозчик Петр Трофимов показал, что 21 декабря, в 11 часу, двое штатских хотели его нанять с Исаакиевской площади на Лопухинскую улицу, но он уже был занят, и наружности нанимавших припомнить не может».

Что же касается причины убийства генерала фон-дер-Лауница, то таковая явствует из следующего письма, полученного редакцией газеты «Россия» и скрепленного печатью центрального комитета партии социалистов-революционеров:

«В редакцию газеты. ЦК заявляет, что смертный приговор над петербургским градоначальником фон-дер-Лауницем 21 декабря приведен в исполнение членом центрального боевого отряда п. с.-р. 24 декабря 1906 г.»

Далее говорится, что в феврале 1907 г. швейцар и горничная гостиницы на Иматре указали охранному отделению на двух лиц, встречавшихся в гостинице с молодым человеком, похожим на убийцу Лауница.

Задержанные оказались именующими себя Тройским и Штифтарем.

Привлеченные к следствию, в качестве обвиняемых в принадлежности к сообществу, составившемуся с целью ниспровержения существующего государственного строя и имевшему в своем распоряжении средства для взрыва, и в участии в убийстве петербургского градоначальника ген[ерала] Лауница, — именующие себя мещанином Тройским и преподавателем древних языков Штифтарем, не признавая себя виновными и отказываясь от дачи каких-либо объяснений по делу, вместе с тем заявили, что найденные при них паспортные книжки — чужие, и что

своего настоящего звания, имен и фамилий они обнаруживать не желают, добавив, что они принадлежат к партии социалистов-революционеров.

Вот как описывает очевидец последние минуты Сулятицкого и Зильберберга:

«Мужество и спокойствие перед смертью поражало людей, остающихся жить, — случайных свидетелей... Один из последних рыдал, как ребенок, приговоренный к смерти утешал его... На смерть он смотрел, как на исполнение долга. — „Я умираю, глубоко сознавая, что должен умереть... В прошлом много мною пережито прекрасного, счастливого, чудесного!“ — С восторгом говорил о прошлом, вспоминал о славно погибших друзьях. „Мы все умираем по одной мерке“. И ни слова о своем будущем... Не жалел ни о чем хорошем, что могло бы дать будущее, если бы не смерть... Смех беспечный, шутки, остроты своих друзей, обреченных на смерть, заставляли слушателя преступно забывать о неизбежной смерти, уготованной палачами. С детской радостью передавал он рассказ об извозчике, с которым он жил на постоялом дворе (играя роль извозчика, не зная Питера, возя седока часто не туда, куда нужно, он не раз бывал ругаем седоками). „Смотрю издали на тебя — говорил извозчик, — будто ты барин, а вот сейчас говорю с тобой и гляжу тебе в глаза и вижу — ты ведь наш!“ Его радовало искреннее признание мужика в нем друга, брата своего. При воспоминании о жене, о матери, чудные ясные глаза его затуманивались подчас слезой... Отходил прочь... Минута

тяжелого молчания... Вот и справился с душевным волнением: снова спокойное, ясное лицо. Вопросы все покончены. Сомнений и сожалений не было никаких, даже о том, что его ждет смерть... Одна лишь мысль сверлит его мозг, — как он перенесет прикосновение палача к его телу! Бедная мать, страдая, думала о том же. Он вспомнил дорогого товарища, погибшего от своей руки, сразив врага, ибо был не в силах допустить чьего-либо прикосновения — насилия над собой. Теперь ему была понятна решимость товарища покончить с собой!.. Но зато как он умел экономить свои душевные силы! Он спал днем, бодрствовал ночью, чтобы не быть застигнутым врасплох врагами, чтобы со сна, как поведут на казнь, не проявить и тени слабости... Все время, до самого последнего момента жизни своей он работал усердно над решением математической задачи — деление треугольника на три равные части, решив которую, он просил передать ее в университет. Он имел силу переписать свой труд после приговора, может, даже, за несколько часов до казни... После приговора, прочитанного им, два друга, движимые одним чувством, одновременно встали и поцеловались, как бы навсегда прощаясь и благодаря друг друга за все...

„Не выношу нервных людей! Они способны на подвиги, но пусть умирают, совершив их, в живых оставаться не должны — не хватит душевных сил надолго“. „Мы из мертвецкой“, — говорил он о себе. Неоднократно возвращался в разговорах к проекту боевой организации захватывать периферию...

Вот все, что угнетенный, подавленный мозг случайного свидетеля мог передать о последних минутах дорогого, погибшего так рано, но славно, незабвенного товарища».

В своем последнем письме к матери Зильберберг писал:

«Мама! Раньше я тебя только любил, потом (благодаря, главным образом, К.) научился уважать. С тех пор это уважение росло. Оно мне порукой, что ты твердо перенесешь все, что бы со мной ни случилось. Да, ведь, с тобой большая часть моей жизни! Вы (ты и К.), женщины-матери — единственные люди, к которым у меня соединяется чувство любви и уважения Всем хорошим, что во мне, я обязан вам. С великим любящим и мужественным сердцем, твердо переносящим физические страдания и духовные потрясения, вы вселили во мне святое чувство к женщине-человеку. Спасибо вам!

Надо кончать, — трудно писать, — смотрят. Целую тебя, дорогая мама, и отца, сестру с мужем и брата, девочек с их отцом; Остальным родным и знакомым (кто интересуется) — привет. Прощай!»

В последнем письме к жене он писал следующее:

«О, жизнь! О, юность! О, любовь!
Любовь мучительная... Вновь
Хочу, хочу предаться вам
Хотя б на миг один... А там
Погасну...

Тургенев.

Я счастлив — ты не здесь. Я счастлив — ты думаешь обо мне. Это мне облегчает последние дни и облегчит конец. Сколько раз я переходил от надежды, что ты свободна, к сомнению в этом! Эти 5 месяцев прошли как миг, а время, которое идет и которое еще осталось, кажется вечностью. И это объясняю себе сравнением с долгим зимним путешествием в закрытом возке. День за днем проходит. Сегодня, как вчера, завтра, как сегодня. И от этого однообразия прошедшие дни не оставляют по себе ничего, и когда оглядываешься назад, кажется, что они не прошли, а пролетели; от этого же отсутствия всяких впечатлений, и от этого же однообразия так томительно тянется время. Я сильно изменился за это время, и с внешней стороны, и духовно. Я оброс бородой (большой, черной бородой) и волосы стали длинные; я их ношу так, как ты любила — вверх. Иногда, в полузабытьи, мне кажется, что милая рука проводит по ним...

Я прочел много книг, хороших книг. Отчасти непосредственно, отчасти косвенно они открыли мне целый мир, новый, неизвестный, прекрасный и величественный. Они осмыслили мою инстинктивную любовь к природе. Они возвысили меня, и я нашел многое, что раньше только чувствовал. Это книги по естественной истории, биологии и физиологии.

Я отказался видеть девочку^[7] ...Для каждого человека есть предел его духовных страданий. Я могу видеть мать. С большим трудом мог бы я видеть тебя, но ее... Это выше моих сил: здесь мой предел. Я не могу. Когда я представляю ее себе,

эту маленькую девочку, которой я не знаю и которую так люблю, представляю, как она будет смотреть и не понимать, что происходит, быть может, даже заплачет, увидев незнакомое лицо... И не могу. Я знаю, что и я, у которого ни один человек, кроме тебя, не видел слез, что и я заплачу, как ребенок, при жандармах...

К предстоящему концу отношусь спокойно, и ни один из всей своры, окружавшей меня эти 5 месяцев, не мог бы сказать, что когда-нибудь заметил во мне хотя малейшее волнение. Посылаю тебе образчики (лучшие) бедной флоры нашего крепостного двора для прогулки: я их засушил для тебя...

Мое последнее и страстное желание, чтобы у нашей девочки была бы мать, с которой она бы жила и росла. А когда она выросла бы, ты ей показала бы те прекрасные страницы твоей тетради и рассказала бы ей, как я любил тебя, как я любил ее, ты сказала бы, что я расстался с самым большим для меня, — с этой великой любовью, с жизнью, — в борьбе против горя и страдания других. Передай мой привет отцу и брату. Я часто жалел, что не пришлось повидаться с ними. Это письмо — последнее.

Прощай, друг, прощай, милая, прощай любимая... Прощай... Это ужасное слово как-будто носится в воздухе и как звук колокола, замирая, становится все тише и тише... Прощай!

8/VII—07 г. Петропавловская крепость».

2. [↑](#) Гоц
3. [↑](#) Чернов
4. [↑](#) Боевая организация
5. [↑](#) Для этой цели (лат.). — Ред.
6. [↑](#)

В № 9 газеты «Знамя Труда» появился следующий се некролог:

«К числу самоотверженных бойцов террора, погибших от руки палача, прибавилось новое имя: в Москве казнена А.Севастьянова, с бомбой в руках вышедшая, по поручению центрального боевого отряда п. с.-р., на московского генерал-губернатора Гершельмана. Покойная стала в ряды партии социалистов-революционеров еще тогда, когда последняя только зарождалась. В конце 1901 года она была уже арестована и сослана на шесть лет в Сибирь, откуда вскоре бежала, и с тех пор неустанно вела трудную, замкнутую от мира, суровую конспиративно-боевую работу. Мир ее праху! Живая душа ее не знала мира, и самая смерть ее является таким же призывом к упорной самоотверженной борьбе, как вся ее жизнь...»

7. [↑](#) дочь Л. И. Зильберберга

Глава III. Разоблачение

предательства Азефа

I

Я ПРИСТУПАЮ теперь к самой печальной странице моих воспоминаний. В мае 1908 года Владимир Львович Бурцев, редактор журнала «Былое», заявил центральному комитету, что имеет основание подозревать Азефа в провокации.

Такое же заявление, по его словам, было им сделано еще осенью 1907 года П. П. Крафту и членам северного летучего боевого отряда Карлу Траубергу и Кальвино-Лебединцеву.

Одновременно с этим, Бурцев сообщил о своих подозрениях еще нескольким товарищам, — членам партии социалистов-революционеров.

Об Азефе уже давно ходили недобрые слухи.

Еще в 1902 г., когда Азеф работал в Петербурге, партийный пропагандист студент Крестьянинов обвинил его в провокации. Обвинение это было рассмотрено судом чести, членами которого были писатели Пешехонов, Анненский и Гуковский. Суд признал обвинение несостоятельным и отпустил Азефа с извинениями.

Слухи не прекратились. В августе 1905 г. в центральный комитет было доставлено упомянутое уже мною однажды анонимное письмо. Оно содержало указание на провокаторскую роль Татарова и Азефа.

Вот это письмо:

«Тов[арищ]. Партии грозит погром.

Ее предают два серьезных шпиона. Один из них бывш[ий] ссыльн[ый] некий Т.^[1], весной лишь вернулся, кажется, из Иркутска, втерся в полное доверие к Тютчеву, провалил дело Иваницкой, Бар., указал, кроме того, Фрелих, Николаева, Фейта, Старынкевича, Лионовича, Сухомлина, много Других, беглую каторжанку Акимову, за которой потом следили в Одессе, на Кавказе, в Нижнем, Москве, Питере (скоро, наверное, возьмут); другой шпион недавно прибыл из-за границы, какой-то инженер Азиев, еврей, называется и Валуйский; этот шпион выдал съезд, происходивший в Нижнем, покушение на тамошнего губернатора; Конопляникову в Москве (мастерская), Вединяпина (привез динамит), Ломова в Самаре (военный), нелегального Чередина

в Киеве, бабушку (укрывается у Ракитниковых в Самаре)... Много жертв намечено предателями. Вы их обоих должны знать. Поэтому мы обращаемся к вам. Как честный человек и революционер, исполните (но пунктуально: надо помнить, что не все шпионы известны и что многого мы еще не знаем) следующее. Письмо это немедленно уничтожьте, не делайте из него копий и выписок. О получении его никому не говорите, а усвойте основательно содержание его и посвятите в эту тайну, придумав объяснение того, как вы ее узнали, только: или Брешковскую, или Потапова (доктор в Москве), или Майкова (там же) или Прибылева, если он уедет из Питера, где около него трутся тоже какие-то шпионы. Переговорите с кем-нибудь из них лично (письменных сношений по этому делу не должно быть совсем). Пусть тот действует уже от себя, не называя вас и не говоря того, что сведения эти получены из Питера, Надо, не разглашая секрета, поспешить распорядиться: все, о ком знают предатели, будут настороже, а также и те, кто с ними близок по делу. Нелегальные должны постараться избавиться от слежки и не показываться в места, где они раньше бывали. Технику следует переменить сейчас же, поручив ее новым людям».

Осенью 1907 года центральным комитетом было получено из Саратова от партийных товарищей другое письмо, обвинявшее Азефа. Вот текст этого письма:

«Из источника компетентного нам сообщили следующее: В августе 1905 года один из виднейших членов партии с.-р. состоял в сношениях с департаментом полиции, получая от

департамента определенное жалованье. Лицо это то самое, которое приезжало в Саратов для участия в бывших здесь совещаниях некоторых крупных партийных работников.

О том, что эти совещания должны состояться в Саратове, местное охранное отделение знало заблаговременно и даже получило сообщение, что на совещаниях должен обсуждаться вопрос об организации крестьянских дружин и братств. Имена участников также были охранному отделению известны, а потому за всеми участниками совещания была учреждена слежка. Последнею руководил, в виду особо важного значения, которое приписывалось охраной совещаниям, специально командированный департаментом ветеран-сыщик ст[атский] сов[етник] Медников. Этот субъект, хотя и достиг высокого чина, однако остался во всех своих привычках простым филером и свободное время проводил не с офицерами, а со старшим агентом местной охраны и с письмоводителем. Им-то Медников и сообщил, что среди приехавших в Саратов на съезд социалистов-революционеров находится лицо, состоящее у департамента полиции на жалованья, — получает 600 рублей в месяц. Охранники сильно заинтересовались получателем такого большого жалованья и ходили смотреть его в сад Очкина (увеселительное место). Он оказался очень солидным человеком, прекрасно одет, с видом богатого коммерсанта или вообще человека больших средств.

Стоял он в „Северной гостинице“ (угол Московской и Александровской, д[ом] о[бщест]ва взаимного кредита) и был

прописан под именем Сергея Мелитоновича (фамилия была нам „источником“ сообщена, но мы ее, к сожалению, забыли).

„Сергей Мелитонович“, как лицо, „дающее сведения“, был окружен особым надзором для контроля правильности его показаний: в Саратов его провожали из Нижнего через Москву два особых агента, звавших его в своих дневниках кличкой „Филипповский“.

Предполагался ли арест участников совещания или нет, неизвестно, но только участники были предупреждены, что за ними следят, и они тотчас же разъехались. Выехал из Саратова и Филипповский (назовем и мы его этой кличкой). Выехал он по железной дороге 19 августа, в 5 часов дня. Охрана не знала об отъезде революционеров и продолжала следить. 21 августа ночью (11 часов) в охрану была прислана из департамента телеграмма с приказом прекратить наблюдение за отъездом. Телеграмма указывала, что участники съезда предупреждены были писарями охранного отделения. Такого рода уведомление могло быть сделано только на основании сведений, полученных от кого-либо из участников съезда, и заставило предполагать, что сведения эти дал департаменту Филипповский, уехавший из Саратова в 5 или 6 часов вечера 19 августа и успевший доехать до Петербурга к ночи 21-го. Незадолго до открытия первой Думы, т. е. в апреле 1906 года, в Саратов возвратился начальник саратовского охранного отделения из Петербурга, Федоров (убитый позднее при взрыве на Аптекарском острове), и рассказывал, что в момент его отъезда из Петербурга тамошнюю охрану опечаливал

прискорбный факт: благодаря антагонизму между агентами департамента полиции и агентами с[анкт]п[етер]б[ургской] охраны, был арестован Филипповский, имевший, по словам Федорова, значение не меньшее, чем Дегаев. Филипповский участвовал вместе с другими террористами в слежке, организованной революционерами за высокопоставленными лицами. Агенты с[анкт]п[етер]б[ургской] охраны получили распоряжение арестовать террористов, занятых слежкой, и хотя они отлично знали, что Филипповский не подлежит аресту, но в пику агентам департамента прикинулись незнающими об этом и арестовали Филипповского, ухитрившись при этом привлечь к участию в аресте и наружную полицию. Последнее было сделано, чтобы затруднить освобождение Филипповского, так как, раз в его аресте участвует наружная полиция, т. е. ведомство, постороннее охране, вообще лишние люди, то уж трудно покончить дело келейно, не обнаружив истинной роли Филипповского. Когда Федоров выезжал из Петербурга, то еще не был придуман способ выпустить Филипповского, не возбудив у революционеров подозрений. Федоров сообщил при этом, что в этот раз едва не был арестован хорошо известный саратовским филерам Зот Сергеевич Сазонов, также участвовавший в слежке, переодетый извозчиком. Он и еще одно лицо успели скрыться».

Азеф состоял членом партии с самого ее основания. Он знал о покушении на харьковского губернатора кн[язя] Оболенского (1902 г.) и принимал участие в приготовлениях к убийству уфимского губернатора

Богдановича (1903 г.). Он руководил с осени 1903 года боевой организацией и в равной степени участвовал в следующих террористических актах: в убийстве министра внутренних дел Плеве, в убийстве велик[ого] князя Сергея Александровича, в покушении на петербургского ген[ерал]-губ[ернатора] генерала Трепова, в покушении на киевского ген[ерал]-губ[ернатора] ген[ерала] Клейгельса, в покушении на нижегородского ген[ерал]-губ[ернатора] барона Унтербергера, в покушении на московского ген[ерал]-губ[ернатора] адм[ирала] Дубасова, в покушении на офицеров Семеновского полка ген[ерала] Мина и полк[овника] Римана, в покушении на заведующего политическим розыском Рачковского, в убийстве Георгия Гапона, в покушении на командира черноморского флота адм[ирала] Чухнина, в покушении на премьер-министра Столыпина и в трех покушениях на царя. Кроме того, он заранее знал об убийстве саратовского ген[ерал]-губ[ернатора] Сахарова, об убийстве петербургского градоначальника ген[ерала] фон-дер-Лауница, об убийстве главного военного прокурора ген[ерала] Павлова, о покушении на великого князя Николая Николаевича, о покушении на московского ген[ерал]-губ[ернатора] Гершельмана и др.

В виду таких фактов в биографии Азефа, центральный комитет не обращал внимания на указанные слухи и цитированные письма: он склонен был усматривать в них интригу полиции. Полиции было

выгодно, конечно, набросить тень на одного из вождей революции и тем лишить его возможности продолжать свою деятельность. Такого мнения держалось большинство товарищей. Меньшинство, не веря в полицейскую интригу, тем не менее, далеко было от подозрения Азефа в провокации. К последним принадлежал и я.

Я был связан с Азефом дружбой. Долговременная совместная террористическая работа сблизила нас. Некоторые странности его характера (например, случай с Колосовой-Поповой, случай с Сулятицким) я объяснял недостатком душевной чуткости и тою твердостью, которая в известных пределах является долгом человека, несущего ответственность за боевую организацию. Я мирился с этими странностями. Я знал Азефа за человека большой воли, сильного практического ума и крупного организаторского таланта. Я видел его на работе. Я видел его неуклонную последовательность в революционном действии, его преданность революции, его спокойное мужество террориста, наконец, его тщательно скрываемую нежность к семье. В моих глазах он был даровитым и опытным революционером и твердым и решительным человеком. Это мнение в общих чертах разделялось всеми товарищами, работавшими с ним. Так думали люди, по характеру и темпераменту очень разные, доверчивые и скептики, старые революционеры и юноши. Так думали Михаил Гоц, Гершуни, Карпович,

Чернов, Натансон, Каляев, Швейцер, Сазонов, Вноровский, Абрам Гоц, «Адмирал», Зильберберг, Сулятицкий, Брешковская, Беневская, Бриллиант, Школьник, Севастьянова, Лурье и многие другие. Быть может, не все одинаково любили его, но все относились к нему с одинаковым уважением. Было невероятно, что все эти товарищи могли ошибиться.

Ни неясные слухи, ни анонимное письмо 1905 г. (о письме 1907 г. я узнал только во время суда над Бурцевым), ни указания Бурцева не заронили во мне и тени сомнения в честности Азефа. Я не знал, чем объяснить появление этих слухов и указаний, но моя любовь и уважение к Азефу ими поколеблены не были.

II

Центральный комитет, узнав, что Бурцев сообщил о своих подозрениях некоторым партийным товарищам, решил призвать Бурцева к суду чести. Бурцеву было предъявлено обвинение в том, что он: во-первых, распространяет неосновательные и позорящие одного из членов центрального комитета слухи, чем наносит партии вред, и, во-вторых, — распространяет их без ведома и помимо центрального комитета, чем лишает возможности центральный комитет эти слухи опровергнуть. Судьями были избраны Г. А. Лопатин, кн[язь] Кропоткин и В. Н. Фигнер. Решение это

состоялось в Лондоне, летом 1908 года, во время заседания партийной конференции.

Я на этой конференции не присутствовал и не принимал участия в решении этого вопроса. Узнав же о таком решении, я сделал все, от себя зависящее, чтобы оно не было приведено в исполнение. Я сделал это по следующим причинам.

Во-первых, мне казалось, что привлечением Бурцева к суду центральный комитет не только не препятствует распространению позорящих Азефа слухов, но, наоборот, способствует им: суд над Бурцевым должен был возбудить и в действительности возбудил много нежелательных разговоров.

Во-вторых, мне казалось, что позиция центрального комитета на суде крайне невыгодна. Уже не говоря о том, что весьма трудно опровергать слухи, идущие из полицейского источника, — а только этим располагал Бурцев, — даже обвинительный приговор Бурцеву еще не снимал подозрений с Азефа: Бурцев мог распространять неосновательные слухи, но слухи все-таки оставались. Суд, даже в лучшем для центрального комитета исходе, не достигал желательной для партии цели.

Наконец, и это самое главное, — мне казалось, что самое привлечение Бурцева к суду несовместимо с достоинством боевой организации. Подозрения, падавшие на Азефа, оскорбляли не только его. Они являлись оскорблением для всех террористов. На такое

оскорбление нельзя было отвечать словами. Единственным, по моему мнению, достойным ответом была бы совместная с Азефом террористическая работа всех членов организации и соответствующее об этом заявление. Только такая работа могла доказать полное доверие организации к своему руководителю и презрение к оскорблению, столь же незаслуженному, сколь тяжкому.

Я пошел к В. М. Чернову, чтобы попытаться склонить его к моему мнению: к оскорбительности для боевой организации и невыгодности для партии суда над Бурцевым. Чернов сказал:

— Оскорбления для боевой организации я не вижу — ведь судят не Азефа, а Бурцева.

Я возразил, что самый факт суда есть оскорбление — боевая организация не может унижаться до разговоров, когда вопрос идет о ее чести. Я сказал также, что суд невыгоден для центрального комитета.

— Почему? — сказал Чернов. — Бурцев будет раздавлен. Ему придется каяться на суде.

Тогда я с тою же целью пошел к М. А. Натансону. Я имел у него не больше успеха. Оставалось попытаться подействовать на самого Азефа.

Он приехал в Париж, утомленный конференцией и встревоженный подозрениями. Но, по внешности равнодушный, он мне сказал при встрече:

— Как это гадко... Ты слышал, что говорит Бурцев? Ты слышал, что будет суд?

Я повторил ему на это в ответ то, что говорил Чернову и Натансону. Я просил его стать на точку зрения боевой организации и отказаться от суда над Бурцевым. Я сказал также, что знаю, как ему тяжело жить при таких подозрениях, но что подозрения эти словами не смоются, а смоются только делом.

— Так ты думаешь, — спросил он, — нужно ехать в Россию?

— Конечно.

— И ты поедешь со мной?

Я сказал, что остаюсь при своем прежнем мнении о причинах бессилия боевой организации, но в данном случае вопрос касается чести террора, и даже если попытка будет заведомо безнадежной я и тогда считаю своим долгом ехать в Россию, ибо вижу в такой поездке единственную возможность защищать организацию, Азефа и мою честь. Я прибавил, что я убежден, что товарищи-террористы согласятся со мной, что же касается меня лично, то я готов заявить печатно, что продолжаю с ним, Азефом, работать.

Азеф сказал:

— Мы поедem и будем все арестованы. Что тогда? Я ответил, что я предвижу такой конец, но что именно процесс и несколько казней реабилитируют честь боевой организации.

— А если меня случайно не арестуют? — спросил Азеф.

— Тогда мы заявим на суде, что вполне тебе верим. Азеф задумался.

— Нет, — сказал он, — этого мало. Скажут: Фигнер верила же Дегаеву... Нужен суд надо мной. Только на таком суде вскроется нелепость всех этих подозрений.

Я сказал:

— Я ничего не хочу в этом деле предпринимать без твоего согласия. Если ты не принимаешь моего предложения, то позволь, по крайней мере, мне попытаться убедить Бурцева отказаться от суда. Он не знает тебя и твоей биографии. Когда я ему ее расскажу, я убежден, — он откажется от своих подозрений.

Азеф сказал:

— Против этого я ничего не имею.

Я мало верил, что сумею убедить Бурцева: Бурцев слишком решительно и определенно обвинял Азефа, но я считал своим долгом сделать еще и эту попытку.

Азеф уехал на юг Франции. Я предложил Бурцеву ознакомить меня с содержанием обвинений и выслушать биографию Азефа Бурцев охотно согласился на это. Он рассказал мне следующее:

В 1906 году к нему в Петербурге, в контору редакции журнала «Былое», явился чиновник особых поручений при варшавском охранном отделении М. Е. Бакай,

упомянутый мною выше в связи с убийством Татарова. Бакай сперва предложил Бурцеву некоторые секретные документы для напечатания, а затем указал ему приметы и имена ряда секретных полицейских сотрудников в польской социалистической партии. Этими разоблачениями Бакай приобрел доверие Бурцева. О партии социалистов-революционеров Бакай сообщил следующее:

"Пользуясь совершенно секретными сведениями департамента полиции, я имею возможность констатировать, что главнейшие обыски и аресты среди революционеров, произведенные в течение последних двух лет, явились почти исключительно результатом «агентурных сведений», т. е. провокации. Аресты Штифтаря, Гронского, участников готовившейся экспроприации у Биржевого моста, аресты в типографии «Мысль» Бенедиктовой и Мамаевой в Кронштадте, участников подготовлявшегося заговора на цареубийство в 1907 году, поголовный арест оппозиционной фракции социал-революционеров в Москве, аресты в Финляндии северной летучки (Карла и др.), а также обнаружение подготовлявшегося покушения на Щегловитова (арест Лебединцева, Распутиной и др.) — все это случилось благодаря провокации, и искать причин этих провалов вне ее бесполезно.

Для наглядности я приведу несколько примеров, где действовала провокация, и что из этого выходило.

Когда Гершуни стал во главе боевой организации, то это тотчас же сделалось известным департаменту полиции; для его ареста напрягали все силы и даже назначили 10-тысячную премию. Когда Гершуни бывал за границей, — это тоже было известно департаменту полиции; его появления в России являлись неожиданными, но передвижения были известны. Объясняется это тем, что он освещался только заграничной секретной агентурой; в России он с провокатурой если сталкивался, то случайно, и жандармы всего позднее узнавали о нем; и несмотря на то, что его лично знали многие филеры, наблюдавшие за ним в свое время в Минске, и что его карточки находились у всех жандармов, — он всегда благополучно ускользал. В конце-концов его арестовали по данным киевской агентуры, которая хотя и не соприкасалась с ним лично, но знала, что он едет из Уфы в Киев. О том, что Гершуни должен был принять участие в покушении на Богдановича, департамент полиции знал, и для его ареста был командирован заведующий наружным наблюдением всей России Медников, но не успел доехать, как убийство совершилось.

О подготовлявшемся покушении на великого князя Сергея Александровича тоже знали. Было известно, что в нем обязательно должен принять участие Савинков. По пути следования князя всегда расставлялись филеры для наблюдения за подозрительными личностями. Однако, несмотря на присутствие филеров, покушение совершилось, и это лишний раз доказывает, что филерское наблюдение без точных данных не способно что-либо сделать. О том, что

московскому охранному отделению было известно о возможном покушении, мне передавал заведующий наружным наблюдением Д.Попов, и это подтверждается тем, что в день убийства или на другой — департамент полиции разослал телеграммы о немедленном аресте Савинкова при каких бы то ни было обстоятельствах, а за его родными, проживавшими в то время в Варшаве, предписал учредить самое строгое наблюдение. Что подобная телеграмма разослана из департамента, а не московским охранным отделением, показывает, что указания исходили от провокатора, имевшего лишь отношение к департаменту полиции или к петербургскому охранному отделению.

Далее, в одном из номеров «Былого» я прочел воспоминания Аргунова, в которых он описывает возникновение «Революционной России» и заканчивает арестом типографии в Томске, где печатался этот журнал. Причину ареста он не указывал и, кажется, даже приблизительно не может догадаться, каким образом последовал провал.

На основании официальных данных (мне в свое время пришлось познакомиться с докладом Зубатова о ликвидации томской типографии) и из рассказов Медникова, Зубатова и филера Дм. Яковлева могу сообщить, что в числе участников возникшей тогда партии с.-р. находился один субъект, по профессии инженер, — он был провокатором, носил псевдоним у охранников «Раскин» и числился при департаменте полиции.

От упомянутого «Раскина» были получены агентурные сведения, что «такого-то числа, такой-то (точно не помню) поедет на юго-восток России по партийным делам, а оттуда, если не заедет в Москву, то направится в Томск, где устраивается нелегальная типография для печатания „Револ[юционной] России“.

„Такой-то“ был взят в наблюдение двумя филерами — Дм. Яковлевым и, кажется, Д.Поповым, — за ними следовали по пятам и дальнейшим за ним наблюдением установили место нахождения типографии, — что уж не так трудно. Следовательно, причину провала надо искать в указаниях провокатора „Раскина“.

Личность этого неизвестного провокатора, скрывавшегося под псевдонимом „Раскин“, крайне интересна, и его обнаружение может послужить поводом к выяснению многих бывших провалов. Впервые о „Раскине“ я услышал в январе 1903 года, узнал, что это — инженер, является главным сотрудником по партии с.-р., числится сотрудником департамента полиции, сообщал сведения только Зубатову или Медкикову и получал по 350 руб. в месяц, что считается очень солидным жалованьем.

Знаю, что „Раскин“ бывал на съездах, разъезжал по России, и когда он куда-нибудь ехал, то за ним всегда следовали филеры летучего отряда и Медников, — настолько его поездки были важны.

„Раскин“ давал ценные сведения о партии с.-р. и находился в курсе дела всех ее революционных предприятий; между прочим, он осветил роль Гершуни, указал на Серафиму Клитчоглу, как на члена боевой организации, проживавшую осенью 1903 г. в Харькове, а потом в Петербурге и находившуюся под неотступным наблюдением; указал на террористический народовольческий кружок Негрескул; по его сведениям велось наблюдение за инженером Витенбергом; осветил связь тверских земцев — Бакунина, Петрункевича и др. — с революционерами и указал, между прочим, на возможность появления у них Брешко-Брешковской, вследствие чего за этими лицами велось неотступное наблюдение филерами летучего отряда. „Раскин“ встречался с Зубатовым и Медниковым на квартире сожительницы последнего Е.Гр. Румянцевой — Преображенская ул., 40, кв. 1. По указанию „Раскина“ было учреждено наблюдение в феврале 1903 г. за дантистом Шнеуром в Лодзи, который там поселился с целью переправы нелегальщины с.-р. из-за границы.

Переехав в Варшаву, я потерял „Раскина“ из виду, но вот однажды, в 1904 году, вдруг является в Варшаву из Петербурга через Москву Медников в сопровождении филеров и заявляет, что на следующий день приезжает сотрудник „Раскин“, который должен иметь серьезное деловое свидание с Н. (один из поднадзорных лиц), и что после свидания наблюдение за Н. будут осуществлять привезенные им филеры. В день посещения „Раскиным“ Н. за ними обоими было учреждено наблюдение с филерами от варшавского

охранного отделения, и вот последние вечером доносили, что в таком-то часу в квартиру наблюдаемого, т. е. Н., пришла „подметка“ (так филеры называют сотрудников-провокаторов), описали его приметы, но, по их словам, „Раскин“, однако, скоро оттуда вышел и пошел под наблюдением одних только „приезжих“, т. е. филеров летучего отряда, которые заявили, что будут сами наблюдать. В тот же день „Раскин“ и Медников уехали, а в Варшаве остались два филера летучки, в том числе А.Тутушкин, ныне служащий артельщиком на юго-западных дорогах. Через несколько дней из департамента полиции последовало распоряжение филеров летучки возвратить, за Н. наблюдать местными силами.

После этого сведения о „Раскине“ у меня теряются, но на основании личных соображений, без фактических данных, что будет единственным предположением во всей этой статье, думаю, что этот таинственный провокатор не исчез со сцены, а только переменял псевдоним и стал называться „Виноградовым“. Со слов многих деятелей департамента полиции, в том числе Гуровича, передаю, что независимо от Татарова, одновременно с ним сотрудничал среди с.-р. и какой-то Виноградов, который в той же, если не в большей степени, способствовал провалу подготовлявшегося покушения на Трепова и Булыгина в марте 1905 года.

Возможно, что я в отождествлении личностей Раскина и Виноградова ошибаюсь, но с.-р. должны позаботиться выяснением, кто мог скрываться под псевдонимом „Раскин“. Если бы „Раскин“ провалился, я бы это знал, ибо провал

provokatora такой величины, какой он являлся для департамента полиции, не мог пройти для меня незамеченным. Остается два предположения: или „Раскин“ ушел от революции в сторону, или же по-прежнему находится в рядах партии с.-р.»

Бурцев из этих указаний Бакая выводил заключение, что Раскин, он же Виноградов, — не кто иной, как Азеф.

В доказательство правильности этого вывода он приводил два соображения.

Во-первых, по сведения Бакая, анонимное письмо 1905 г. писал начальник петербургского охранного отделения полк[овник] Кременецкий. Сделал он это по личной злобе к Рачковскому. Рачковский, пользуясь услугами провокаторов Татарова и Виноградова, произвел 17 марта 1905 г. аресты членов боевой организации помимо и без ведома петербургского охранного отделения, в частности полк[овника] Кременецкого. За эти аресты Рачковский и его сотрудники получили крупную денежную сумму, а Рачковский, кроме того, был назначен заведующим всем политическим розыском империи на правах директора департамента полиции. Кременецкий, разумеется, никакой награды не получил. Это и послужило поводом к озлоблению против Рачковского. Таким образом, этим анонимным письмом устанавливалось тождество Азефа с Виноградовым. Во-вторых, устанавливалось его

тождество с Раскиным. Сообщенный Бакаем факт о посещении некоего Н. Раскиным в Варшаве в 1904 году совпал с посещением этого Н. Азефом.

Бурцеву казалось, что этих совпадений достаточно, чтобы с уверенностью обвинить Азефа в провокации. Остальные приводимые им соображения и факты были несущественны и служить к обвинению Азефа не могли.

Мне не удалось убедить Бурцева в ошибочности его выводов. Зная об этих моих с Бурцевым переговорах, Азеф писал мне:

«...Я не вижу выхода из создавшегося положения, помимо суда. Не совсем понимаю твою мысль, что мы ничего не выиграем. Неужели и после разбора, критики и опровержения „фактов“, Бурцев еще может стоять на своем? Я понимаю, когда у него была отговорка, что его не слушали и не разбирали его материала».

В другом письме он писал:

«Слушаюсь твоего совета не думать об этом грязном деле. Хотя признаюсь, что трудно не думать. Так или иначе, но лезет в голову вся эта грязь...»

В начале октября Бурцев известил меня, что у него есть новое, уличающее Азефа сведение. Он под честным словом просил меня никому об этом сведении

до суда не сообщать. Поэтому центральный комитет досудебного разбирательства с ним ознакомлен не был.

Бывший директор департамента полиции сенатор Алексей Александрович Лопухин, знакомый Бурцева еще по Петербургу, приехал в октябре месяце за границу. Бурцев встретил его в поезде между Кельном и Берлином. Бурцев просил Лопухина сообщить ему, действительно ли Азеф состоял на службе в полиции и не имел ли Лопухин с ним дела в бытность свою директором департамента?

После долгого колебания и настойчивых просьб Бурцева, Лопухин на оба вопроса ответил утвердительно.

Он сообщил, что дважды встречался с Азефом по служебным делам.

Рассказ Лопухина не заставил меня заподозрить Азефа. Мое доверие к последнему было настолько велико, что я бы не поверил даже доносу, написанному его собственной рукой: я бы считал такой донос подделкой. Однако сообщение Лопухина было мне непонятно. Я не видел цели у Лопухина обманывать Бурцева. Я не мог допустить также мысли, что он участвует в полицейской интриге, если такая интрига в действительности существует: бывший директор департамента полиции едва ли мог унизиться до роли мелкого провокатора. Я склонился к мысли, что произошло печальное недоразумение: Лопухин принял за Азефа кого-либо из многочисленных секретных

сотрудников полиции. Как бы то ни было, для меня было ясно, что рассказ Лопухина должен произвести большое впечатление на судей. Я боялся, что суд окончится не полным обвинением Бурцева и даже его оправданием. Такой исход был бы тяжелым ударом для партии и для боевой организации.

Уверенный в честности Азефа, уверенный, что мы имеем дело с недоразумением, я опять стал просить Чернова и Натансона отказаться от суда. Мои настояния не увенчались успехом.

Суд был назначен на конец октября в Париже.

III

Суд чести, как я говорил выше, состоял из избранных центральным комитетом, с согласия Бурцева, Г. А. Лопатина, кн[язя] П. А. Кропоткина и В. Н. Фигнер. Представителями от партии были: В. М. Чернов, М. А. Натансон и я. Суд начался в конце октября и происходил сперва в помещении библиотеки имени Лаврова (50, rue Lhomond), а затем на моей квартире (32, rue La Fontaine). Первые заседания были посвящены докладу Бурцева. Он взял слово для обвинения и повторил то, что рассказал мне в частных беседах со мною: бессилие боевой организации и многочисленные аресты последних лет, в частности, казнь Зильберберга и Сулятиц-кого, аресты 31 марта

1907 г. и аресты членов северного летучего боевого отряда (Карл Трауберг и др.) уже давно убедили его в существовании в центральных учреждениях партии и даже, быть может, в самом центральном комитете, провокатора. Путем исключения, он обратил свое внимание именно на Азефа. Сведения, сообщенные Бакаем ^[2] о Раскине и Виноградове и совпадение этих имен с именем Азефа убедили его, что подозрения его правильны. Сообщение Лопухина рассеяло последнюю тень сомнения.

Доклад Бурцева, видимо, поколебал Кропоткина и Лопатина. Оба они не знали Азефа, соображения же, высказанные Бурцевым, в особенности рассказ Лопухина, действительно, представляли собой значительный материал для обвинения. Фигнер давно знала Азефа и после доклада Бурцева продолжала твердо верить в его невиновность. Натансон, Чернов и я попросили слова для возражения Бурцеву.

Чернов не только защищал Азефа, он обвинял Бурцева. Сначала он шаг за шагом разбивал его доказательства. Он объяснил причины казни Зильберберга и Сулятицкого и указанных обвинением арестов, — по его и нашему общему мнению, незачем было искать этих причин в провокации Азефа: аресты могли произойти естественным путем через наружное наблюдение, казнь же Зильберберга и Сулятицкого, против которых на суде не было никаких улик, могла, конечно, свидетельствовать о наличии провокации,

но еще ни в коем случае не указывала именно на Азефа. Затем Чернов остановился на самой сущности обвинений. Он указал, что источником их являются два лица. Одно из них Бакай, — бывший провокатор, агент охранного отделения. Уже одно это заставляет недоверчиво относиться к его показаниям. Но и далее, — рассказ Бакай страдает неточностью: так, например, сообщая, что Раскин в 1904 г. в Варшаве посетил Н., он не устанавливает в точности дату этого посещения, чем обесценивает свое показание. Другое лицо, — бывший директор департамента полиции Лопухин, человек, хотя, конечно, и компетентный в вопросах провокации, но едва ли заслуживает доверия большего, чем Азеф, много лет работавший в партии. Чернов отказывался выяснить во всех подробностях загадочную историю показания Лопухина, — к этому он не имел данных. Но он, как одну из допустимых гипотез, предлагал следующую: правительство уже давно стремится деморализовать партию, обвиняя одного из видных ее вождей в провокации. Так было в 1905 г., когда из полицейского источника было получено пресловутое анонимное письмо; так было в 1906 г., когда Азефа обвинял Татаров; так было в 1907 г., когда из Саратова были получены сведения о важном провокаторе Валуйском (Азефе). Так, конечно, есть и сейчас. Только теперь главную роль играют Бакай и Лопухин, а игрушкой в их руках является Бурцев. До какой степени такую игрушкой он является, видно из того, что он, Бурцев, ранее, чем сообщить о своих

подозрениях центральному комитету, считал возможным говорить о них с партийными людьми, чем уже вредил партии, уже вносил в нее деморализацию, уже служил интересам правительства. Чернов просил поэтому обвинить Бурцева в легкомысленном обращении с чужим именем и признать факты, им сообщенные, неосновательными, исходящими из недостоверного источника.

Натансон поддерживал Чернова, главным образом, в той части его речи, где он выяснял некорректность отношений Бурцева к партии и центральному комитету.

Я не был во всем согласен с Черновым и Натансоном. Я полагал, во-первых, что обвинения Бурцева в некорректности настолько ничтожны, что останавливать на этом пункте свое внимание значит терять время даром. Контробвинение Бурцева (Бурцев обвинял центральный комитет в бездействии и в небрежении партийною безопасностью) мне представлялось в такой же степени неважным. Центр тяжести был в подозрениях на Азефа. Этим подозрениям следовало противопоставить факты его революционной биографии. Я это и сделал на суде. Во-вторых, я не был согласен с гипотезою Чернова: я не верил, что Лопухин может играть роль провокатора. Суд, однако, не убедился нашими речами. Фигнер оставалась при прежнем доверии Азефу, но Лопатин и Кропоткин продолжали колебаться.

Я спросил однажды Лопатина:

— Как ваше мнение, Герман Александрович?
Лопатин сказал:

— Да ведь на основании таких улик убивают.

Кропоткин, по-видимому, допускал возможность двойной, со стороны Азефа, игры, т. е. одновременного обмана правительства и революционеров. Для него, как и для Лопатина, единственным крупным в пользу Азефа фактом было дело ***. Но они не могли связать его провокацию с участием в необнаруженном покушении на цареубийство.

Это был единственный пункт наших возражений, имевший значение в глазах судей. Зато рассказ Лопухина определенно склонял весы в сторону обвинения.

Лопатин, очень вдумчиво следивший за нашими речами, в частном разговоре спросил меня:

— Как вы объясняете роль Лопухина?

Я развел руками.

— Налево Лопухин, направо Азеф. Лопухин, конечно, не участвует в полицейской интриге, даже если такая есть налицо, в чем и можно усомниться. Но я, конечно, скорее поверю Азефу, чем Лопухину.

Лопатин покачал головой.

— Лопухин не заинтересован сказать неправду.

Я сказал:

— Да. И я ничего здесь понять не могу. Но я верю Азефу и я убежден, что он не виновен.

Я сказал также, что, по моему мнению, все это недоразумение объясняется не полицейской интригой, а гораздо проще: отчасти сплетней, отчасти случайным совпадением, отчасти, быть может, добросовестными ошибками. Я, как уже говорил, склонялся к предположению, что Лопухин ошибся.

Последующие заседания были посвящены допросу свидетелей. Было вызвано несколько лиц, в том числе и Бакай. Только его показания и имели интерес для суда.

Бакай повторил то же, что уже рассказал Бурцев. Он ни разу, однако, не отождествил Азефа с Раскиным или Виноградовым. Он подчеркнул несколько раз, что не сомневается только в одном, — в существовании центральной провокатуры; кто же именно этот провокатор, — ему неизвестно. Во время допроса выяснилась и предшествующая деятельность Бакая: он признался, что состоял на службе полиции в качестве секретного сотрудника в 1900—1901 году в Екатеринославе.

Чернов, Натансон и я, допрашивая Бакая, пытались воочию доказать судьям, что слова его не заслуживают веры. В частности, Чернов несколько раз указывал на противоречие в его показаниях. Мы не достигли цели. На мой вопрос, какое впечатление произвел на него Бакай, Кропоткин, идеальный по беспристрастию судья, спокойно ответил:

— Какое впечатление? — Хорошее.

Лопатину тоже казалось, что Бакай говорит правду. Только Фигнер была с нами согласна: она к словам Бакая относилась и в данном случае с недоверием.

Бурцев опровергал наше мнение о Бакае. Он говорил, что совершенно убежден в его искренности. Убеждение это он вынес не только из личных впечатлений и встреч, но и из фактов: Бакай обнаружил свыше 50 провокаторов в польской социалистической партии; он предупредил в Петербурге о готовящихся арестах 31 марта 1907 года, но предупреждением этим не по его вине не воспользовались; он предупредил о наблюдении за социал-демократической лабораторией на ст. Куоккала в Финляндии; он был арестован за сношения с ним, Бурцевым, и сослан в Тобольскую губернию; из ссылки он бежал с помощью Бурцева, а не какого-либо неизвестного лица.

Эти факты из биографии Бакая не убеждали Натансона, Чернова и меня в правдивости его слов. Мы не могли забыть, что Бакай был провокатором и затем долгое время служил в охранном отделении.

После допроса свидетелей и речи Бурцева слово опять было предоставлено Чернову, Натансону и мне. Мы опять пытались разбить доказательства Бурцева и противопоставить им бесспорность фактов террористической деятельности Азефа.

Суд, выслушав нас, объявил перерыв для допроса некоторых свидетелей вне Парижа и для представления документов, — анонимное письмо 1905 года и саратовское сообщение находились в партийном архиве в Финляндии.

Предстояло допросить Лопухина. Бурцев написал ему письмо с просьбой приехать для этого допроса за границу. Мы же с разрешения суда послали в Петербург члена центрального комитета Аргунова, чтобы на месте справиться о Лопухине, о его отношениях к правительству, о его политических убеждениях, о его личности, о причине отказа ему в приеме его в конституционно-демократическую партию и в сословие присяжных поверенных, о каких отказах нам было известно.

Сделав постановление о перерыве, суд разъехался из Парижа: Лопатин уехал в Италию, Кропоткин вернулся в Лондон. Оба они уносили с собой большое сомнение в честности Азефа, и мы это знали.

Суд, как я предвидел, не только не был полезным для партии, но, наоборот, грозил нежелательными осложнениями. Посоветовавшись втроем, Чернов, Натансон и я решили, в случае оправдательного Бурцеву приговора, идти на прямой конфликт с судом: еще ни в малой степени мы не подозревали Азефа. Все обвинения Бурцева казались нам не только печальным и нелепым недоразумением, оскорбительным для партии,

для Азефа и для нас, но и лишенным всякого основания и даже правдоподобия.

Во время суда Азеф жил на юге Франции. Он видимо тревожился обвинениями Бурцева и писал мне письма, в которых не скрывал своей тревоги. Я находил объяснение этой тревоги в его оскорбленном чувстве собственного достоинства.

Так, он писал мне от 21 октября:

«...Ход или постановка дела мне несколько непонятны. Обвинение ведь могло бы быть сформулировано так. Имел ли Бурцев право на основании всего того, что он имеет, распространять и т. д. Я представлял себе весь ход гораздо быстрее. Он выкладывает все, — это рассматривается и решается, имел право он или нет. При чем тут допрос Бакая и свидетелей, живущих вне Парижа? Но вам там, конечно, виднее. Уверен в одном, что вы все маху не дадите. Пожалуй, послушаюсь тебя, и с приездом еще подожду».

В другом письме из Сан-Себастьяна от 26/X он писал:

«Дорогой мой.

Конечно, судьи не историки, они обязаны выслушать и проверить все; они обязаны потребовать доказательства и от вас. Но... ведь тут не равные стороны: вы и полиция (я становлюсь на точку зрения твоих впечатлений от Бакая). Ну, как вы докажете судьям, например, утверждение Бакая, что

когда Раскин приехал в Варшаву и должен был посетить Н.. было в охране сделано распоряжение не следить за Н., дабы шпионы не видели Раскина. Как это доказать? Я не понимаю. Относительно письма, которое писал Кременецкий, — пойдй и докажи. Хотя тут, пожалуй, легче. Ибо объяснение уже довольно-таки странное, — что за сей поступок перевели лишь человека в Сибирь. Тут, конечно, можно было заставить Бурцева, чтобы он при помощи своих охранных связей, документально доказал, что Кременецкий был именно переведен в Сибирь после того письма, т. е. августа 1905 года. В общем мне кажется, что опровергать все, что исходит от охраны, для нас почти невозможно: и судьи, не будучи историками, должны и обязаны стать на эту точку зрения. Даже и в формальном суде введен институт присяжных заседателей, дабы решалось не исключительно формально, но принимая во внимание очень и очень многое другое. Став на эту точку зрения, мне все-таки не все понятно в этом суде. И прежде всего, перерыв для бесконечных допросов. Я не критикую, мой дорогой, но мне все не совсем ясно, а вернее всего тут мое настроение, мой субъективизм. Хотелось бы уже развязаться с этой мерзостью, да и потом шатание уж надоело».

В ноябре Азеф приехал в Париж.

Он пришел ко мне утомленный и разбитый. У нас произошел такой разговор.

Я повторил ему все обвинения Бакая (Бурцев при частных беседах со мною дал мне на это право: я был

обязан словом молчать только о сообщении Лопухина). Я сказал, что, по моему впечатлению, двое из судей, — Лопатин и Кропоткин, — едва ли не на стороне Бурцева. Я сказал также, что, кроме показаний Бакая, есть еще одно показание, которое я рассказать не вправе.

Азеф встревожился:

— Опять какой-нибудь Бакай?

— Нет, не Бакай.

— Но чиновник полиции?

— Не знаю.

Азеф переменял разговор. Он сказал:

— Так ты говоришь, что Кропоткин подозревает двойную игру?

— Да.

Азеф помолчал. Затем он вдруг рассмеялся.

— Да, конечно, не очень-то вы умны, чтобы нельзя было вас обмануть.

Через несколько минут он сказал:

— Ты говоришь, есть еще показание. Верно, из полицейского источника?

Я опять ответил:

— Не знаю.

Затем я сказал Азефу, что не совсем понимаю его поведение. Я бы понял его отказ от суда и поездку

вместе с членами боевой организации в Россию на работу, — он на это не согласился. Я бы понял также его полное невмешательство в вопрос о суде и в самый ход судебных заседаний. Но он не сделал и этого: он желал, чтобы суд состоялся, и он в письмах ко мне старался на него повлиять. Кроме того, ему известна лишь часть обвинения; другая, главнейшая, от него скрыта. Я сказал, что мне непонятно, как он может мириться с таким положением; что — одно из двух: либо судят Бурцева и не подозревают честности Азефа, тогда Азефу должен быть предъявлен весь следственный и судебный материал; либо Азефа подозревают в провокации, и тогда нужно судить его, а не Бурцева. Я сказал, наконец, что я вижу, что аргументы Натансона, Чернова и мои не действуют на судей и что мы бессильны защищать его, Азефа. По моему мнению, он должен сам явиться на суд, сам опровергать Бурцева и защищать себя; только он один может защищать свою честь. Азеф сказал:

— Я думал, вы, как товарищи, защитите меня.

Я ответил, что мы сделали все, что могли, и что не наша вина, если мы не можем большего.

Азеф долго молчал. Потом он сказал:

— Так ты думаешь лучше, если я явлюсь на суд?

— Да, лучше.

Он опять ответил не сразу?

— Нет. Я не могу. У меня нет сил.

Он казался совсем разбитым. Я молчал. Он заговорил снова:

— Или ехать в Россию?

— Поедем.

— Но если вас всех повесят?

Я убеждал его не считаться с этим. Он сказал:

— Нет. Я этого не могу... Уходя, он поцеловал меня.

— Знаешь, эта история меня совсем убьет...

Через несколько дней я получил от него письмо:

«21 декабря.

Дорогой мой.

Сегодня к тебе заходил, а вчера у тебя просидел целый вечер, поджидая. Хотел тебе передать, что Викт. [в] понед[ельник] не может принять участия в совещ[ании], а главное, что я решил не принимать участия в нем по 2 причинам: 1) из предварительного разговора с В. я выяснил себе, что все детали суда мне не могут быть известны (добросовестное отношение к суду это, конечно, требует), — а то, что я могу сказать по поводу фактов, мне известных, уже мною сказано и тебе, и Виктору (Виктор даже мне заметил, что на все это мы уже указывали); я боюсь, что могу даже повредить или вернее стеснить вас всех. Я не знаю вполне ни состояния судебного следствия, ни психологии судей — и, вероятно, получаю неправильное впечатление о способе вашей защиты, и мне не хотелось бы, чтобы мое мнение (вероятно, неправильное)

имело бы на вас влияние. Хочу избежать вторичного упрека в том, что я принимаю и активное и недостаточно активное участие в этом деле. Дело в том, что я все время стоял на точке зрения, с вашего общего благословения, невмешательства в это дело (сиди и не думай об этом деле, мы справимся — ваш совет). Не могу считать активным вмешательством то, что на твой вопрос о необходимости суда или ненужности его высказался, что мне представляется лучше суд, чем нет, — но в то же время предоставил решать вопрос вам, и что я вполне присоединяюсь к вашему решению. Вы решили. Моя активность выразилась лишь в том, что я определенно высказывал свое желание, чтобы ты непременно участвовал в суде, как ты этого хотел. Вот эти две причины, вследствие которых я решил не участвовать в этом совещании, т. е., вернее, я отказываюсь от инициативы этого совещания. Вам же, если считаете возможным для себя сговориться, следует это сделать и принять во внимание, если находите нужным, то, что я тебе и В. высказывал. Затем надо ускорить дело и принять все меры и посчитаться с моим требованием — потребовать сенсацию (Лопухин) на очную ставку. Относительно же фактических указаний из материала я уже условился с В.

Твой Иван»..

Это свидание и это письмо зародили во мне впервые смутное подозрение.

IV

А. А. Аргунов собрал в Петербурге справки о Лопухине. Справки эти выяснили, что Лопухин заслуживает доверия, — ни о каком участии его в полицейской интриге не могло быть и речи. Он не был принят в сословие присяжных поверенных и в конституционно-демократическую партию по чисто формальным причинам, как бывший полицейский чиновник. С правительством он давно порвал всякую связь.

Но не эти справки были главным результатом изысканий Аргунова. Увидевшись лично с Лопухиным, он узнал от последнего столь же неожиданную, как и смутившую его новость. Лопухин сообщил ему, что 11 ноября ст[арого] стиля к нему на его квартиру, на Сергиевской улице в Петербурге, около 10 часов вечера, явился Азеф и умолял его взять свое показание, данное им Бурцеву, обратно. Лопухин Азефу отказал. Тогда, через несколько дней, к нему пришел начальник охранного отделения полк[овник] Герасимов и уже не просил, а требовал отказа от слов, сказанных Бурцеву, угрожая в противном случае преследованием. Лопухин отказал и Герасимову. Кроме того, он написал письмо премьер-министру Столыпину, тов[арищу] мин[истра] внутр[енних] дел Макарову и директору департамента полиции Трусевичу с просьбой оградить его в будущем от подобных посещений. Письма эти в подлиннике читал Аргунов.

С этими новостями Аргунов вернулся в Париж. Натансон, Чернов и я скорее обрадовались им: впервые мы имели возможность проверить обвинение против Азефа, впервые давалось точное указание места и времени его конспиративных сношений. Мы надеялись, что расследование докажет полную неосновательность сообщения Лопухина: мы знали, что Азеф в начале ноября поехал в Мюнхен к Н. и, пробыв там дней десять, вернулся в Париж. Тем легче было расследование: нужно было только выяснить день приезда и выезда Азефа из Мюнхена. Нам казалось, что на этот раз мы легко установим ошибку Лопухина.

Случилось иное.

Немедленно после приезда Аргунова, я выехал в Мюнхен к Н. Я не сказал ни ему, ни его товарищу о сообщении Лопухина. Я сказал только, что в связи с делом Бурцева необходимо выяснить местопребывание Азефа в средних числах ноября. Н. и товарищ его рассказали мне, что Азеф приехал в Мюнхен 15 или 16 ноября ст[арого] стиля и оставался там всего дней пять. Они получили от него письмо из Берлина от 9/22 ноября.

Азеф был уличен во лжи: он сказал Чернову и Натансону, что пробыл в Мюнхене десять дней.

Кроме того, в Берлине он был без ведома центрального комитета. Тогда центральный комитет постановил произвести тайное расследование об Азефе. В декабре в Лондон из Петербурга приехал Лопухин.

Он еще в России обещал подтвердить все им сказанное Чернову и мне. На свидание к нему выехали поэтому Аргунов, Чернов и я. Свидание состоялось в маленькой гостинице недалеко от Чаринг-Кросса.

Лопухин сообщил нам следующее.

Впервые он узнал об Азефе вскоре после своего назначения на пост директора департамента полиции. Весною 1903 года Дурново, тогда товарищ министра внутренних дел, рассказал ему, что Рачковский, заведывающий русским политическим сыском за границей, обратился с ходатайством об ассигновании его секретному сотруднику Раскину (Азефу) 500 руб. для передачи Гершуни. Рассказывая об этом, Дурново выразил опасение, что эти деньги пойдут на бомбы в кассу боевой организации. Он просил Лопухина увидеть Раскина и лично выяснить истинное назначение этой суммы. Раскин (Азеф), по требованию Лопухина, явился к нему по приезде своем из-за границы и объяснил, что, во-первых, деньги 500 руб. отнюдь не предназначались на боевое дело и, во-вторых, что он, Азеф — не член партии, но личный друг Гершуни и через Гершуни может освещать весьма видных революционеров.

Второе свидание Азефа с Лопухиным состоялось в конце 1903 или в начале 1904 г. Лопухин через прислугу получил записку, в которой «лицо ему лично известное» просит его о свидании. Этим «лично известным лицом» оказался Азеф. Он просил Лопухина об увеличении ему

содержания. Лопухин отказал. Чиновник Ратаев впоследствии сообщил Лопухину, что Азеф в то время получал до 6000 руб. в год.

Третье свидание Азефа с Лопухиным произошло 11 ноября

1908 г. около 10 часов вечера на квартире Лопухина. Азеф именем своих детей умолял не губить его. Лопухин подробно описал наружность человека, приходившего к нему в этот день: толстый, сутуловатый, выше среднего роста, ноги и руки маленькие, шея толстая, короткая. Лицо круглое, одутловатое, желто-смуглое; череп кверху суженный; волосы прямые, жесткие, темный шатен. Лоб низкий, брови темные, глаза карие, слегка на выкате, нос большой, приплюснутый, скулы выдаются, губы очень толстые, нижняя часть лица слегка выдающаяся. В этом портрете мы узнали Азефа.

Кроме того, по словам Лопухина, Азеф «осветил» полиции: пензенскую тайную типографию, транспорт нелегальной литературы в Лодзи, террористическую группу С.Клитчоглу в Петербурге, поездку в Россию Слетова в 1904 г., нижегородский съезд боевой организации в 1905 г. и многое другое. Лопухин сказал также, что, по его сведениям, Азеф был наиболее крупным провокатором в партии социалистов-революционеров: в последнее время он получал до 14000 рублей в год.

В искренности Лопухина нельзя было сомневаться: в его поведении и словах не было заметно ни малейшей фальши. Он говорил уверенно и спокойно, как честный человек, исполняющий свой долг. Лопухин никогда ранее не оказывал услуг партии. Насколько мне известно, он оставил полицейскую службу и вообще не занимался политикой. Я не знаю, какие мотивы руководили им при сообщении нам сведений об Азефе, но нет сомнения, что он действовал более, чем бескорыстно: он знал, что правительство будет преследовать его. И действительно, когда Азеф был разоблачен, Лопухин был арестован в Петербурге.

Рассказ Лопухина и ложь Азефа о его пребывании в Мюнхене убедили Аргунова, Чернова и меня в виновности Азефа. Центральный комитет решил допросить Азефа о дне 11 ноября. Допрос Азефу делал Чернов, стараясь не показать ему своих подозрений.

Чернов сказал Азефу, что Бурцев, учредив наблюдение за Ратаевым, непосредственным, по словам Лопухина, начальником Азефа, жившим в то время в Париже под именем ген[ерала] Гирса, — утверждает, что наблюдением этим установлен визит Азефа к Ратаеву 11 ноября ст[арого] стиля в 7 часов утра. Чернов спрашивал Азефа, где он был в этот день, ибо, несмотря на явную нелепость такого указания, суд может потребовать документального его опровержения.

Азеф в ответ вынул из кармана два счета: один на имя Лагермана из гостиницы «Furstenhof» в Берлине, где он

пробыл с 7/20 XI по 9/22 XI-08 г. и другой — на имя Иоганна Данельсона с 9/22 XI-08 г. по 13/26 XI-08 г. из мебелированных комнат «Керчь», тоже в Берлине, содержимых русским евреем Черномордиком. Азеф прибавил, что ездил в Берлин, чтобы отдохнуть. Из Берлина он проехал к NN в Мюнхен.

Было странно, что Азеф по дороге к NN остановился в русских мебелированных комнатах в Берлине, т. е. не соблюдал элементарных правил конспирации.

Было решено проверить подлинность представленных им счетов.

С этой целью в Берлин поехал тов. В. (псевдоним).

Из Берлина В. телеграфировал нам следующее:

«Ihre schlimmste Verdaecthe vollkommen richtig seid bereit das Dicker wusste heute Woldemars mission»^[3]

Оказалось по справкам В., что, во-первых, мебелированные комнаты «Керчь» скорее похожи не на гостиницу, а на притон низшего разряда, во-вторых, что Черномордик служит переводчиком при берлинском Polizei-Praesidium'е и, в-третьих, что лицо, останавливавшееся в «Керчи» с 22 по 26/XI и записанное под именем Иоганна Данельсона, даже отдаленно не напоминает собою Азефа. Счет был фальшивый. Наши худшие подозрения, действительно, оправдались.

Азефу в партии доверяли так, как, быть может, доверяли только Гершуни. Особенною любовью и

уважением пользовался он у членов боевой организации. Карпович был в России, но из его ближайших товарищей в Париже находилось несколько человек: Н. (псевдоним), П—а, Эсфирь Лапина и др. Узнав о подозрениях на Азефа, они отказались им верить даже после допроса нами Лопухина. Как показатель того волнения, которое охватило боевые круги, характерно следующее письмо Лапиной центральному комитету:

«Я несколько сомневаюсь в том, что моя позиция достаточно ясна ЦК. Постараюсь поэтому резюмировать ее еще раз:

1) Я заявляю, что желаю занять активную роль в интересующем нас всех деле. Степень моей активности может простираться вплоть до приведения приговора в исполнение, если этого потребуют интересы дела.

2) То или другое активное участие в этом деле, размеры которого может определять только ЦК, для меня лично приемлемы только при одном условии: при участии моем в таком суде, который имеет право выносить только единогласное решение.

3) ЦК имеет право в известный момент действовать исключительно по совести. В данном деле такой момент наступил. ЦК имеет право передоверить свои полномочия другим членам партии. Но если ЦК имеет право передоверить совесть другим членам партии, то минимальным условием

осуществления этого права ЦК является требование полного единства решения этих членов партии. Передавая суд в руки коллегии, ЦК тем самым обязует всех членов суда нести полную ответственность за возможный исход суда. Быть членами суда моральное право имеют только те члены партии, которые в силах привести приговор в исполнение, если они — судьи праведные.

Всякий член суда при таких условиях имеет право заявить: я не желаю быть моральным участником убийства, которое может идти вразрез с моей совестью, я не имею никакого права ставить другого члена суда в такое же положение. Коллегиальный суд, а не ЦК, может убивать только единогласно. Никакие аналогии ни с другим партийным положением, ни с другим судом невозможны. Суд присяжных заседателей только судит, но сам не убивает. А убивать каждый член суда имеет право только при единогласном решении. Значит, мое мнение сводится к следующему: коллегия может судить только тогда, если в основу ее образования будет положен тот принцип, который я защищаю, а потому речь идет не об обязательствах ЦК только передо мною.

4) Если судить будут не только члены ЦК, но и члены партии, то в основу создания коллегии должен быть положен и следующий принцип: представительство всех оттенков мнений, высказанных на общем совещании. Иначе коллегия будет судом пристрастным.

5) Высказывая свои пожелания и мнения, я хочу обратить внимание ЦК на следующее: если не по практическим соображениям, то, быть может, по чисто моральным, ЦК должен обратить внимание на то, что я имею формальное право добиваться своего участия в суде, раз судьей является не только ЦК.

6) С данного момента, когда моя позиция мне совершенно ясна, когда ЦК заявил мне, что мое предложение не может быть принято при тех условиях, которые ставлю я, мне остается сказать: данное мною честное слово меня обязывает только к пассивному умалчиванию перед заинтересованным лицом о том, о чем я знаю.

Бэла».

Центральный комитет был поставлен в трудное положение: с одной стороны, улики против Азефа были неопровержимы, его виновность была доказана, а следовательно, Азеф должен был быть убит, с другой — партийное общественное мнение не помирилось бы со смертью Азефа без предварительного и обставленного судебными гарантиями его допроса. Такой допрос необходимо предполагал присутствие, по крайней мере, одного члена центрального комитета. Между тем, убийство Азефа было возможно только тут же на допросе, ибо после допроса он немедленно нашел бы возможность скрыться, что и случилось в действительности. Таким образом, центральный комитет должен был решиться на гибель, по крайней

мере, одного из своих членов и на аресты и высылки из Парижа всего заграничного центра партии, иными словами, он должен был взять на себя ответственность за разгром центральных партийных учреждений в тот именно момент, когда разоблачение провокации Азефа должно было неизбежно вызвать в партии смуту. Центральный комитет решил посоветоваться по этому вопросу с некоторыми уважаемыми товарищами, жившими в Париже.

В самом конце декабря 1908 г., на rue Lhomond 50, состоялось собрание приглашенных центральным комитетом товарищей. На нем присутствовали: М. А. Натансон, В. М. Чернов, А. А. Аргунов, Н. И. Ракитников, В. Н. Фигнер, И. А. Рубанович, Г-ский, В. М. Зензинов, И. И. Фундаминский, М. А. Прокофьева, Эсфирь Лапина, С. Н. Слетов, N. (псевдоним) и я.

На обсуждение был поставлен вопрос: возможно ли убить Азефа немедленно, не приступая к допросу, или необходимо произвести дополнительное расследование и, в зависимости от результатов его, решить и судьбу Азефа?

Мнения разделились. Четыре человека (Зензинов, Прокофьева, Слетов и я) высказались за немедленное, без допроса, убийство Азефа. Мы утверждали, что Азеф, конечно, знает о подозрениях центрального комитета, — если он не поставлен в известность полицией, то он догадался о них по перемене

отношений к нему товарищей. Таким образом, продолжение расследования грозит бегством Азефа. Кроме того, мы указывали, что убийство Азефа после допроса может юридически компрометировать весь центральный комитет и отразиться на судьбе всех центральных учреждений партии, а это с партийной точки зрения недопустимо: Азеф должен быть убит без значительных для партии потерь. Наконец, виновность Азефа, по нашему мнению, была столь очевидна, что обвинение ни в дальнейшем расследовании, ни в допросе не нуждалось.

Противоположное мнение, к которому примкнуло большинство (при воздержавшихся «Николае» и Лапиной и при особом мнении Рубановича) заключалось в следующем: смерть Азефа вызовет в партии раскол, раскол этот будет тем более значителен, чем менее юридически оформлен суд над Азефом. Если последнему не будет дано всех возможных в партии средств защиты, многие из партийных, в особенности боевых работников, будут считать, что центральный комитет совершил преступление. Наконец, и справедливость требует такой постановки дела: в самом центральном комитете есть люди, например, Натансон, не вполне уверенные в виновности Азефа.

После прений собрание постановило: расследование об Азефе продолжать, подготавливая одновременно его убийство при условии наименьших для партии потерь.

Было решено убить Азефа вне пределов Франции, например, на территории ***. Аргунов и бывший член петербургской военной организации — А. (псевдоним) выехали в *** с целью нанять там уединенную виллу. Чернов и я должны были под каким-либо предлогом привезти в эту виллу Азефа.

Я был не согласен с решением собрания. Я считал, что Азеф во что бы то ни стало должен быть убит, и видел, что дальнейшее расследование обеспечивало ему легкую возможность бегства; я был убежден, что в Италию он не приедет. Исполняя постановление центрального комитета, я принял участие в обсуждении плана убийства в Италии, но лично для меня вопрос стоял иначе: я спрашивал себя, не обязан ли я, вопреки мнению центрального комитета, убить Азефа на свою личную ответственность? Я решил этот вопрос отрицательно: я не считал возможным в эту минуту быть причиной раскола в партии. Кроме того, я хотел знать мнение Карповича, ближайшего сотрудника и друга Азефа. Карпович, вопреки ожиданию, приехал в Париж уже после того, как Азеф бежал.

Пока шли переговоры в Италии, т. В. делал расследование в Берлине. По получении от него цитированной уже телеграммы, центральный комитет решил немедленно приступить к допросу Азефа. Он сделал это из опасения, что Азеф узнает о поездке В. и бежит. Произвести допрос должны были Чернов,

«Николай» и я. Было постановлено, что убивать Азефа мы не имеем ни в коем случае права.

Постановление это равнялось решению освободить Азефа. Но я не считаю, что центральный комитет в данном случае поступил неправильно. Была сделана ошибка значительно раньше: Азефа нужно было немедленно убить после нашего свидания с Лопухиным, когда виновность его уже не подлежала сомнению. Но колебания в самом центральном комитете, с одной стороны (Натансон), и колебания боевиков (Николай, Лапина и др.) — с другой, не позволяли центральному комитету решиться на эту меру. С этого момента центральный комитет оставил путь революционных решений и вступил на дорогу формального суда, защиты и слова. Дорога эта неизбежно приводила к допросу Азефа, а, следовательно, и к его бегству: центральный комитет не имел права платить за смерть Азефа арестом единственного теоретика партии Чернова, без Чернова же допрос был немыслим.

Как бы то ни было, Азеф мог чувствовать себя в безопасности.

V

Вечером 5 января н[ового] стиля 1909 г. Чернов, Николай и я позвонили у квартиры Азефа в доме N 245

по Boulevard Raspail.

Дверь нам открыл сам Азеф. Он провел нас в крайнюю комнату, — свой кабинет. Он сел за стол у окна. Мы втроем загородили ему выход из комнаты.

Азеф спросил:

— В чем, господа, дело? Чернов ответил:

— Вот почти новый документ.

И он передал Азефу саратовское от 1907 года письмо. Азеф побледнел.

Он долго читал письмо. Мне показалось, что он только делает вид, что читает его: он выигрывал время, чтобы спокойно выслушать нас.

Все еще очень бледный, он, наконец, обернулся к нам. Он спросил:

— Ну, так в чем же, однако, дело? Чернов медленно сказал:

— Нам известно, что 11 ноября старого стиля ты в Петербурге был у Лопухина.

Азеф не удивился. Он ответил очень спокойно:

— Я у Лопухина не был.

— Где же ты был?

— Я был в Берлине.

— В какой гостинице?

— Сперва в «Furstenhofe», а затем в меблированных комнатах «Керчь».

— Нам известно, что ты в «Керчи» не был.

Азеф засмеялся: — Смешно... Я там был.

— Ты там не был.

— Я был... Впрочем, что это за разговор?.. — Азеф выпрямился и поднял голову. — Мое прошлое ручается за меня.

Тогда я сказал:

— Ты говоришь, твое прошлое ручается за тебя. Хорошо. Расскажи нам подробности покушения на Дубасова.

Азеф ответил с достоинством:

— Покушение 23 апреля было неудачно потому, что Шиллеров пропустил Дубасова. Было трое метальщиков: Борис Вноровский на Тверской, Владимир Вноровский на Воздвиженке, Шиллеров на Знаменке. Я был в кофейне Филиппова.

Я сказал:

— Это неправда. Мы допросили Владимира Вноровского. Было только двое метальщиков; Борис Вноровский и Шиллеров. Дубасов проехал мимо Владимира Вноровского, но у того не было бомбы.

Азеф пожал плечами.

— Не знаю. Было так, как я говорю.

Я сказал:

— Кроме того, ты накануне покушения не пришел на свидание к метальщикам.

Азеф ответил:

— Нет, я пришел.

Я. — Значит, Вноровский сказал неправду?

Азеф. — Нет, Вноровский не может сказать неправды.

Я. — Значит, ты говоришь неправду?

Азеф. — Нет, и я говорю правду.

Я. — Где же объяснение?

Азеф. — Не знаю.

Я. — Ты, говоришь, был в кофейне Филиппова?

Азеф. — Да.

Я. — Ты попал в полицейское оцепление?

Азеф. — Нет.

Я. — Аргунову ты говорил, что ты попал в оцепление, но представил приставу иностранный паспорт, и тебя отпустили.

Азеф. — Я этого Аргунову не говорил.

Я. — Значит, Аргунов сказал неправду?

Азеф. — Нет.

Я. — Значит, ты говоришь неправду?

Азеф. — Нет, я говорю правду.

Я. — Где же объяснение?

Азеф. — Не знаю... Но какое же заключение ты выводешь?

Я. — Ты, по меньшей мере, проявил небрежность, граничащую с преступлением. За такую небрежность ты удалил бы из организации любого из ее членов. Твоя ссылка на твое прошлое неуместна.

Азеф опять пожимает плечами. Он волнуется. Он говорит:

— Дайте же мне возможность защищаться.

Чернов. — Мы спрашиваем и ждем ответа. Зачем ты ездил в Берлин?

Азеф. — Я желал остаться один. Я устал. Я хотел отдохнуть.

Чернов. — Видел ли ты в Берлине кого-либо из партийных людей?

Азеф. — Нет.

Чернов. — А из непартийных?

Азеф. — Я не желаю на этот вопрос отвечать.

Чернов. — Почему?

Азеф. — Он не относится к делу.

Чернов. — Об этом судить не тебе.

Азеф. — Я член центрального комитета и не вижу, чтобы все здесь присутствующие были ими.

Я. — Мы действуем от имени партии.

Чернов. — Значит, ты отказываешься отвечать на этот вопрос?

Азеф. — Нет. Я скажу: я не видел никого.

Чернов. — Почему ты переселился в «Керчь»?

Азеф. — В «Керчи» дешевле.

Чернов. — Так ты переехал из-за дешевизны?

Азеф. — Была и еще причина.

Чернов. — Какая?

Азеф. — Этот вопрос тоже не относится к делу.

Чернов. — Ты не желаешь отвечать?

Азеф. — Хорошо. Запишите: я переехал только из-за дешевизны.

Чернов. — В какой комнате ты жил в «Керчи»?

Азеф. — В N 3.

Чернов. — Опиши подробно этот номер.

Азеф. — Кровать, налево от входа, покрыта белым покрывалом, с периною, стол круглый, покрытый плюшевой скатертью, около стола два кресла темно-зеленого плюша, у умывальника зеркало, ковер на полу темного цвета.

Чернов. — Кого ты видел в «Керчи»?

Азеф. — Что за вопрос?.. Ну, хозяина, посыльного, горничную, лакея...

Я. — Скажи, как ты понял мои слова, когда я говорил тебе, что некто, имени которого я назвать не могу,

сказал Бурцеву, что ты служишь в полиции, и разрешил сообщить это мне. Понял ты так, что именно некто разрешил мне сказать, или так, что Бурцев решился на это самостоятельно?

Азеф. — Конечно, я понял так, что некто разрешил сказать только тебе.

Чернов. — Некто — Лопухин. Он не называл фамилии Савинкова. Он позволил Бурцеву сказать одному революционеру, по его, Бурцева, выбору. Бурцев выбрал Павла Ивановича (меня).

Азеф. — Ну?

Чернов. — Ну, а ты вошел к Лопухину со словами: вы разрешили сказать Савинкову...

Азеф. — Я не понимаю... Вы должны производить расследование серьезно.

Чернов. — Прошу выслушать далее. Лопухин не назвал фамилии Савинкова. Ты понял со слов Павла Ивановича, что он эту фамилию назвал. Павел Иванович такого толкования в свои слова вложить не мог, ибо не слышал его от Бурцева... Значит...

Азеф бледнеет, но он говорит еще спокойно:

— Ну, Бурцев мог сказать Бакаю. Бакай понял неверно и сказал Лопухину... Впрочем, я ничего не знаю.

Чернов. — Бурцев не говорил Бакаю и Бакай не говорил Лопухину. Как объяснить, что Лопухин на

расстоянии угадал, что ты понял Павла Ивановича так, как никто понять не мог — что он, Лопухин, назвал фамилию Савинкова?

Азеф волнуется.

— Что за вздор. Я ничего понять не могу.

Чернов. — Тут нечего понимать. Ты сказал Лопухину: вы позволили сообщить Савинкову, сообщите тому же Савинкову, что вы ошиблись.

Азеф встает из-за стола. Он в волнении ходит по комнате.

Чернов. — Мы предлагаем тебе условие, — расскажи откровенно о твоих сношениях с полицией. Нам нет нужды губить твою семью. Дегаев (Дегаев С. П. — глава Центральной группы «Народной воли» и одновременно агент петербургской охранки. После разоблачения скрылся в Америке. — Ред.) и сейчас живет в Америке.

Азеф продолжает ходить взад и вперед. Он курит папиросу за папиросой.

Чернов. — Принять предложение в твоих интересах.

Азеф не отвечает. Молчание.

Чернов. — Мы ждем ответа.

Азеф останавливается перед Черновым. Он говорит, овладев собой:

— Да... Я никогда ни в каких сношениях с полицией не состоял и не состою.

Чернов. — Как же ты объясняешь себе все обвинения? Интрига полиции?

Азеф. — Не знаю...

Чернов. — Ты не желаешь рассказать о своих сношениях?

Азеф. — Я в сношениях не состоял.

Чернов. — Ты ничего не желаешь прибавить к своим ответам?

Азеф. — Нет. Ничего.

Чернов. — Мы дадим тебе срок подумать.

Азеф ходит по комнате. Он опять останавливается против Чернова и смотрит ему прямо в глаза. Он говорит дрожащим голосом:

— Виктор. Мы жили столько лет душа в душу. Мы работали вместе. Ты меня знаешь... Как мог ты ко мне прийти с таким... с таким гадким подозрением.

Чернов говорит сухо:

— Я пришел. Значит, я обязан был прийти.

Я. — Мы уходим. Ты ничего не имеешь прибавить?

Азеф. — Нет.

Чернов. — Мы даем тебе срок: завтра до 12 часов. Ты можешь обдумать наше предложение.

Азеф. — Мне нечего думать.

Я. — Завтра в 12 часов мы будем считать себя свободными от всех обязательств.

Азеф. — Мне нечего думать.

Мы ушли. Вслед за нами во втором часу ночи Азеф вышел на улицу в сопровождении своей жены и скрылся.

Описание «Керчи» и комнаты в ней было сделано Азефом неверно. Не оставалось сомнения, что он, если и был там, то мимоходом и недолгое время. Так утверждал вернувшийся из Берлина т. В.

Подлинный протокол допроса Азефа гласил:

«На вопрос, имел ли Азеф когда-либо и в каких-либо целях сношения с полицией, — Азеф ответил, что никогда и никаких сношений не имел.

Азеф заявил:

Из гостиницы „Furstenhof“ он переехал в меблированные комнаты „Керчь“ из-за сравнительной дешевизны последней и по причине, назвать которую отказывается, не находя вопрос о ней относящимся к делу. Из „Керчи“ Азеф переехал в „Central Hotel“ в видах конспирации, не желая прямо из „Керчи“ ехать в Мюнхен.

Впоследствии Азеф изменил свое показание, заявив, что единственною причиною этого переезда была сравнительная дешевизна „Керчи“.

Вещи из „Furstenhof’a“ были доставлены Азефом на вокзал Fridrichstrasse, с вокзала же человеком из „Керчи“ в „Керчь“.

Из „Керчи“ они были доставлены опять на тот же вокзал лично Азефом и оттуда человеком из „Central Hotel“ в „Central Hotel“.

Поехал Азеф в Берлин, ибо желал остаться один и отдохнуть перед поездкой в Мюнхен, в „Furstenhof“ он платил за номер 16 марок. В „Central Hotel“ — 5 — 6 марок. Причину дороговизны в „Furstenhof“ объяснить не желает, находя, что вопрос этот к делу не относится.

Занимал Азеф в гостинице „Керчь“ комнату N 3 в нижнем этаже. N 3 имеет такой вид: кровать стоит налево от входа, она довольно больших размеров, покрыта белым покрывалом и периною, стол в номере круглый, покрытый плюшевой скатертью, около стола два кресла темно-зеленого плюша, у умывальника зеркало, ковер на полу темного цвета.

Видел Азеф в „Керчи“ хозяина, горничную, посыльного и при столе — лакея и горничную. Жил он все время в N 3, не покидая его ни на один день, обедал и завтракал всегда один за столом, в левом дальнем углу. Предварительно, Азеф на вопрос, обедал ли он за табльдотом или у себя в номере, ответил, что не всегда одинаково, — и там, и здесь. Противоречие в этих своих показаниях он объяснил тем, что не придавал этому вопросу значения.

В Берлине Азеф, по первоначальному заявлению, партийных людей не видел, виделся ли с непартийными людьми сказать

не желает, ибо вопрос об этом считает не относящимся к делу. Другая версия Азефа, — он не видел в Берлине никого.

Говорил Азеф в „Керчи“ со всеми по-немецки, выдавая себя за немца, но в листок этого не записал, ибо там места рождения не было. „Керчь“ не произвела на него впечатления полицейского притона.

На вопрос, как объясняет себе Азеф наличность против него показаний ряда лиц, взаимно друг друга дополняющих и единогласно указывающих на сношения Азефа с полицией, — Азеф определенного ответа не имеет.

Азеф настаивает на очной ставке с Лопухиным и партийным лицом, выдавшим его в С[анкт]П[етер]Б[урге], и заявляет, что постарается установить свое alibi путем показаний частных лиц, проживающих одновременно с ним в „Керчи“ и видевших его в столовой.

В Берлине Азеф был в театрах: Kammerspiel (Der Arzt am Scheidewegen), в Lessingstheater (Gespenster), в Hebeltheater (Das Hohespiel), в Kleiner Theater (Die liebe Wacht), в Metropol Theater (Revue), в Central Theater (Bekummere dich um Amalia), в Wintergarten^[4]

Азеф дает обязательство о всех своих перемещениях предварительно извещать центральный комитет, причем нарушение этого обязательства будет рассматриваться

центральным комитетом, как признание Азефом своей виновности».

Впоследствии Азеф прислал в центральный комитет следующее письмо:

«7 января 1909 года.

Ваш приход в мою квартиру вечером 5 января и предъявление мне какого-то гнусного ультиматума без суда надо мною, без дачи мне какой-либо возможности защититься против взведенного полицией или ее агентами гнусного на меня обвинения, возмутителен и противоречит всем понятиям и представлениям о революционной чести и этике. Даже Татарову, работавшему в нашей партии без года неделю, дали возможность выслушать все обвинения против него и ему защищаться. Мне же, одному из основателей партии с.-р. и вынесшему на своих плечах всю ее работу в разные периоды и поднявшему, благодаря своей энергии и настойчивости, в одно время партию на высоту, на которой никогда не стояли другие революционные организации — приходят и говорят: „Сознавайся или мы тебя уьем“. Это ваше поведение будет, конечно, историей оценено. Мне же такое ваше поведение дает моральную силу предпринять самому, на свой риск все действия для установления своей правоты и очистки своей чести, запятнанной полицией и вами. Оскорбление такое, как оно нанесено мне вами, знайте, не прощается и не забывается. Будет время, когда вы дадите отчет за меня партии и моим близким. В этом я уверен. В настоящее время я счастлив, что чувствую силы с вами, господа, не считаться.

Моя работа в прошлом дает мне эти силы и подымает меня над смрадом и грязью, которой вы окружены теперь и забросали меня.

Иван Николаевич.

Я требую, чтобы это письмо мое стало известным большому кругу с.-р.»

VI

Обвинение, предъявленное к Бурцеву, падало само собою. Суд чести закончился следующим соглашением:

Протокол.

Мы, нижеподписавшиеся, представители партии социалистов-революционеров, сим заявляем:

В виду того, что: расследованием центрального комитета вполне подтвердился факт провокации Азефа, центральный комитет партии социалистов-революционеров берет назад предъявленное им т. Бурцеву обвинение во всех этого обвинения частях.

Я, В. Л. Бурцев, со своей стороны, отказываюсь от обвинения, предъявленного мною к центральному комитету партии социалистов-революционеров.

О вышеизложенном обе стороны постановили довести до сведения судебной комиссии.

Париж, 17/30 января 1909 г.

*Вл. Бурцев.
Б.Савинков.
М.Бобров.
О.Гарденин.*

Еще раньше, 23 декабря, центральный комитет выпустил следующее извещение:

«Центральный комитет партии соц.-революц. доводит до сведения партийных товарищей, что инженер Евгений Филиппович Азеф, 38 лет (партийные клички: „Толстый“, „Иван Николаевич“, „Валентин Кузьмич“), состоявший членом партии с.-р. с самого основания, неоднократно избиравшийся в центральные учреждения партии, состоявший членом б[оевой] о[рганизации] и ЦК, уличен в сношениях с русской политической полицией и объявляется провокатором. Скрывшись до окончания следствия над ним, Азеф, в виду своих личных качеств, является человеком крайне опасным и вредным для партии. Подробные сведения о провокаторской деятельности Азефа и ее разоблачения будут напечатаны в ближайшем времени».

Впоследствии центральный комитет выпустил по делу Азефа следующий листок:

«I) История деятельности Азефа в партии такова.

Еще студентом одного из немецких политехникумов, Азеф во второй половине 90-х годов примыкает к заграничной революционной группе, именуемой союзом русских

социалистов-революционеров и издающей газету „Русский Рабочий“.

В июле 1899 г. Азеф едет в Россию и по рекомендации „Союза русских социалистов-революционеров“ вступает в Москве в „Северный союз с.-р.“ (основанный Аргуновым, Павловым, Селюк и др.), издавший два первых номера „Революционной России“. После ареста томской типографии „Союза“ руководители его, опасаясь своего ареста, передают Азефу все связи и полномочия на продолжение дела. Они поручают ему закончить переговоры об объединении с южными группами с.-р., образовавшими партию социалистов-революционеров.

В 1901 г. Азефу вместе с другим членом северного союза и Г. А. Гершуни окончательно удается оформить слияние „южных“ и „северных“ социалистов-революционеров в объединенную партию. Ближайшее участие принимает Азеф также в разрешении вопроса о центральном органе партии, каковым признается „Революционная Россия“, о приглашении в состав редакции его Гоца и Гарденина, о превращении в партийный террористический орган „Вестника русской революции“, редактируемого Тарасовым, и заключении федеративного союза с „Аграрно-социалистической лигой“. В то же время Азеф участвует в выработке плана кампании организованного террора, началом которого должно было служить подготовлявшееся убийство Сипягина.

С июля 1902 года Азеф работает в Петербурге одновременно, как член ЦК и пет[ербургского] ком[итета]. Он организует

транспорт партийной литературы через Финляндию, совершает объезды организаций. Наряду с этим он вместе с Гершуни обсуждает планы террористических предприятий: вторичного покушения на кн[язя] Оболенского и покушение на Богдановича. Гершуни назначает его своим ближайшим помощником по руководству б[оевой] о[рганизацией].

После ареста, по данным киевской охраны, Гершуни, Азеф в мае 1903 года едет за границу. Здесь он продолжает заведывать организованным им совместно с Гершуни большим транспортом литературы в комнатных ледниках. Но главные усилия его направлены на разрешение вопроса о пользовании взрывчатыми веществами, как новой технической основы террористической борьбы партии.

С января 1904 г. Азеф, во главе расширенной боевой организации (куда вошли Каляев, Сазонов, Покотилов, Швейцер и др.), ставит террористическую работу против Плеве. В то же время он участвует в общепартийной работе и организует в России динамитную мастерскую.

После убийства Плеве Азеф уезжает за границу, где находится до июня 1905 г. За границей он снова работает над разрешением вопроса о технических средствах террористической борьбы и организует транспорт литературы в бочках с салом (через Прибалтийский край). В ноябре 1904 г. Азеф, снова пополнив б[оевую] о[рганизацию], разделяет ее на три отряда, отправляемые: 1) в Москву против вел[икого] кн[язя] Сергея Александровича (попытка

оканчивается успехом); 2) в Петербург против Трепова, и 3) в Киев (против Клейгельса). Наряду с этим, летом 1905 года, Азеф принимает участие в организации массовой переправы оружия в Россию (пароход „Джон Крафтон“).

С середины 1905 г. Азеф в России. Он занят новым пополнением состава боевой организации, необходимым после ареста петербургской группы. Но скоро террористическую работу в Петербурге пришлось прекратить и Азефу уехать за границу, так как за организацией систематически следят. Инициатива в раскрытии полицейского наблюдения принадлежит Азефу.

В январе 1906 года, после краткого перерыва террористической деятельности, Азеф ставит дело против Дурново. При этом одной частью наблюдения заведует непосредственно сам Азеф; другой же — его ближайший помощник. Группа, находящаяся под непосредственным руководством Азефа, отслеживается полицией. Азеф, получив сведения об этом от товарищей, успевает прекратить работу. В то же время происходит несколько неудачных попыток против Дубасова, после которых Азеф едет лично в Москву руководить делом. Покушение происходит.

Незадолго перед роспуском первой Думы, Азеф организует покушение против Столыпина. Боевой организации удается установить пути, которыми ездит Столыпин, но вместе с тем выясняется, что с наличными техническими средствами успешное нападение на Столыпина в обследованных условиях

невозможно. Азеф представляет ЦК доклад о том, что пока не будут приисканы новые, более могущественные средства террористической борьбы, он не может руководить ею и слагает с себя обязанности. Вместе с ним уходят все его сотрудники по боевому делу. Боевая организация распускается, Азеф уезжает за границу.

Вслед за тем, по настояниям ЦК, часть членов прежней организации возвращается к работе, которая вскоре приводит к ряду успехов (Лауниц, Павлов).

В Россию Азеф возвращается в феврале 1907 г. и с небольшим перерывом остается в России до лета 1908 г. В его заведывании находится организация террористического акта против царя. Происходит несколько попыток произвести этот акт. Последняя из этих попыток не приводит к цели совершенно независимо от него, исключительно по вине непосредственных исполнителей.

II) Вопрос о политической честности Азефа поднимался за время его работы при следующих обстоятельствах.

В начале 1903 г. Азеф обвиняется в провокации одним студентом-пропагандистом. Выяснение правильности обвинения взяли на себя видные литераторы народнического направления. Объяснения Азефа убедили их в неосновательности обвинения, о котором впоследствии сожалел и сам обвинитель.

В августе 1905 года было получено одним из членов петербургского комитета анонимное письмо. В нем извещалось, что партию предадут два видных провокатора: бывший ссыльный, фамилия которого начинается на Т., и „какой-то инженер Азиев“. Последнему приписывалась выдача нижегородского съезда б[оевой] о[рганизации], попытки организовать убийство нижегородского губернатора и предание четырех лиц.

Провокатура Т., т. е. бывшего ссыльного Татарова (убит по приговору партии в начале 1906 г.), подозревавшегося и раньше, была с несомненностью доказана документальными данными. Обвинение же против Азефа было отвергнуто по следующим соображениям. На нижегородском съезде Азеф первый заметил, что полиция следит, и предложил план, избавивший участников съезда от ареста. В организации покушения на нижегородского губернатора первую роль играл он сам. Наконец, была принята во внимание вся предшествовавшая работа его в рядах партии. Татаров, не сознаваясь в сношениях с полицией, построил свою защиту на обвинении Азефа, ссылаясь на сведения, исходящие от Ратаева, заведывающего заграничным сыском, переданные Татарову его родственником, приставом Семеновым. Такое поведение Татарова придавало обвинению против Азефа характер злостного полицейского маневра.

Осенью 1906 г. сообщение исходило от помощника начальника одного из провинциальных охранных отделений. Он обещал партийным людям, если ему устроят свидание с

одним из трех названных им видных деятелей партии, указать признаки, по которым они смогут, вероятно, установить личность одного очень крупного провокатора. Несмотря на опасность ловушки, одно из названных им лиц поехало для переговоров, но тот уклонился от свидания. Вскоре этот полицейский агент бежал с кассой охранного отделения, но был арестован. Теперь можно думать, что сведения его относились к Азефу.

В начале 1906 года один из мелких агентов охраны в Саратове рассказал сочувствующим партии людям, что на совещании в этом городе в 1905 году видных партийных работников присутствовал важный провокатор, имени которого он не знает, но которого ему показали приехавшие из Петербурга агенты. В 1907 году к этому он присоединил сообщение об аресте того же провокатора при провале в Петербурге боевого отряда перед созывом первой Государственной Думы. Хотя некоторые данные (указания мест, которые посещал провокатор в Саратове) и подходили к Азефу, однако, при обсуждении ЦК осенью 1907 г. саратовского письма, излагавшего все эти данные, Азеф остался вне подозрений по следующим основаниям: помимо общего доверия, которое питал ЦК к руководителю наиболее крупных террористических предприятий, сообщение об аресте Азефа вместе с террористической группой противоречило действительности и тем совершенно обесценило в глазах ЦК самое письмо.

Наконец, последний раз источником слухов о провокации Азефа является В. Л. Бурцев, заявивший весной 1908 г. об имеющихся у него по этому поводу данных. Бурцев был приглашен для сообщения их в комиссию, образованную ЦК для установления причин неудач террористических попыток последнего времени и для расследования всех данных о провокации в партии. Данные эти имели в то же время характер лишь подозрений и предположений, оценка которых впоследствии послужила предметом третейского разбирательства между Бурцевым и центральным комитетом, обвинявшим его в том, что он, не сообщив своих данных ЦК и не проверив их сведениями последнего, оглашал их к явному вреду партии.

В качестве материала Бурцев представил на суд рассказы некоего Бакая, предателя по социал-демократическому делу, а затем — провокатора в екатеринославской организации с.-р., о его последующей официально-полицейской карьере. При этом, по предположениям В. Л. Бурцева, к Азефу относились рассказы Бакая о провокатуре „Раскина“ и „Виноградова“, под каковыми кличками, согласно его гипотезе, в разное время скрывалось одно и то же лицо. Неточности, противоречия и неправдоподобности, встречающиеся в рассказах Бакая, вместе с характером самого источника, лишали в глазах ЦК показания Бакая надлежащей ценности.

Основным доказательством, что Раскин (он же Виноградов) есть Азеф, являлось совпадение: 1) известного Бакаю посещения провокатором Раскиным одного

железнодорожного служащего в Варшаве в 1904 г. и 2) посещения в том же году, при видимо аналогичных условиях, этого служащего Азефом по поручению ЦК п[артии] с.-р. Однако доказательство это теряло значение, благодаря тому, что Бакан относил посещение Раскина к октябрю, и лишь позднее, узнав, что посещение Азефа относится к январю 1904 г., соответственно изменил свои показания; кроме того, Бакай дважды, по поручению Бурцева, пробовал выведывать у чинов охраны настоящее имя „Раскина“, и в первый раз принес ему положительное утверждение, что „Раскиным“ у охранников зовется известный Рысс, а во второй раз — предположительное сведение, что это некий Г. (никогда не состоявший в партии с.-р.) Что касается сообщений Бакая о выданных Раскиным-Виноградовым фактах, то дальнейшим расследованием ЦК, из источника, компетентность которого как им, так и Бурцевым ставится несравненно выше, часть из них отвергнута, часть же подтвердилась. К числу совершенно отвергнутых принадлежит, например, сообщение, будто правительство знало заранее о покушении боевой организации против Богдановича и вел[икого] кн[язя] Сергея.

В процессе третейского разбирательства Бурцевым сообщено было добытое им незадолго перед тем новое показание относительно сношений Азефа с полицией. Показание это, однако, осталось, по требованию Бурцева, известным лишь для лиц, непосредственно участвующих в разбирательстве; и лишь один из членов ЦК, с разрешения суда, получил право произвести по этому поводу негласное расследование.

Во время перерыва третейского разбирательства для целей этого расследования, уполномоченному на это члену ЦК сделался известным факт, получивший некоторую огласку в петербургском обществе.

Со слов одного бывшего крупного чиновника мин[истерства] вн[утренних] дел сделалось известным, что к нему 11 ноября 1908 г. явился имевший с ним раньше служебные сношения инженер Евно Азеф, а через 10 дней от его имени начальник петербургского охранного отделения Герасимов; оба они заявили, что к нему могут обратиться от имени революционного суда за показаниями по делу Азефа, что он должен скрыть или опровергнуть данные о сношениях последнего с полицией. В тех же кругах сделалось известным, что, усматривая в некоторых заявлениях Герасимова косвенную угрозу, этот отставной чиновник обратился к премьер-министру Столыпину и некоторым другим правительственным лицам с письменным требованием о принятии мер к охране его личности. Данное обстоятельство послужило исходным пунктом нового расследования, произведенного ЦК против Азефа.

Расследование это, после допроса Азефа, установило:

1) что Азеф, уезжая из Петербурга, обеспечил себе ложное alibi в меблированных комнатах Берлина, содержимых лицом, служащим в качестве переводчика при местном Polizei-Praesidium'е. Ложный характер этого alibi установлен и одним показанием на месте, и проверкой подробного описания

меблированных комнат, данного Азефом на допросе и оказавшегося совершенно не соответствующим действительности, и что по данным из источника, правдивость показаний которого подтвердилась во всем, доступном проверке, может быть восстановлена довольно точная картина сношений Азефа с полицией с весны 1902 г. по конец 1905 года.

Не сознаваясь в сношениях с полицией и требуя очной ставки со своими обвинителями, Азеф, однако, после первого же допроса успел скрыться.

II) Первый факт провокации Азефа, установленный ЦК, относится к 1902 году. В июне этого года заведующий русской политической полицией за границей Рачковский обратился письменно в департамент полиции с просьбой об ассигновании ему 500 руб. для внесения этой суммы в кассу п[артии] с.-р. через своего секретного сотрудника, лично знакомого с Гершуни. Тов[арищ] мин[истра] вн[утренних] дел Дурново, опасаясь, что деньги эти могут поступить в специальную кассу б[оевой] организации], предложил вызвать упомянутого выше сотрудника в департамент полиции для объяснения. Сотрудник этот оказался инженером Евно Азефом. Явившись в департамент полиции, Азеф объяснил, что деньги 500 руб. в кассу б[оевой] о[рганизации] поступить не могут, что он не состоит членом партии, но что, благодаря близости своей к Гершуни, может быть и впредь полезен департаменту полиции. В это время от Азефа в департамент полиции поступают сравнительно несущественные, а иногда и

совершенно ложные сообщения, как, например, указание Азефом центрального комитета для России: Д.Клеменц, Браудо, Бунге и Гуковский (на самом деле, ни одно из названных лиц не состояло ни в центральном комитете, ни в каком из других комитетов партии). Так же вымышлено его другое сообщение о предполагаемом проезде Гершуни через ст. Барановичи в то время, когда Гершуни уже давно находился за границей, что было известно Азефу.

Но постепенно Азеф начинает давать департаменту полиции все больше правильных и существенных показаний. Он сообщает о существовании в Пензе тайной типографии п[артии] с.-р. (ее точный адрес получается полицией от одного доносчика из Саратова), об организованном им самим транспорте нелегальной литературы через границу под видом экспорта комнатных ледников заграничной фабрики, о попытке одной группы в январе 1904 г. вести наблюдение за министром внутренних дел Плеве, независимо от боевой организации (С.Клитчоглу и др.); наконец, начинает давать общие характеристики отдельных террористов, состоящих в б[оевой] организации].

В то же время ни удачные, ни неудачные террористические попытки б[оевой] организации] не делаются для департамента полиции заранее известными, и все террористические акты, до убийства велик[ого] кн[язя] Сергея включительно, являются неожиданными для правительства.

С осени 1904 г. указания Азефа полиции еще более увеличиваются. Азеф верно сообщает о поездке по делам транспорта и крестьянской работы Слетова из Женевы в Россию, ложно выдавая его за террориста; о плане поездки кн[язя] Хилкова с товарищами для работы в крестьянстве; о парижской конференции революционных и оппозиционных партий. На этой конференции Азеф был представителем п[артии] с.-р., о чем департаменту было известно. В то же время Азеф ездит в сопровождении отряда агентов полиции в Нижний Новгород и Саратов, где он принимал участие в революционных совещаниях.

Сколько-нибудь точные сведения о провокаторской деятельности Азефа в последнее время отсутствуют. Причастен ли он к арестам центрального боевого отряда (Штифтарь, Тройский, „дело о заговоре“ на царя) и северного летучего боевого отряда (Карл Трауберг и др.) — центральному комитету неизвестно. Видимое отсутствие участия в упомянутых арестах, как и, наоборот, присутствие в них провокатора Ратимова и предателя Масокина, не служат еще, конечно, доказательством невинности Азефа.

Если верить сообщению упомянутого выше Бакая, то за последнее время по указаниям Азефа были произведены аресты в редакции газеты „Мысль“, где лишь случайно не было арестовано большинство членов современного ЦК... По словам Бакая, Азеф же доставил департаменту сведения, что будто II таммерфорсский съезд п[артии] с.-р. решил в период второй Государственной Думы ничего не предпринимать

против Столыпина. Если это верно, то Азеф и в это время давал сознательно полиции неверные сведения — решение, принятое в Таммерфорсе, было как раз обратное.

Обращает на себя внимание еще ряд следующих фактов деятельности Азефа. В 1904 году Азеф проектировал план убийства директора департамента полиции Лопухина, которое должно было служить прологом к убийству Плеве. После манифеста 17 октября Азеф предложил план взрыва здания охранного отделения. Весною 1906 года он приступил к приготовлениям к покушению на Рачковского. Факты эти могут быть рассматриваемы, как попытка Азефа уничтожить возможность обнаружения в будущем его провокаторской деятельности.

Такова общая картина деятельности Азефа и установленные пока центральным комитетом факты его провокации.

Положение, созданное провокацией Азефа, несомненно, угрожающее. Правда, вскрыта и уничтожена язва, разъедавшая и ослаблявшая партию, вырвано оружие, которым пользовалась так долго государственная полиция. Но вместе с тем нанесен тяжелый удар моральному сознанию партийных товарищей, обнаружена шаткость многих лиц и предприятий партии.

Центральный комитет вполне сознает тяжесть обязанности, которая ложится на него в данный момент. Он, по возможности, обезопасил все предприятия, которые ведутся

им. Он принял меры к локализации опасности, которой грозят дальнейшие разоблачения провокатора. Центральный комитет считает, что главная доля ответственности за допущение провокации всей тяжестью ложится на него, как на руководителя партийной жизни. Правда, эту ответственность обманутых морально разделяют с ним все предыдущие составы ЦК, многие из наиболее деятельных и ценных работников партии. Но это не умаляет его ответственности. Поэтому ЦК считает своим долгом дать в своих действиях полный отчет полномочному партийному собранию. Первым шагом своим ЦК считает поэтому созыв в самом скором времени такого полномочного собрания, которому он наряду с отчетом вручит и свою отставку. Партия должна свободно разбирать действия своего руководителя, вынести слово решения и снова избрать руководителей, которые получили бы полное доверие партии на ведение всех дел в данный тяжелый момент. До сложения полномочий ЦК считает для себя обязательным продолжать ту работу, которую поручила ему партия. Как бы ни тяжелы были условия, он должен остаться на посту и ждать смены.

Партия переживает глубокий кризис. Тем больше становится долг каждого члена партии помочь ей выйти из настоящего положения. Раскрытие опасности должно послужить для истинно партийных людей в этот час испытания призывом к усиленной исключительной деятельности по восстановлению рядов партии и сплочению и объединению партийной мысли и действия. ЦК выражает твердую уверенность, что из этого

небывалого в истории революции испытания партия социалистов-революционеров выйдет победительницей.

7/20 января 1909 г.

Центральный комитет п[артии] с.-р.

ЦК считает нужным заявить, что расследование по делу Азефа продолжается. Результаты его, могущие дополнить и осветить новым светом сообщенные выше факты, будут опубликованы своевременно.

Фотографическая карточка и подробное описание примет Азефа будут напечатаны особо.

ЦК».

VII

В феврале состоялся в Государственной Думе запрос по делу Азефа. Депутат Покровский от имени социал-демократической фракции, депутат Булат от имени трудовиков и депутат Пергамент от имени конституционно-демократической партии поддерживали этот запрос. Булат прочел в заседании Думы следующее письмо Азефа ко мне:

«10 октября — 08.

Дорогой мой.

Спасибо тебе за твое письмо. Оно дышит теплотой и любовью. Спасибо, дорогой мой. Переходя к делу, скажу, что теперь уж, вероятно, поздно отказываться от суда над Б. (Бурцев) Я сегодня получил от В. (Чернов) письмо (получил его с запозданием на два дня, т. к. оно было заказное, а для получения заказного надо было визировать паспорт, иначе не выдают), где он писал, что суд сегодня, суббота, начнется, и просил телеграфировать, согласен ли я на то, чтобы ты был третьим представителем от ЦК.

Я сегодня уже протелеграфировал тебе и... о своем желании этого. Но если бы еще и можно было похерить суд над Б., то я бы скорее был бы против этого, чем за, но, конечно, не имел бы ничего, если бы там так решили бы это дело. Некоторые неудобства имеются. Я многое, указанное в твоём письме, разделяю, но не все. Мне кажется, дорогой мой, ты слишком преувеличиваешь то впечатление, которое может получиться от этого, что выложит Б. Конечно, ты делаешь предположение, что моя биография судьям неизвестна, и что Бак. можно верить. Это предположение, на мой взгляд, лишнее: моя биография может стать известна судьям, а насколько можно верить Бак., то, может быть, и его биография (которая, по-моему, должна была бы быть несколько полнее, чем это приводится Бурцевым в „Былом“, что Бак. служил в полиции случайно, и ему была эта служба противна, но по инерции он служил и дослужился) не так уж расположит к особому доверию. Ты не сердись, что я сейчас говорю о моей биографии рядом с биографией Бакая. Я понимаю, что недостойно меня и нас всех. Но, очевидно, может создаться

такое положение. Но я даже становлюсь на точку зрения этого предположения, т. е. меня не знают, а Бак., который указал провокаторов среди п[артии] п[ольских] с[оциалистов], заслуживает доверия. И вот и при этих условиях, мне кажется, то, что выложит Бак., не может произвести впечатление — ну, скажем, — в его, Б., пользу. Я, конечно, не знаю этого, что имеет Б. сказать. Знаю только то, что сообщил мне ты при нашем свидании. И вот, это, по-моему, не выдерживает никакой критики. Постараюсь доказать. Может, я субъективен, но, во всяком случае, не сознательно, ибо стараюсь быть объективным, насколько только возможно. Основа — письмо августа 1905 г. о Татарове и обо мне. Бак. передает со слов, кажется, Петерсона, что это письмо написал Кременецкий, желая насолить какому-то начальству и Рачковскому, и получил за сие действие наказание — перевели из Питера, где он был начальником охр[аны], в Сибирь начальником же охраны. Всякий, объективно думающий человек, не поверит этому, такому легкому наказанию не может подвергнуться лицо, совершившее такое преступление. Выдача таких двух птиц, как в том письме — и за это вместо Питера Томск — и тоже нач[альником] охраны. Все равно, если бы мы Татарову дали бы работу вместо Питера в другой области. Но для правдоподобия придумывается, что тогда была конституция, и они растерялись. Рачковский-то! Да и при том, ведь, письмо появилось в августе, а конституция в октябре. Что же эти два месяца-то! Да и при том, как могли узнать, что Кременецкий писал, что сам он рассказал своему начальству. Тут, мне кажется, нам бы следовало установить не только со слов Б. или Бак. факт, действительно ли происходил перевод

Кременецкого из Питера в Сибирь, а если происходил, то когда именно — может, окажется, что Кременецкий сидит в Сибири раньше появления этого письма, или перевели его гораздо позже, когда вовсе нельзя и говорить о растерянности октябр[ьских] дней. Это было бы важно установить. Может быть, это бы повлияло на самого Б., он увидел бы, что его дурачат, мягко выражаясь. Но как это сделать? Может, это и не трудно, ведь известно публике, когда появляются новые нач[альники] охраны — хотя, чорт его знает, может, это и не легко. Это письмо для меня загадка. Между прочим, кроме Кременецкого, другой охранник в Одессе тоже говорил, что он автор этого письма. Если ты помнишь, это было в конце 1906 года. Из Одессы приехал в ЦК от... к которому ходил один охранник, указывая на меня, что, мол, он писал это письмо и что, мол, с одним покончили, а другого не трогают. Если всему верить, то ведь два охранника писали одно и то же письмо, и оба охранника спасают партию от меня. Я думаю, что я не путаю об одесском охраннике. Мне это рассказал тогда... тогда, т. е. два года назад. Если даже и допустить, что Бак. не врет, а честно действует, то ведь все это он слышал от Петерсона, а Петерсон от Рачковского или Гуровича, или от обоих. Теперь, если думать, что высшие круги полиции почему-то выбрали путь пустить в ход меня в том письме, то и естественно, что им и дальше говорить о двух провокаторах было выгодно, и что он-де, слава богу, уцелел. В истории провокаторства, — говорит Б., — не было случая, чтобы компрометации члена партии выдавали настоящего провокатора. Я и историю не знаю, он знает. Ну, а было ли в истории полиции, чтобы начальник охраны выдавал для

населения начальству важных провокаторов? Можно сказать, когда выгодно, „а это бывает“, но ведь на самом-то деле этого до сих пор не было. А в истории провокаторства разве было, чтобы из провокатора получился сотрудник „Былого“? А ведь теперь есть. Итак, основа всего письма — неужели рассказ о нем на кого-либо может подействовать, чтобы думать, что Б. имел какое-либо нравственное право так уверенно распространяться обо мне. И не нужно знать моей биографии для того, чтобы сказать Б.: этого мало, а если знать и биографию, — то можно и в физиономию Б. плюнуть. Что же с Б., когда он узнает от тебя мою биографию? Он от своей мысли не откажется, а еще укрепляется и очень просто рассуждает: Плеве это дело, но с согласия Рачковского. Рачковский был Плеве устранен от дел. Рачковский не у дел. Рачковский зол на Плеве. Рачковский и придумал. Создавайте б[оевую] о[рганизацию]. Убейте Плеве. Я друг Рачковского, не могу же не убить его врага Плеве. И вот создалась б[оевая] о[рганизация]. Просто. Но отчего историку не приходит в голову такой мысли. Ведь Рачковский не у дел. Департамент и охрана в Питере существуют (они, конечно, не знают о плане Рачковского и моем), но ведь все-таки они могут ведь проследить работу б[оевой] о[рганизации] и арестовать и, конечно, меня, работающего на Плеве. И что же я, продажный человек (такой, конечно, в глазах Рачковского), пойду спокойно на виселицу за идею дружбы Рачковского и не скажу совсем, что, помилуйте, да ведь я действовал по приказанию Рачковского, начальства своего, и что Рачковского ведь тоже наделили бы муравьевским галстуком. И что же, Рачковский готов и на виселицу, как член б[оевой] о[рганизации] и

главный ее вдохновитель. Или Рачковский мог думать, что его за это переведут на службу только в Сибирь, или что я его не выдам, и уж совсем пойду на виселицу, из дружбы к нему, а о нем ни гу-гу. Или Рачковский думал: он отвернется, скажет, что они тут не при чем, что я, мол, хотя и продажный, но все-таки дурак-дураком буду рисковать своей жизнью из-за Рачковского, который между прочим и не у дел, и если попадусь и не сумею доказать, что я действовал с Рачковским. Противно все это писать. Но, вместе с тем, меня и смех разбирает. Уж больно смешон Б., построив эту гипотезу да еще с ссылками на историю. Мол, в истории это уж было, Судейкин (жандармский подполковник, организатор политических провокаций. — Ред.) хотел убить Толстого. Но ведь только хотел, ведь знаем только разговор с Дегаевым (и то где его историческая неопровержимость?) А почему Судейкин не сделал? Может быть, оттого, что Судейкин побоялся виселицы, чего не боялся бы Рачковский. А ведь Судейкину-то легче было делать. Ведь он был при делах и все дела были в его руках. Тогда он царил, он был в смысле выслеживания рев[олюционной] орг[анизации] вне конкуренции и вне контроля. А Рачковский не у дел. Кажется, однако, он б[оевой] о[рганизации] не создал. А вот историк Б. ссылается на историю. 15 июля и Рачковский. Ты как-то сказал, что Б. единственный историк революции и провокации. Да, единственный. И вот это может действовать, ты боишься! Мне кажется, бояться нечего. К счастью, он единственный историк, а заседать будут не историки. А если немного посмотреть на до 15 июля и на после 15 июля.

Да, б[оевая] о[рганизация] началась, конечно, не Рачковским, а Гершуни. О Сипягине я узнал только через несколько дней после акта, что это дело Г., вскоре приехал Г. ко мне, и мы сговорились о совместной работе с ним в данном направлении. План начать кампанию против Плеве уже был тогда в апреле-мае 1902 г., одновременно был план и на Оболенского. Я тогда уезжал в июне-июле 1902 года в Питер, а Гершуни на юг России, где имел в виду Оболенского. Не хочу распространяться — скажу только, что, кроме Сипягинского дела, я был причастен и ко всем другим, т. е. Оболенского и еще ближе уж к Уфе, куда я людей посылал. Во всяком случае, надо считать и эти дела (кроме Сипягинского) с благоволения начальства. А известно, что тогда еще царевубийство далеко на очереди не стояло, кроме, конечно, как у Бурцева, а потому договор с начальством тоже не приходилось заключать — начальство разрешает всех убивать, кроме царя и Столыпина, а что касается после 15 июля, то ты ведь все знаешь. Скажу только о Сергее. Нет, раньше вот еще что. Ну, совершается 15 июля. Плеве нет. Рачковский рад. Враг его убит. Он не получает муравьевского галстука. Знает он состав организации и [кто] по каким паспортам живет, знает, что ока разделилась на три части. В Москве, в Питере и в Киеве. Знает, что ты в Москве, словом, знает все, что ты и я, — и результатом убивают Сергея. Б. говорит, — не успели арестовать, дали по оплошности убить. То есть, знали в течение трех или больше месяцев, по какому паспорту ты живешь, по каким паспортам все уехали из Парижа, когда проезжали границу с динамитом, по какому делу живут в Москве, об извозчиках знали, словом, все, все в течение трех

месяцев и дали убить Сергея, не успевают, и после убийства тоже никого не берут и не устанавливают долго Ивана Платоновича, дают всем разъехаться — ты, кажется, с паспортом, по которому жил (хотя не помню). Дора разъезжает и возится еще долго. Хорош Рачковский. Отчего бы партии не иметь Рачковских таких. Не скверно вовсе. Бурцев знает все из истории — предупреждали, не успели только взять, дали убить. Что делать — медленно движется охранка. Если она будет знать все с самого начала работы организации и паспортов, по которым живут организаторы, — она все-таки прозеваает все — и убить даст, и разъехаться даст всем. В истории Б., может, и это бывает. Теперь о варшавском посещении. Рассказ Бак. следующий. Из Питера сообщают ему, как охраннику, едет, мол, важный провокатор Раскин — он посетит такое-то лицо; снимите слежку у этого лица, дабы филеры не видели этого важного провокатора. Б. установил, что у этого лица был я. Мне безразлично, как он это установил и можно ли это установить вообще. Факт, что я единственный раз за всю свою деятельность был по делам в Варшаве и посетил одно лицо. Фамилию этого лица совершенно сейчас не помню. Но понятно, что это было в январе... Был я по поручению Мкх. Раф. по делу — насколько припоминаю, транспорта. Чорт его знает, совсем не помню сейчас — этот господин каким-то способом мог перевозить литературу. А Мих. об этом передал... и, кажется, я являюсь от..., но этот господин мне сказал, что он ничего не знает и не ведает — выпучил глаза только. Я и решил, что тут... напел и уехал... варшавским филерам, неизвестный мог совершенно проскользнуть мимо них. И что за нелепость департ[амента]

делать распоряжение о снятии филеров, дабы они не видели меня, провокатора. Да потом, неужели всякий раз, когда провокаторы куда-нибудь ходят, то снимают филеров. И здорово бы им приходилось со мной возиться — так как раньше я очень многих посещал и вернее из любопытства бы все филеры уже хотели бы взглянуть на этого знаменитого Раскина. Но это относится к истории. Мы тут ничего не понимаем. Но этот рассказ плохо согласуется с другим рассказом того же историка, Когда мы были в Нижнем, т. е. я, то за нами следили по шесть человек, кажется, дабы нас не арестовали нижегородские шпионы, В одном городе снимают филеров, дабы они Раскина не видели, а в другом посылают филеров, да еще по шесть человек на каждого, дабы они на Раскина смотрели. Кроме того, это предписание из Петербурга из департамента полиции или охраны говорит, что Раскин имел дело не только с Рачковским, но и с департаментом или охраной. Так что и департамент благословлял организацию убийства Плеве. Я думаю, что каждый, более или менее не желающий сделать из меня во что бы то ни стало провокатора, — не будет считать это более или менее важным и стоящим внимания. Не знаю, что еще имеет Б. — пишите, что Б. припас какой-то ультрасенсационный „материал“, который пока держится в тайне, рассчитывая поразить суд, — но то, что я знаю, действительно не выдерживает никакой критики, и всякий нормальный ум должен крикнуть — купайся сам в грязи, но не пачкай других. Я думаю, что все, что они держат в тайне, не лучшего достоинства. Кроме лжи и подделки быть не может. Потому, мне кажется, суд, может быть, и сумеет положить конец этой грязной клевете. По

крайней мере, если Б. будет кричать, то он останется единственным маниаком. Я надеюсь, что авторитет известных лиц будет для остальных известным образом удерживающим моментом. Если суда не будет — разговоры не уменьшатся, а увеличатся, а почва для них имеется; ведь биографии моей многие не знают. Ты говоришь, делами надо отвечать. Работой. Теперь мне представляется, что заявление твое все-таки не заставит молчать. Они, слепые, будут говорить, а разве Вера Фигнер не работала с Дегаевым. Конечно, мы унизились, идя на суд с Б. Это недостойно нас, как организации. Но все приняло такие размеры, что приходится унизиться. Мне кажется, что молчать нельзя — ты забываешь размеры огласки, но если вы там найдете возможным наплевать, то готов плюнуть и я вместе с вами, если это уже не поздно. Я уверен, что товарищи пойдут до конца в защите чести товарища, а потому я готов и отступить от своего мнения, и отказаться от суда. Поговори. Я... передаю твое мнение, если хочешь, прочти ему и это письмо. Прости, что написал тебе столь много и, вероятно, ты все это знаешь и думал обо всем. Мне бы хотелось только не присутствовать во время этой процедуры. Я чувствую, что это меня совсем разобьет. Старайся, насколько возможно, избавить меня от этого. Обнимаю и целую тебя крепко. Твой Иван. Пересылаю и письма. Пиши. Только не заказным».

Письмо это было юридическою уликою участия Азефа в террористических предприятиях.

Премьер-министр Столыпин отвечал на запрос. В своей речи он официально признал полицейскую роль Азефа:

«Перейдем к отношению Азефа к полиции. В число сотрудников Азеф был принят в 1892 году. Он давал сначала показания департаменту полиции, затем в Москве поступил в распоряжение начальника охранного отделения; затем переехал за границу, опять сносятся с д[епартамен]том полиции и, когда назначен был директором д[епартамен]та Лопухин, переехал в Петербург и оставался до 1903 года. В 1905 г. поступил в распоряжение к Рачковскому, а в конце 1905 г. временно отошел от агентуры и работал в петербургском охранном отделении. Конечно, временно, — когда Азефа начинали подозревать или после крупных арестов, Азеф временно отходил от агентуры».

По мнению Столыпина, скандал Азефа поднят для большей славы революции. Столыпин, к концу своей речи разбирает источники, откуда пошло азефское дело — это Бакай, Бурцев и бывший директор департамента полиции Лопухин. Оба первые не заслуживают доверия в силу своего прошлого, а из дела о Лопухине видно, что об участии Азефа в террористических актах он ничего не знал.

При таком положении дела, несмотря на цитированное выше письмо, Столыпин не видел ни в деятельности министерства, ни в агентурной работе Азефа каких-либо незакономерных действий.

Лопухин, как я уже говорил, был арестован по обвинению в выдаче государственной тайны. Азеф арестован не был.

VIII

Разоблачение Азефа нанесло тяжелый моральный удар партии и в частности террору: оно показало, что во главе боевой организации много лет стоял провокатор. Но разоблачение это освободило вместе с тем партию от тяготевшей над ней провокации. Оно пересмотреть многое в прошлом. В частности, оно заставило меня проанализировать снова те выводы, к которым я пришел всем опытом моей боевой работы.

Я должен был признать, что если мое мнение о полном бессилии боевой организации было правильно и что если все террористические попытки последних лет, действительно, были заранее обречены на неудачу, то зато в причинах этого бессилия я в значительной степени ошибался. Так, некоторые недостатки наружного наблюдения были, очевидно, результатами полицейской роли Азефа: Дурново, Столыпин, Дубасов были заранее предупреждены о готовившихся на них покушениях, и самые приемы нашей работы были им, вероятно, в точности известны. Непонятные аресты отдельных товарищей нужно было отнести также на счет провокации Азефа.

Оставаясь при моем прежнем мнении о технических изобретениях, как о единственном пути, который может поднять террор на должную высоту, я тем не менее решил взять на себя ответственность за попытку восстановления боевой организации. Я сделал это по двум причинам.

Во-первых, я считал, что честь террора требует возобновления его после дела Азефа: необходимо было доказать, что не Азеф создал центральный террор и что не попустительство полиции было причиной удачных террористических актов. Возобновленный террор смывал пятно с боевой организации, с живых и умерших ее членов.

Во-вторых, я считал, что правильно поставленная, расширенная боевая организация, при отсутствии провокаторов, может, пользуясь старыми методами, явиться паллиативом в деле террора: при благоприятных условиях, ее деятельность могла увенчаться успехом.

Я счел своим долгом заявить о своем решении центральному комитету. Центральный комитет выразил мне доверие и сделал следующее постановление.

«1. Б[оевая] о[рганизация] п[артии] с.-р. объявляется распущенной. 2. В случае возникновения боевой группы, состоящей из членов п[артии] с.-р. под руководством Савинкова, ЦК: а) признает эту группу, как вполне независимую в вопросах организационно-технических

б[оевой] о[рганизации] п[артии] с.-р., б) указывает ей объект действия, в) обеспечивает ее с материальной стороны деньгами и содействует людьми, г) в случае исполнения ею задачи, разрешает наименоваться б[освой] о[рганизацией] п[артии] с.-р. 3. Настоящее постановление остается в силе впредь до того или другого исхода предпринятого б[оевой] о[рганизацией] дела и во всяком случае не более года».

Я стал готовиться к новой террористической кампании.

Август 1909 г.

1. ↑ Татаров
2. ↑ чиновник варшавской охраны
3. ↑ «Ваши худшие подозрения оправдались. Будьте готовы к тому, что „Толстяк“ уже осведомлен о миссии Вольдемара» (нем.). — Ред.
4. ↑ Камерном, в театре Лессинга, в театре Хеббеля, в Малом Театре, в Метрополе, в Центральном театре, в Зимнем саду (нем.). В скобках перечислены пьесы текущего репертуара. — Ред.

Об этом электронном издании

Эта книга из [Викитеки](#)^[1] — цифровой библиотеки, созданной добровольцами и включающей издания всех типов: прозы, стихов, журналов, писем...

Книги библиотеки доступны бесплатно. В библиотеку включаются издания, находящиеся в народном достоянии, а также опубликованные со свободной лицензией. Вы вправе использовать эту электронную книгу в любых целях (включая коммерческую) при условии соблюдения лицензии [CC BY-SA 4.0](#)^[2] или [GNU FDL](#)^[3] на ваш выбор.

Викитека приветствует новых участников. При создании этой книги мы могли сделать ошибки. Вы можете сообщить о них на [этой странице](#)^[4].

Следующие участники внесли вклад в редакцию этой книги:

- Villarreal9
- Sergey kudryavtsev

-
1. [↑](http://wikisource.org) <http://wikisource.org>
 2. [↑](http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) <http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>
 3. [↑](http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) <http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html>
 4. [↑](https://ru.wikisource.org/wiki/Викитека:Форум) <https://ru.wikisource.org/wiki/Викитека:Форум>